



Шэрон Ковальски

Правонарушительницы Женская преступность и криминология в России (1880–1930)

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМѢРЫ.

Высота лица	180
Рост	178
Длина носа	140
Ширина носа	125
Горизонтальная	110
Кривая поперечная	110
Показатель черепа	92
Лицевой угла	32
Окружность груди	110
Лицевой углы	110
Окружность талии	115
Рост	98
Длина верх. конечности	100
Длина правой	100
Длина левой	95
Длина лица	126



Челюсть отщипывают и если она имеет закругление, указывают на это кривой линией, соединяющей



111001. Измерения въ фронтальномъ и лицевомъ направленияхъ въ лицѣ, верхняя челюсть, указываютъ на это кривой линией, соединяющей

ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ.

физическіе
клинообразна,

Sharon A. Kowalsky

•

Deviant Women

Female Crime and Criminology
in Revolutionary Russia,
1880–1930

Northern Illinois University Press

2009

Шэрон Ковальски

•

Правонарушительницы

Женская преступность
и криминология в России
(1880–1930)



Academic Studies Press

Библиороссика

Бостон / Санкт-Петербург

2021

УДК 343.9
ББК 67.51
К56

Перевод с английского Александры Глебовской

Серийное оформление и оформление обложки Ивана Граве

Ковальски Ш.

К56 Правонарушительницы. Женская преступность и криминология в России (1880–1930) / Шэрон Ковальски ; [пер. с англ. А. Глебовской]. — Санкт-Петербург : Academic Studies Press / Библиороссика, 2021. — 375 с. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

ISBN 978-1-6446955-9-3 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-6045354-8-6 (Библиороссика)

Исследование Ш. Ковальски рассказывает о становлении советской криминологии как науки с учетом ее включенности в общий европейский контекст, а также ее роли в трансформации раннесоветского общества. Автор сосредотачивает свое внимание на анализе женской преступности и социальных установок, лежащих в основе подходов к ее изучению.

УДК 343.9
ББК 67.51

ISBN 978-1-6446955-9-3
ISBN 978-5-6045354-8-6

© Sharon A. Kowalsky, text, 2009
© Northern Illinois University Press, 2009
© А. В. Глебовская, перевод
с английского, 2021
© Academic Studies Press, 2021
© Оформление и макет.
ООО «Библиороссика», 2021

Памяти Флоренс Айзенберг

Благодарности

Я хочу выразить свою глубочайшую признательность целому ряду организаций и частных лиц, без чьей финансовой, научной и моральной поддержки я не смогла бы довести эту работу до конца. Щедрые гранты Университетского центра международных исследований (UCIS) Университета Северной Каролины в Чепел-Хилл (UNC), Международного комитета по исследованиям и обмену (IREX), Программы содействия индивидуальным исследованиям продвинутого уровня, Национальной образовательной программы в области безопасности (NSEP) Международного фонда научных исследований имени Дэвида Борена и Региональной программы научного обмена Американских советов по международному образованию (ACIE/ACTR) позволили мне совершить несколько поездок в Россию. Дополнительная поддержка аспирантуры Университета Северной Каролины и Фонда Дорис Квинн (исторический факультет Университета Северной Каролины) позволили мне написать диссертацию, которая легла в основу этой книги. Кроме того, мне очень помогли замечания, предложения и ободряющие слова участников многочисленных конференций, проводившихся Конференцией Юга по славистике (SCSS) и Американской ассоциацией развития славистики (AAASS), равно как и Огайской студенческой конференцией Центра Хавигхерста в Университете Майами (шт. Огайо) «Социальные нормы и социальные девиации в советскую и постсоветскую эпоху» (2001), где я представила свои предварительные соображения по поводу этой работы.

В работе над этим проектом, занявшей несколько лет, мне содействовали многие люди. Прежде всего хочу выразить благодарность и признательность Дональду Райли: его всесторонняя поддержка, энтузиазм и интерес к моей работе, равно как и про-

зорливая критика, позволили довести замысел от концепции до воплощения. Джудит Беннетт, Дженни Бернет, Рон Боброфф, Уиллис Брукс, Дэвид Гриффитс, Марко Думанчич, Майкл Дэвид-Фокс, Джон Кокс, Уоррен Лернер, Энн Лившиц, Роза Магнусдоттир, Пола Майклс, Мартин А. Миллер, Джеки Олич, Линн Оуэнс, Кристин Руан, Эндрю Стикли, Пол Стронски, Кейт Траншел, Джон Уоллес, Стюарт Финкель, Пол Хагенло, Крис Хамнер, Стив Харрис и Дэн Хили своими ценнейшими замечаниями и точными вопросами способствовали формированию, кристаллизации и уточнению моих представлений. Сотрудники грантовых организаций, а также библиотек и архивов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саратове и по всем Соединенным Штатам помогли мне четко и продуктивно работать во время поездок. Поддержка и ободряющие слова коллег из Университета Джорджтауна, Университета Северной Каролины в Чепел-Хилл и Техасского университета A&M в Коммерсе позволили мне довести работу до конца. Я безмерно признательна Бетси Хеменуэй, Дэну Орловски и Майклу Лерну за готовность выкроить в плотном рабочем графике время для того, чтобы прочитать части рукописи. Подробные и продуманные комментарии и предложения авторов двух анонимных издательских рецензий оказались чрезвычайно полезными. Кроме того, хочу поблагодарить сотрудников Университетского издательства Северного Иллинойса Мэри Линкольн, Алекса Шварца, Эми Фарранто и Сюзан Бин за неизменную поддержку и профессиональное усердие. И, наконец, я всей душой признательна своей замечательной семье за поддержку и любовь — моей маме, которая всегда помогала мне и в горе, и в радости, остальным родственникам, которые лучше многих других понимали, что я делаю и зачем, моему мужу Хорхе и его родным, которые с теплотой приняли в свою семью ученого, и моей бабушке Флоренс Айзенберг, которая любила жизнь, путешествия и науку. Ее памяти я и посвящаю эту книгу.

Части этой книги уже были опубликованы. Фрагменты и замыслы того, что стало Главами 3 и 5, были опубликованы в статье «Кто ответственен за женские преступления? Гендер, девиант-

ность и развитие советских общественных норм в революционной России» (Who's Responsible for Female Crime? Gender, Deviance, and the Development of Soviet Social Norms in Revolutionary Russia // *The Russian Review*. Vol. 62. № 3. July 2003. P. 366–386). Менее развернутый вариант Главы 5 был ранее опубликован под названием «Почему матери совершают убийства: советские криминологи и детоубийство в революционной России» (Making Sense of the Murdering Mother: Soviet Criminologists and Infanticide in Revolutionary Russia // *Killing Infants: Studies in the Worldwide Practice of Infanticide* / Ed. by Brigitte Bechtold, Donna Cooper Graves. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2006. P. 167–194). Благодарю издателей за разрешение включить в книгу переработанные варианты этих публикаций.

Все ошибки и упущения в тексте остаются, разумеется, на совести автора.

Введение

«1-го октября 1923 г. в 7 часов утра Настя Е., 24 лет, изувечила своего мужа, ампутировав ему член». Так психолог А. Е. Петрова начинает излагать историю преступления Насти, опубликованную в сборнике «Преступный мир Москвы» (1924) под редакцией известного криминолога, преподавателя юриспруденции в Московском государственном университете профессора М. Н. Гернета — в сборник вошли статьи о преступности и преступниках столицы. Петрова поясняет: в 1916 году семнадцатилетняя Настя приехала в Москву из деревни в Тамбовской губернии. Поработала домашней прислугой, потом устроилась швеей. Стремясь к саморазвитию, стала посещать школу для взрослых, в 1919-м записалась на курсы для рабочих, где и познакомилась с будущим мужем. В интимную связь они вступили в июне 1922 года, но отношения оформили только в феврале 1923-го; к этому времени Настин гуляка-муж уже заразил ее венерическим заболеванием, тем самым лишив способности к деторождению. За день до трагедии Настя наведалась к любовнице мужа и увидела их ребенка — его внешность не оставляла сомнений в том, кто его отец. Хотя в ребенке и воплощалась неверность мужа, Настя, взяв его на руки, ощутила прилив материнских чувств. Она не знала, стоит ли бросить мужу прямое обвинение в измене, терзалась по поводу собственного бесплодия — даже стала помышлять о самоубийстве. В тот вечер муж дважды принудил Настю к соитию, что вызвало у нее сильные болевые ощущения по причине болезни и связанного с ней инфицирования. Ночью

нервы и лихорадка разыгрались лишь сильнее. К утру, в полубредовом состоянии от боли, она увидела обнаженный член спящего мужа, а на тумбочке у кровати — нож для нарезания хлеба. Подумав: «Вот причина всего», она схватила нож и, сама не понимая, что делает, одним движением отсекала пенис¹.

Разбирая психологическое состояние Насти в момент совершения преступления, Петрова приходит к выводу, что в данном случае речь идет о случае с «психикой *примитива*, которая, путем длительного, непрерывного, напряженного интеллектуального усилия, вышла из пределов примитивного уровня развития» [Петрова 1924: 84]. По логике этих рассуждений, душевное и физическое потрясение вызвали в Настиной «примитивной» психике «случай *короткого замыкания*», то есть она впала во временное помрачение и в этот момент искалечила мужа [Петрова 1924: 83]. К сходному выводу приходит и психиатр Н. П. Бруханский, включивший собственный анализ того же дела в «Материалы по сексуальной психопатологии» (1927): якобы Настино «примитивное происхождение» и «узость сознания» и определили ее криминальное поведение [Бруханский 1927: 14]. Перечисляя Настины свойства, и Петрова, и Бруханский подчеркивают ее крестьянское происхождение, низкий уровень интеллектуального развития и неспособность к полноценному участию в общественной жизни. Кроме того, они отмечают, что важной причиной Настиного душевного разлада стало ее бесплодие, то есть способность к сексуальной жизни, но без репродуктивной составляющей. Эти факторы заставляют их сделать вывод, что Настина «примитивность», в сочетании с обстоятельствами ее жизни, особенно с тяжелым венерическим заболеванием, и стали контекстом для совершения преступления. Именно в таком ключе Бруханский выступил 10 ноября 1924 года на заседании Московского губсуда, и суд согласился с ним, постановив, что Настя

¹ [Петрова 1924: 82–83]. Автор отмечает, что пенис был отсечен в трех четвертях сантиметра от основания. Бактериологический анализ ампутированного члена доказал присутствие запущенной гонореи. После нескольких попыток его удалось вернуть на место, все функции восстановились.

действовала в состоянии временной невменяемости, в связи с чем снял с нее все обвинения².

В 1920-е годы Настино дело получило широкую известность в кругах советских криминологов. И для нас эта история может послужить удобной отправной точкой для разговора о женщинах-преступницах, сущности женской преступности и об отношении к женщинам в советском обществе раннего периода. Настин поступок включал в себя основные черты того, что советские криминологи считали характерными свойствами женских преступлений: оно было совершено на бытовой почве, вытекало из женской репродуктивной физиологии (в данном случае — бесплодия) и отражало определенный тип примитивного несдержанного и повышено-эмоционального поведения, которые принято было связывать с крестьянской жизнью. В совокупности своей эти элементы создавали образ женщины-преступницы и описывали суть женских преступлений, через призму которых криминологи и трактовали женскую преступность. В их трактовке прочитывалась прямая связь между женской сексуальностью, физиологией и преступностью, чем определялись и типы преступлений, на которые способны женщины, и мотивации их правонарушений. Свое отношение к преступницам криминологи распространяли на всех женщин, поскольку источники женской преступности усматривали в женской физиологии как таковой. Тем самым криминологи напрямую связывали женщин с потенциально-девиантной сексуальностью, а также приписывали им отсталость и примитивность, характерные для сельских жителей³. Из их разборов женских преступлений следовало, что женщинам

² Там же. С. 27. В [Naiman 1997] анализ преступления Насти, предложенный Бруханским, рассмотрен как пример потребности «кастрировать» инфицированных представителей общества, расплодившихся в результате введения НЭПа (то есть капитализма), с целью изъятия таких тлетворных элементов из советской жизни.

³ Связь между женщинами, деревней и отсталостью отмечена рядом исследователей. Наиболее явственно дихотомия между женщиной-крестьянкой и мужчиной-горожанином представлена в агитационных плакатах. См. [Bonnell 1991; Bonnell 1993].

приходится преодолевать невероятные трудности, чтобы стать подлинными сознательными политически активными советскими гражданами. В свете такого отношения к женской преступности, женщинам приписывались определенные типы поведения, характеризовавшиеся несоответствием между идеалами, ожиданиями и потенциалом революционных перемен с одной стороны и реальностью повседневной жизни женщин — с другой.

В этой книге суть революционных перемен рассмотрена через призму криминологии и женской преступности. В течение переходного периода, между Октябрьской революцией и началом сталинской эпохи, русские люди пытались осмыслить, что значит быть «советскими». Что именно это подразумевает, было не вполне ясно с самого начала. Создавая и пересоздавая свои идентичности, приспособляясь к большевистской идеологии, которая открывала то одни, то другие возможности и насаждала все новые ограничения, жители Советской России постоянно расширяли определение и сущность новых бытовых норм и практик⁴. Их мнения, взгляды и приоритеты, в сочетании и взаимодействии с жесткими реалиями повседневного выживания, помогали формировать определенные элементы советской социальной политики.

Одной из областей, в которой этот процесс проявлялся особенно отчетливо, стало семейное право. В рамках построения общества, свободного от буржуазной эксплуатации, большевики приняли в 1918 году новый семейный кодекс, с помощью которого собирались проводить эмансипацию женщин и искоренять традиционную патриархальную семью, для чего была проведена либерализация законов о браке и разводе: церковное венчание было заменено гражданской регистрацией брака, развод теперь мог получить каждый из супругов, причем без дополнительных обоснований, аборт были легализованы, государственная опе-

⁴ Историки все активнее занимаются вопросом идентичности в Советской России раннего периода, и с точки зрения построения идентичности как механизма, применявшегося в бытовых практиках, и с точки зрения разных вариантов определения гражданства и принадлежности. См., в частности, [Alexopoulos 2003; Fitzpatrick 2005; Halfin 2000; Hellbeck 2006; Kiaer, Naiman 2006].

ка над сиротами сделала усыновления ненужными, родителям была вменена в обязанность забота о детях в меру их возможностей, вне зависимости от семейного положения. При том что эти положения семейного кодекса по идее должны были облегчить процесс, целью которого было объявлено полное отмирание семьи, их применение на практике вызвало как у чиновников, так и у ученых ряд вопросов касательно того, не приведут ли они к дестабилизации общества, поскольку законодатели пытались примирить представления о новой свободной женщине со старыми идеалами женской чистоты, сострадательности, слабости и годичности. Возник страх, что радикальные нововведения, вроде предельно простой процедуры развода, приведут к распушенности нравов и безответственности, распространению болезней и падению нравственности⁵. Это способствовало накалу общественных дебатов по поводу семейного кодекса и привело к первому его пересмотру в 1926 году. Переработанный кодекс урезал власть закона над браком, сделав процедуру развода внесудебной и признав гражданские союзы, но при этом обеспечил женщинам более высокую степень защиты, расширив права на алименты, а кроме того, подтвердил важность семьи, легализовав процедуру усыновления⁶.

К концу 1920-х суровые реалии переходного периода поставили под вопрос утопические цели семейной политики советского режима, а государство, в связи с отсутствием у него необходимых ресурсов, перестало брать на себя полное бремя социальной поддержки, как предполагалось изначально⁷. После

⁵ О страхах, сексуальности и социальной политике в период НЭПа см. [Bernstein 2007; Carleton 2005; Fitzpatrick 1978; Healey 2001; Naiman 2008].

⁶ См. [Goldman 1993]. Среди исследований, посвященных семейной политике в российском и советском контекстах, см., в частности, [Engel 2004; Hoffman 2000; Northrop 2002; Ransel 1978; Waters 1992].

⁷ Например, ограниченность государственных ресурсов не позволяла решить постоянную и тяжелейшую проблему с беспризорниками. Даже легализация усыновлений в кодексе 1926 года, направленная на то, чтобы снять с государства часть бремени по заботам об этих детях, не стала кардинальным решением. См. [Ball 1994]. Э. Вуд отмечает следующее: «Руководители, отве-

прихода к власти Сталина, ускорения индустриализации и интенсификации строительства социализма (это началось в конце 1920-х годов) государство все чаще стало апеллировать к традиционной семье как источнику стабильности и институту, способному выполнить задачи, которые государство выполнять не может или не хочет. После очередного пересмотра семейного кодекса в 1936 году в нем был закреплен новый подход, в рамках которого социальная ответственность перекладывалась на граждан и семьи; были введены ограничения на развод, возвращен запрет на аборт. Женщины, которым приходилось одновременно и работать, и воспитывать большое число детей, все отчетливее несли на себе двойное бремя, не получая в полной мере той бытовой поддержки, которую обещали им большевики⁸. К середине 1930-х годов утопическая цель отказа от патриархальной семьи была подменена задачей укрепления семьи как традиционного общественного института, который способен был служить интересам сталинского государства. Отказ от ряда наиболее радикальных элементов изначальной большевистской доктрины объясняли сложными обстоятельствами, в которых на тот момент оказалось советское государство, сопротивлением населения этим переменам и первостепенной важностью ускорения промышленного роста, что требовало, чтобы женщины производили и промышленную продукцию, и потомство⁹. Все эти факторы способствовали пересмотру политики, однако процессы осмысления того, что означает быть «советским», нашедшие отражение в изменениях семейного кодекса (а также в реакции на эти изменения, выразившиеся в динамике женской преступности), делаются более понятными, если рассмотреть

чавшие за формирование политики большевиков, пытались снять с государства ответственность за все, кроме самых важных отраслей экономики, в процессе отказываясь от целей в области социального обеспечения, поставленных революцией, и ставя под вопрос готовность новых правителей выполнять декларированную ими задачу по эмансипации работниц и крестьянок» [Wood 1997: 124].

⁸ См. [Buckley 1989; Evans 1981; Goldman 1993; Hoffmann 2003].

⁹ См. [Goldman 1993: 341–343].

эти сдвиги в контексте переосмысленной и расширенной «культурной революции»¹⁰.

Ученые используют термин «культурная революция» как ключевое понятие для понимания сдвигов от выглядевших радикальными, утопическими и идеалистическими начинаний Ленина к консерватизму и террору Сталина. Большевикам и их попутчикам одних только политических перемен было недостаточно: они пытались также изменить человеческое поведение и отношения, установив свою культурную гегемонию во всех сферах социальной жизни. В этом контексте термином «культурная революция» описываются трансформации в социальной и культурной политике, равно как и в соответствующих практиках, обусловленные идеологическим видением большевиков. Термин «культурная революция» часто используется для описания кардинальной переориентации советской политики в рамках сталинского перехода к социализму¹¹. Более того, стремясь отделить эксцессы сталинизма от утопизма Октября, многие ученые смогли отыскать точки, в которых Сталин якобы отступил от идеалов революции. Ярким примером служат рассуждения Н. Тимашеффа, который в 1946 году писал о явлении, которое у него названо «Большим Отступлением» — то есть о том, что внешне выглядело разворотом советской социальной политики на 180 градусов в середине 1930-х. Тимашефф полагает, что сталинское государство отказалось от своих революционных целей перед лицом фашистской угрозы, а также в попытке заручиться более прочной поддержкой населения. В последнее время это толкование было опровергнуто другими учеными. Помещая советскую систему в контекст развития современного европейского государства тотальной слежки после Первой мировой войны, ученые утверждают, что Сталин никогда не отказывался от целей революции. Скорее, он кооптировал и приспособил традиционные культурные институты для содействия социалистическому государству, причем именно потому,

¹⁰ Как пишет К. Кларк, революционная «экосистема» сложилась и сформировалась как отклик на изменяющиеся обстоятельства. См. [Clark 1995].

¹¹ См. [Fitzpatrick 1978]. См. также [Fitzpatrick 1992].

что верил: социализм уже построен. В подобной интерпретации сталинизм представляет собой скорее консолидацию идей революции, чем их предательство¹².

При этом «культурную революцию» надлежит рассматривать лишь как часть более масштабных революционных изменений. М. Дэвид-Фокс, например, усматривает в культурной революции «неотъемлемую часть более широкого спектра изменений, который включал в себя быт, поведение и нового советского человека». В такой трактовке культурная революция становится неотделимой от стремления большевиков модернизировать Россию и уходит корнями в самые истоки большевистских революционных перемен¹³. Она включает в себя как радикальные, так и консервативные элементы и является попыткой переустроить общество по новым правилам, используя традиции прошлого в качестве основы, сохраняя их и приспособливая к новым условиям.

В таком контексте изменения семейной политики в середине 1930-х годов представляют собой не отход от социалистической

¹² Д. Хоффман анализирует аргументацию Тимашеффа и сравнивает ее со схожими представлениями Троцкого о революционном предательстве. Он пишет: «Сталинизм отнюдь не был частичным отступлением или возвратом к дореволюционному прошлому, он оставался, как для партийного руководства, так и для советских граждан, системой, преданной идеалам социалистической идеологии и построения коммунизма. <...> Достижения социализма позволяли использовать традиционные институты и культуру для поддержки и усовершенствования нового порядка» [Hoffman 2003: 3–4]. См. также [Kotkin 1995; Holquist 1997]. Доводы Тимашеффа приведены в его работе: [Timasheff 1946].

¹³ [David-Fox 1999: 193]. В этой статье Дэвид-Фокс ставит под сомнение парадигму «культурной революции», впервые предложенную Ш. Фицпатрик в [Fitzpatrick 1978]. Некоторые исследователи, прежде всего К. Кларк и Д. Джоравски, также говорят о длительной советской «культурной революции», ведущей свое начало еще от Первой мировой войны. См. [Clark 1995; Joravsky 1978]. Действительно, некоторые историки полагают, что природа сталинского режима уходит своими корнями в военный опыт большевиков. Их безжалостная готовность к использованию насилия создала опасные прецеденты. Более того, грядущему развитию событий способствовали ожесточение населения за время длительного военного периода (1914–1921) и его реакция на политику большевиков. См. [Fitzpatrick 1985; Holquist 2002; Koener, Rosenberg, Suny 1989; Raleigh 2002; Transchel 2006].

идеологии, а скорее кульминацию протяженного процесса выработки советских ценностей и кодификации давно существовавших воззрений в единую советскую социальную политику. На протяжении переходного периода суть и форма советской системы и ее политики в сфере семьи была полностью открыта для обсуждения. Когда большевики приступили к строительству социализма в России, их понимание социальных норм и представления об обществе часто вступали в противоречие с тем, какие возможности были доступны женщинам, во что женщины верили и с какими реалиями сталкивались после революции. Рассматривая примеры женской преступной девиантности, мы выясним, как преемственность и динамика в социальной сфере переходного периода влияли на выработку и кодификацию новых норм подобающего поведения, что облегчило последовавший отказ от наиболее радикальных положений семейного кодекса, когда режим перешел к насаждению того, что в точности означало быть «советским».

Представление о протяженной во времени культурной революции подразумевает важность преемственности в период преобразований. Источником и основой для сложившегося во время НЭПа отношения к женской преступности и к женщинам стали паневропейские направления мысли конца XIX века, которые были адаптированы под нужды модернизации государства в период после Первой мировой войны. Развитие советской криминологии как дисциплины свидетельствует об использовании этих интеллектуальных течений, равно как и о том, что профессионалы приспособивались к советскому режиму и сотрудничали с ним¹⁴. В течение всего переходного периода целая когорта специалистов в разных областях знаний — социологов, статистиков, психиатров, юристов, врачей (пенологов, антропологов и патологоанатомов) — изучала динамику преступлений

¹⁴ Среди недавних работ, посвященных взаимоотношениям между советским государством и образованными представителями советского общества, см. [Heinzen 2004; Finkel 2003; Miller 1998; Nelson 2004]. О ранней советской криминологии см. [Shelley 1977; Shelley 1979; Solomon 1978; Шестаков 1991; Иванов, Ильина 1991].

и мотивы преступников с целью разработать наиболее эффективные меры искоренения преступности в советском обществе. Совместными усилиями они превратили криминологию в полноправную научную дисциплину, в которой нашли отражение как наработки западноевропейских ученых в этой области, так и их собственные робкие шаги дореволюционного периода. Криминология, возникшая после Октябрьской революции, сохранила дореволюционные течения мысли, но при этом сама себя называла «советской». Основополагающее значение этих старых идей для советской криминологии, особенно в отношении женской преступности, подчеркивает преемственность между дореволюционным и советским обществом. На определенном уровне прогрессивный потенциал социалистической идеологии постоянно вступал в конфликт — это отражено в том, что именно советское государство считало девиантным поведением — с пережитками прошлого, которые большевики пытались уничтожить, вводя в обиход новые нормы подобающего «советского» поведения. Исследования преступлений давали ученым возможность оценить, как население движется к социализму и далеко ли еще до успешного построения социалистического общества. В то же время в криминологии сохранялись более глубокие основополагающие установки, выработанные еще до революции — они также повлияли на выработку курса советского социалистического развития.

Эта динамика определяла и то, как в криминологии трактовалась женская преступность. В объяснениях женской преступности, предлагавшихся криминологами в 1920-е годы, подчеркивается исходная «примитивность» и «отсталость» женщин, непонимание ими принципов социализма, неспособность или нежелание участвовать в общественной жизни наравне с мужчинами. Если быть гражданином СССР значило вести политическую и общественную деятельность, то, по мнению профессионалов, женщины еще не стали полноправными гражданками, а их дистанцированность от современной советской жизни являлась результатом тесной привязки к сельскому и домашнему укладу. Связывая женскую девиантность с качествами, присущими кре-

стьянам и сельскому укладу, криминологи предполагали, что крестьянское мировоззрение не просто противоречит образу новой советской женщины, но и является ожидаемым и естественным его проявлением¹⁵.

Анализируя женскую преступность, криминологи принимали в расчет не только обстоятельства переходного периода и собственную озабоченность НЭПом и построением социализма, но и общую для всей Европы озабоченность в отношении модернизации общества и изменения положения в нем женщин¹⁶. Их трактовка женской девиантности помогала развеять страхи, вызванные хаосом и неопределенностью, поскольку подкрепляла традиционные патриархальные представления об общественном положении женщин, что, в сочетании с жизненными реалиями переходного периода, заставляло поставить под вопрос как новое юридическое положение женщин после эмансипации, так и эффективность радикальной общественной и семейной политики большевиков в деле построения нового социалистического общества. По сути, эти воззрения, в которых дорволюционные теории сочетались с социалистической идеологией и сложным отношением к НЭПу, внесли свой вклад в построение гендерной иерархии, ставшей параллелью классовой иерархии, которая определила нормы одобряемого поведения и ограничила для женщин возможность стать «советскими».

В этом ракурсе Настино злодеяние служит ярким примером того, в каком ключе в ранней советской криминологии рассмат-

¹⁵ Э. Вуд полагает, что невежественная сельская жительница, «баба», считалась своего рода противоположностью новой советской женщины во всех ее проявлениях. Мне хотелось бы подчеркнуть, что существует куда более широкая интерпретация той роли, которую типично сельские свойства играли в представлениях о советской женщине. См. [Wood 1997; Attwood 1999; Clements 1985].

¹⁶ Например, в своем исследовании, посвященном межвоенной Франции, М. Л. Робертс утверждает, что страхи касательно изменения положения женщин можно было развеять, приспособив традиционные женские качества хозяйственности и материнства к новому послевоенному контексту. См. [Roberts 1994].

ривалась женская преступность. Согласно большевистской идеологии, с построением социализма преступность должна была исчезнуть. Соответственно, любые преступления, совершенные в переходный период, являлись проявлениями пережитков «старого образа жизни», который все еще не отмер в «примитивном» сознании отсталого (и по преимуществу сельского) населения страны. В Настином случае в качестве ключевых факторов, толкнувших ее на преступление, исследователи называли «примитивность» — производную от общественно-классового происхождения — и психическую нестабильность, связанную с сексуальностью. Настина биография — переезд в Москву из провинции, вступление в ряды рабочего класса, учеба на курсах для рабочих — представляла собой модель, одновременно типичную для растущего городского рабочего населения 1920-х годов и поощряемую большевистским режимом. И все же, хотя Настя и пошла по верному пути советского просвещения, она не сумела порвать со своими крестьянскими корнями. Ее поступок отмечен эмоциональностью и жестокостью, которые исследователи связывали с сельской жизнью и относили к бытовой сфере, типичной для женских преступлений. Несмотря на все Настины старания, сельская «примитивность» не позволила ей преодолеть крестьянскую отсталость и успешно влиться в современную городскую общественную жизнь.

На криминальное поведение Насти также повлияла и женская физиология: в исследованиях подчеркивается, что временное умопомрачение ее было отчасти спровоцировано венерическим заболеванием и бесплодием. Оказавшись в ситуации, в которой она лишилась возможности иметь детей, следовать «естественным» материнским инстинктам и выполнять репродуктивную функцию, Настя инстинктивно обрушила свою ярость на источник своих бед. Соответственно, специалисты полагали, что Настя действовала под влиянием сексуального расстройства и материнских инстинктов, которые не находили выхода: у нее не было возможности вырваться за пределы собственной ущербной физиологии, стать матерью, а значит, и подлинной новой советской женщиной.

Классовая принадлежность и сексуальность во многом определяли взгляды на женскую преступность в переходный период, при этом они же служили смягчающими обстоятельствами при назначении наказания и при осмыслении масштабов женских преступлений. В Настином случае суд пришел к выводу, что по причине временной потери рассудка, усугубленной крестьянской «примитивностью» и болезненным физиологическим состоянием, она не отдавала себе отчет в своих действиях и, следовательно, не может нести за них уголовную ответственность. Как в научной, так и в судебной практике при рассмотрении репродуктивной роли женщин и их общественного происхождения преобладало представление, что женщины все еще остаются отсталыми и невежественными, подчиненными собственной причудливой сексуальности, а значит, не несут полной ответственности за свои действия и, соответственно, заслуживают снисхождения. В попытках сформировать представления о нормах поведения в новом советском государстве судьи и криминологи подчеркивали, что только последовательное проявление снисходительности, сострадания, а также культурно-просветительская работа — то есть донесение до сознания женщин всех преимуществ социализма — могут наставить их на путь превращения в сознательных, ответственных, активных членов современного советского общества. В то же время в работах кримиологов подчеркивалось, что женщины пока еще далеки от достижения этой цели и — что видно из безуспешного стремления Насти к самосовершенствованию — прогрессивный потенциал социализма в отношении женщин пока еще использован далеко не полностью.

Революция и советское уголовное право

Октябрьская революция и Гражданская война стали суровыми подтверждениями того, что на последних этапах своего существования царский режим провалил практически все политические и социальные реформы. Не пытаясь видоизменить существую-

щую политическую систему, большевики воспользовались возможностью и создали новую, основанную на их понимании марксистских принципов социального равенства. Большевики обещали земельную реформу, выход России из Первой мировой войны и повышение уровня жизни, что чрезвычайно импонировало как населению, уставшему от войны, так и интеллигенции, которую раздражала медлительность модернизации в России. По ходу следующих десяти лет большевики перепробовали самые разные подходы к внедрению в жизнь своих социальных и политических взглядов, консолидируя свою власть с помощью новых радикальных законов, целью которых было переустройство основ российского общества, отказ от старых убеждений и создание новых общественных отношений.

Подход к законодательству большевики до определенной степени позаимствовали у своих предшественников. В XIX веке реформаторы пытались исключить из российского законодательства самодержавный произвол. В 1830-е годы был запущен крупный проект кодификации законов, а кульминацией стали законодательные реформы 1864 года, которые привели к возникновению независимых судов и судов присяжных. Новые судебные органы оказались на удивление эффективными, превратившись в форумы как для урегулирования споров, так и для выражения общественного мнения: на слушание самых громких дел собирались целые толпы. Однако верховенство закона скоро сделалось неудобным для царского правительства, особенно в свете того, что в начале XX века власти столкнулись с нарастающей волной терроризма. Введя экстренные меры и применив административные санкции, царский режим отказался от определенных составляющих своих законодательных реформ в интересах сохранения политического контроля¹⁷. Большевики презирали закон даже сильнее, чем цари. Они пользовались законодательным процессом как гибким инструментом, манипулятивным образом подстраивая его под достижение собственных идеологических целей.

¹⁷ См. [Geifman 1993; Wortman 1976].

В ходе Гражданской войны большевистские законодательные практики определялись нуждами войны и момента — режим пытался удержаться у власти и одновременно перестроить российское общество. Проводя законы и декреты, нацеленные на искоренение «буржуазной» эксплуатации, — такие как семейный кодекс 1918 года, — большевики в значительной степени опирались на насилие и принуждение¹⁸. Однако введение в 1921 году Новой экономической политики положило начало иному подходу к строительству социализма и к определению роли закона. НЭП, задуманный Лениным как шаг назад от жесткой политики военного коммунизма — такое название получили жестокие методы экспроприации, применявшиеся большевиками во время Гражданской войны, — легализовал рыночные элементы в рамках социалистической экономики с целью ее оздоровления после разрушительного периода 1914–1921 годов. Хотя НЭП способствовал экономическому росту, он с самого начала вызывал сильное недовольство у многих большевиков. С точки зрения тех из них, кто думал прежде всего о построении социалистического государства, НЭП, как возврат к определенным капиталистическим принципам, способствовал усилению роли социальных элементов, не совместимых со строительством социализма. Этим большевикам представлялось, что движение в сторону социализма, которое вроде как началось в рамках принудительных мер военного коммунизма, полностью остановилось¹⁹.

Хотя экономическая политика в период НЭПа больше напоминала капитализм, чем социализм, на культурном фронте одновременно предпринимались усилия по созданию новых «пролетарских» форм художественного творчества и новых «социалистических» форм организации общества. В годы НЭПа культурная революция, начавшаяся в полной мере с Октябрьской революции 1917 года, продолжала поощрять свободу творчества,

¹⁸ О Гражданской войне см., в частности, [Brovkin 1994; Holquist 2002].

¹⁹ О НЭПе см., в частности, [Ball 1987; Brovkin 1998; Fitzpartick, Rabinowitch, Stites 1991; Pethybridge 1990].

хотя и с определенными идеологическими ограничениями. Эксперименты в музыке, драматургии, литературе и живописи, целью которых было вовлечение простых людей в процесс творчества и создания высокой культуры, протекали в русле авангарда и конструктивизма. Кроме того, по всей России предпринимались попытки повысить уровень образования и грамотности — таким образом большевики распространяли революционные идеи в сельской местности. Возрождение экономики и рост общественной стабильности в годы НЭПа способствовали развитию новой советской культуры, которая начала распространяться среди населения России²⁰.

НЭП также положил начало новому периоду в истории советского законодательства. Несмотря на Гражданскую войну, большевики смогли почти полностью упразднить законодательную основу царизма. Они отменили старые законы, но не спешили создавать новые, прибегая по мере надобности к выпуску чрезвычайных декретов. Большевицкая идеология включала в себя «отрицание законности»; в соответствии с чем законодательство представлялось буржуазным эксплуататорским институтом, целью которого было поддержание системы классового насилия, — считалось, что, подобно государству, преступности и семье, он отомрет после построения социализма. Этот «антизаконный» подход привел к тому, что государство стало полагаться на «революционную сознательность» судей или на личные представления судей о том, как лучше применять революционные принципы для достижения правосудия, — это казалось надежнее стандартизованных норм: в результате правоприменение становилось все более произвольным и идеологически ангажированным²¹. К началу эпохи НЭПа стало ясно, что в период до построения социализма все-таки потребуются какие-никакие законода-

²⁰ О преобразованиях в сфере культуры при большевиках см., в частности, [Brooks 2000; Gleason, Kenez, Stites 1985; Kenez 1982; Mally 1990; Nelson 1990; Stites 1991; von Geldern 1993].

²¹ Об отношении к закону и преступности в СССР см. [Beirne, Hunt 1994; Sharlet 1978; Solomon 1996].

тельные стандарты. Правоведы осознали, что суды и судьи нуждаются в руководстве по применению уголовного права: «революционная сознательность» оказалась слишком непоследовательной (а приговоры — слишком мягкими) для того, чтобы декреты большевиков воплощались в жизнь²².

Новый уголовный кодекс РСФСР, принятый в 1922-м и переработанный в 1926 году, свидетельствовал о важности закона для выработки приемлемых моделей советского поведения в годы НЭПа. Сочетая в себе положения, где приводились общепринятые определения правонарушений, со статьями, направленными против идеологических «врагов» режима, уголовный кодекс содержал указания по формированию общественного поведения и вводил единообразие в вопросе вынесения приговоров. Новый кодекс во многом основывался на проекте кодекса 1903 года; при этом включал в себя большевистские идеологические принципы и приоритеты. При том что в нем содержались конкретные рекомендации касательно вынесения приговоров, он по-прежнему во многом опирался на юридическое здравомыслие и «революционную сознательность» судей — предполагалось, что они способны назначить справедливое наказание. Кроме того, кодекс отличался явственной классовой предвзятостью: обещал защищать рабочих от эксплуатации и признавал, что на правонарушение способны толкнуть такие обстоятельства, как голод или нужда, — они считались смягчающими²³. В этом отношении уголовный кодекс оставлял достаточную свободу в вопросах правоприменения, равно как и гибкость при установлении «общественной опасности» преступника, то есть того, насколько серьезную угрозу он представляет для социальной стабильности, — это определялось судом, исходя из сущности правонарушения, осознания правонарушителем последствий своих действий и его

²² О необходимости в кодифицировании законов в период НЭПа см. [Solomon 1996: 17–27].

²³ Ibid. P. 27–33. См. также [Портнов, Славин 1981: 140–150]. Многие ученые, занимавшиеся вопросами законодательства и криминологии в 1920-е годы, участвовали в создании Кодекса 1903 года, равно как и его более поздних советских вариантов (1922 и 1926 годы).

классового происхождения²⁴. В ранние годы существования социалистического общества действовали политические революционные трибуналы, где в основном судили классовых врагов большевизма, однако, что касается обычных преступников, основными инструментами советского правосудия стали суды, уголовный кодекс и система исполнения наказаний.

Помимо прочего, в рамках советской пенитенциарной политики, в годы НЭПа в российской тюремной системе внедрялись прогрессивные теории наказания. Прогресси́зм, получивший в конце XIX века широкое распространение в кругах европейских пенологов, исходил прежде всего из того, что заключенных можно перевоспитать и реабилитировать с помощью исправительных работ. Отправляя преступников за решетку, прогрессисты стремились не только защитить от них общество, но и перевоспитать правонарушителей, чтобы они больше не нарушали закон. Советские пенологи декларировали свою цель приспособить преступника к новой жизни в советском обществе через принудительный труд, культурно-просветительскую работу и образование. Они подчеркивали, что перевоспитать можно любого преступника; как отметил один исследователь, советская власть обязана предоставить всем правонарушителям

юридическую возможность вернуться к честной трудовой жизни, открыть для них выход, дать им надежду на возрождение. Только с такими коррективами карательная политика Советской власти приобретет цельность, полноту, логическую законченность [Янчевский 1921: 16].

²⁴ Действительно, психиатр Л. Г. Оршанский утверждал, что существует множество общественно-опасных преступлений, причем большинство из них совершаются вследствие создания нового образа жизни, однако общественно-опасных преступников мало. См. [Оршанский 1927: 630–631]. См. также [Краснушкин 1926: 6; Krylenko 1927]. Крыленко отмечает, что «в уголовном кодексе рассмотрены все действия, направленные против этого порядка, и определены меры самозащиты, которые новому обществу необходимо принять в зависимости от степени опасности соответствующего действия <...> Широкие полномочия судов по определению степени применимой самозащиты общества <...> или степени общественной опасности правонарушителя характеризуют фундаментальное отношение советского уголовного права к преступнику» [Krylenko 1927: 180].

Исправительная функция тюремного режима реализовывалась через индивидуальный подход к происхождению, жизненным обстоятельствам и потребностям каждого заключенного (в связи с чем исследования преступности и преступников превращались в необходимый элемент пенитенциарной политики), а это, в свою очередь, давало каждому заключенному — по крайней мере, в теории — возможность превратиться в честного, активного и ответственного члена советского общества²⁵.

При том, что советская пенитенциарная теория выражала идеалы и взгляды большевиков относительно нового социалистического общества, применение положений уголовного кодекса отражало в себе скрытые представления, на которых в ранне-советский период основывались реакции на антиобщественное поведение. Народный комиссариат юстиции (НКЮ) призывал судей действовать в соответствии с «революционной сознательностью», однако, выслушивая обстоятельства дел, неопытные и малообразованные чиновники зачастую полагались на нормы крестьянского обычного права и традиционную нравственность²⁶. Половая, классовая и социальная принадлежность правонарушителей становились важными факторами и в практике правоприменения, и в отправлении советского правосудия, поскольку личность правонарушителя во многом определялась через понятия девиантности и «сознательности». Например, юристы обозначали определенные преступления как «мужские» или «женские», «городские» или «сельские», приписывая право-

²⁵ Успешному применению прогрессивных пенитенциарных теорий в СССР мешали плохое техническое состояние тюрем, недостаток кадров, скудное финансовое обеспечение и различие в подходах между центром, местными властями и администрацией тюрем. С приходом Сталина к власти роль принудительного труда поменяла функцию с реабилитации преступника на удовлетворение нужд государства. При этом культурно-просветительская деятельность оставалась центральным аспектом пенитенциарной политики по ходу всех 1920-х годов и в течение первой пятилетки ([Wimberg 1996]). См. также [Adams 1996; Solomon 1980].

²⁶ О крестьянском обычном праве см. [Lewin 1985; Frank 1987; Frierson 1987]. О судьях в советских судах раннего периода см. [Zelich 1931: 328].

нарушителям соответствующие свойства и основывая на этом свое понимание мотивов и сущности их поступков. В результате преступления разбивались на категории, исходя из личности преступника, который предстал человеком изначально испорченным, не способным к изменениям и сопротивляющимся прогрессивному перевоспитанию, которое предлагала ему большевистская пенитенциарная система. Хотя криминологи неизменно подчеркивали, какую большую роль общественно-экономические факторы, материальные обстоятельства и «старый образ жизни» играли в преступности в годы НЭПа, базовое их понимание гендерной и классовой природы преступности свидетельствовало о понятиях не то чтобы не совместимых с социалистической идеологией, но вызывающих вопросы по поводу того, насколько эффективной советская социальная политика окажется в долгосрочном плане.

К концу 1920-х НЭП стал вызывать все более громкую критику. После смерти Ленина в 1924 году вопрос о новом лидере КПСС, равно как и о направлении советской политики в будущем, остался нерешенным. Внутрипартийные дебаты касательно экономической составляющей НЭПа и сущности революционного проекта способствовали дроблению на фракции и формированию союзов — ведущие большевики боролись за контроль над партией и государством. Встав во главе государства и консолидировав в своих руках власть в период сдерживаемого кризиса, Сталин положил НЭПу конец. Он сплотил своих сторонников вокруг идеи «социализма в отдельно взятой стране» и инициировал, в рамках первого пятилетнего плана, переход к стремительной индустриализации, которая сопровождалась коллективизацией сельского хозяйства. Одновременно он запустил процесс создания лояльной бюрократии и новой «советской» интеллигенции, выработал подходы, которые определили будущее развитие страны, и положил конец дебатам и поискам альтернативных путей построения социалистического государства — в том числе и в сфере изучения преступлений [Fitzpatrick 1979]. В новом сталинском государстве закон сохранил свою важную роль, но только для того, чтобы обеспечить завесу «социалистической

законности», под которой скрывалось все более произвольное и идеологически ангажированное его применение. При этом важно помнить, что, хотя первый пятилетний план и выросшая из него сталинская система и представляли собой решительный поворот по сравнению с тем, что им предшествовало, основы того, что определяло направление и форму советского развития, были заложены намного раньше.

Женская преступность и криминология

Большевики пытались придать обществу и семье социалистический облик, при этом женские преступления оставались той сферой, где старые представления о семье и положении женщины вступали в конфликт с новыми советскими идеалами и государственными установками и где преемственность между прошлым и будущим становилась особенно явственной. Изучение маргинальных общественных элементов, точек, где ломаются социальные нормы, оказалось чрезвычайно плодотворным для понимания поведенческих норм, мировоззренческих позиций и методов социального контроля²⁷. В революционном контексте границы между нормальным и девиантным представляются особенно важными для понимания того, как в том или ином обществе переформулируются, для нужд нового общественного порядка, понятия о надлежащем поведении.

При том что определения преступления в целом отражают понимание приемлемых общественных норм, разговор о женских преступлениях в частности позволяет оценить основополагающие и фундаментальные представления о сущности и структуре общества. В конце XIX и начале XX века при анализе женской преступности как в России, так и в Западной Европе, исследова-

²⁷ Исследователи, занимающиеся периодом раннего Нового времени, крайне эффективно используют преступность в качестве мерил более общих свойств общества. См. напр. [Muir, Ruggiero 1994; Davis 1983; Ginzburg 1982; Maza 1993].

тели склонны были теснее связывать ее с семьей, чем мужскую преступность. Более того, хотя женщины становились преступницами реже, чем мужчины, исследователи считали, что их поступки более вредоносны для социальной стабильности именно в силу их тесной связи с областью семейного. Женщины-преступницы поступали вразрез с тем, как положено вести себя женщинам в их роли матерей и кормилиц. Тем самым женщины-преступницы подрывали образ нравственно безупречной женщины, а в расширительном смысле — и фундаментальные общественные основания. Более того, исследователи женской преступной девиантности зачастую проводили прямую связь между женскими уголовными преступлениями и женской половой физиологией, которая требовала надзора и контроля для того, чтобы женщины оставались в границах допустимого поведения²⁸. В контексте революционной России анализ женской девиантности выявлял сложное взаимовлияние семейной политики, развития социализма и норм допустимого поведения. Оценка изменений уровня женской преступности стала для обществоведов и партийных чиновников инструментом измерения поступательного движения советского общества к социализму, уровня социалистической сознательности населения и роли семьи в советском обществе.

В первые послереволюционные годы большевики уделяли особое внимание освобождению женщин от векового патриархального гнета. Продолжив вектор наделения женщин политическими правами, заданный Временным правительством в июне 1917 года, большевики приняли в 1918 году новую конституцию, которая декларировала полную эмансипацию женщин и гарантировала им политическое и юридическое равенство с мужчинами. В Коммунистической партии был создан женотдел, он был призван заниматься проблемами и нуждами женщин и способствовать осознанию женщинами всех преимуществ социализма. Более того, большевики подталкивали женщин к вступлению в ряды рабоче-

²⁸ См. [Feinman 1986: 3–4]. Другие примеры современного анализа женской преступности: [Klein 1994; Naffine 1996; Messerschmidt 1986; Simon 1981; Smart 1977]. См. также [Walkowitz 1992; Shapiro 1996].

го класса, обещая создать ясли и детские сады при предприятиях, увеличить выплаты на детей и предоставить доступ к новым видам трудоустройства. Ведение домашнего хозяйства и воспитание детей переводились в публичную сферу, тем самым высвобождая женщин из тенет быта и давая им досуг для иных видов деятельности. В результате женщины становились выборными представительницами в местных и центральных органах власти, участвовали в политических собраниях по месту работы, получали образование в вузах и техникумах. Воодушевляемые большевистской пропагандой, в 1920-е и 1930-е годы женщины получали самые разные профессии, становились, в частности, шоферами, механиками, пилотами и трактористками — при том что в иных обстоятельствах эти профессии были бы сочтены «мужскими»²⁹.

Однако хотя на первый взгляд большевистская идеология декларировала равенство полов, описания специалистами женской преступности вскрывали глубинные гендерные различия, определявшие понимание этими специалистами сущности и специфики положения женщин в обществе. Криминологи исходили из общественно-экономических трактовок преступлений, однако в поисках объяснений женской преступности охотно прибегали к доводам психологии и биологии. Специалисты считали, что физиологический цикл делает женщин более подверженным криминальным влияниям. Более того, влияния эти напрямую связаны с дореволюционной нравственностью и традициями, которые якобы были искоренены большевистской революцией. Согласно доводам криминологов, женская преступность носит чрезвычайно устойчивый характер, сохраняя традиционные формы и сущность, несмотря на радикальные общественные перемены, привнесенные большевизмом, и новые возможности участия в общественной жизни, которые открыла перед женщинами большевистская политика. В женской преступности первых

²⁹ О женской эмансипации и отношении большевиков к женщинам см. [Clements, Engel, Worobec 1991; Goldman 2002; Massell 1974; Pushkareva 1997; Пушкарева 2002; Stites 1990; Wood 1997]. Вопросы пропаганды и визуальной репрезентации женщин рассмотрены в [Bonnell 1997].

лет существования советского общества не было ничего особенно уникального: она следовала канонам, уже отмеченным как дореволюционными российскими специалистами, так и их коллегами из других частей Европы. Однако толкование женских преступлений теперь обуславливала специфическая революционная идеология; она устанавливала реакцию как государства, так и криминологов на женскую девиантность и определяла способы оценки перемен в российском обществе через акцент на важность женского образования, назначения адекватного наказания женщинам-преступницам, а также на то, до какой степени женщин следует винить за их противоправные действия.

Существует целый ряд исследований, посвященных всевозможным аспектам преступности и закона в поздний период существования Российской империи, однако только в последнее время ученые начали заниматься правонарушениями в советском обществе досталинского периода. В работах западных и российских исследователей, посвященных быту, затрагивается тема преступлений, в особенности хулиганства, в 1920-е годы, однако женская преступность как явление по большей части не исследована³⁰. Я надеюсь, что своей книгой смогу заполнить этот пробел, поместив женскую преступность в широкий контекст революционных событий, модернизации и общественного развития. До меня при исследовании женской преступности предпринимались попытки объяснить колебания в ее уровне, которые криминологи фиксировали в 1920-е годы³¹. В моей книге, напротив, интерпретация криминологами преступности используется для исследования процесса социальных изменений и создания поведенческих норм в раннесоветском обществе.

³⁰ О преступности в царской России см. [Frank 1999; Frierson 1987; Sutton 1984]. Среди недавних исследований, посвященных преступности в 1920-е годы, [Naiman 1990; Лебина 1999; Лебина, Чистиков 2003; Мусаев 2001]. Среди работ о женской преступности в России и в СССР: [Антонян 1992; Frank 1996; Shelley 1982; Тальшева 1998].

³¹ [Shelley 1982]. Шелли убеждена, что рост уровня женской преступности, который криминологи наблюдали после революции, стал непреднамеренным результатом изменения общественной ситуации и иных кардинальных перемен.

Обзор глав

При рассмотрении социальных норм раннесоветского общества и положения в нем женщин я опираюсь на два основных предмета: развитие советской криминологии и криминологический анализ женских преступлений. Часть I посвящена возникновению криминологии как дисциплины в контексте модернизации государства. В главе 1 прослежены эволюция и развитие принципов криминологии и в особенности — теорий женской преступности, причем они рассмотрены в свете нарастающей радикализации интеллектуального климата Российской империи поздних лет ее существования. В главе 2 описано становление криминологии как научной дисциплины после Октябрьской революции, прослежены взаимоотношения между государством и обществом, где специалисты, создавая профессиональные организации, пытались выкроить себе определенную автономию от режима, который стремился руководить всеми сферами общественной жизни.

В Части II внимание сосредоточено на криминологическом анализе специфики женской преступности и в более общем смысле — на отношении криминологов к женщинам. Глава 3 посвящена женской сексуальности и тому, как женская физиология влияла на отношение криминологов к женской преступности. Прослеживая изменения и преемственность по обе стороны революционного разрыва, в этой главе я подчеркиваю существовавшее внутри криминологического дискурса противоречие между представлением, что все более тесный контакт женщин с тем, что криминологи называют «борьбой за существование», неизбежно сблизит женскую преступность с мужской, и убеждением, что, в силу женской физиологии, женская преступность так и останется в рамках бытовой сферы. В главе 4 через понятие «география преступлений» показано, как по преступлению определяется классовая принадлежность человека, вне зависимости от места его совершения. То, что слово «сельский» подразумевало «примитивные» преступления, а «городской» — «продуманные», связывало женщин с селом и отсталостью и подчеркивало, как далеки

они от идеалов революции. В главе 5 связь между сексуальностью и классовой принадлежностью раскрыта через подробное рассмотрение детоубийства, самого «типичного» и возмутительного женского преступления. Для криминологов детоубийство воплощало в себе крестьянское сознание женщин, их физиологические слабости и неспособность жить по-новому, по-советски. В том, как специалисты обсуждают детоубийц, особенно отчетливо проявляется истинное отношение общества к женщинам, к роли семьи, к сущности и целям культурной революции и к тому, как понималось должное советское поведение и как оно навязывалось и женщинам, и мужчинам в этот переходный период.

Российские и советские криминологи основывали свои выводы касательно женской преступности на личных беседах с заключенными, а также на судебной, тюремной и милицейской статистике. В статьи о преступлениях для журналов, газетной хроники и научных монографий они часто включали подробные биографии преступниц, приводя обстоятельства личной и семейной жизни, которые повлияли на формирование личности правонарушительницы и толкнули ее на путь преступления. Чтобы собрать эти данные, они проводили анкетирование арестованных женщин и подробную психиатрическую оценку состояния наблюдаемых заключенных. Кроме того, при описании тенденций в уровне преступности криминологи оперировали самыми разными статистическими данными. Отдел моральной статистики в составе Центрального статистического управления (ЦСУ), созданный в 1918 году и одно время возглавляемый криминологом М. Н. Гернетом, вел учет преступлений и самоубийств по всей РСФСР и всему СССР³². Криминологи дополняли официальную статистику данными, собранными внутри отдельных групп, — эти данные криминологические организации получали из местных судов и тюрем. Иногда цифры основывались на данных по арестам, иногда — по судебным слушаниям и вынесениям при-

³² О роли Отдела моральной статистики и развития статистики как дисциплины в поздние годы существования Российской империи и в раннесоветский период см. [Mespoulet 2001; Остроумов 1952; Pinnow 1998].

говоров, иногда — на составе заключенных. Неполнота, несистематизированность и разрозненность раннесоветской статистики не позволяет на ее основе восстановить точную картину уровня преступности. Однако эта статистика отражает тенденции в динамике преступности, которые криминологи выделяли и изучали. Иными словами, статистика отражала понимание криминологами того, какие проблемы стоят перед советским государством, и давала им необходимые научные данные для поисков решения этих проблем.

Некоторые из занимавшихся преступлениями ученых, речь о которых пойдет в этой книге, много публиковались и играли заметную роль в советском обществе, однако большинство из них оставались практически безвестными. За вычетом одной-двух коротких публикаций, о них не сохранилось почти никаких биографических сведений, поэтому их научную биографию можно наметить разве что в самых общих чертах. Кроме того, в силу междисциплинарной сущности криминологии, невозможно определить ее интеллектуальную направленность в общем виде. В конечном итоге все ученые-криминологи были детищами своих исконных дисциплин. Там, где это возможно, приведены профессиональные и официальные регалии исследователей. Однако в тех случаях, когда отследить образование и официальную должность невозможно, термин «криминолог» применяется в качестве обобщающего, и тем самым соответствующий исследователь помещается внутрь более широкого криминологического дискурса. Более того, использование термина «криминологи» как общего наименования тех, кто занимался исследованиями преступности, не имеет цели умалить или затушевать более чем существенные дисциплинарные и методологические различия между этими специалистами, скорее речь идет о том, чтобы поместить их профессиональную деятельность в сферу криминологии как общего подхода к научному изучению общества. Более того, при том, что подавляющее большинство специалистов по преступности составляли мужчины, к криминологическому дискурсу были причастны и некоторые женщины со специальным образованием. Однако что касается трудов женщин-кримино-

гов, гендерная принадлежность в целом не влияет на их выводы — они, по большому счету, аналогичны выводам их коллег-мужчин³³. Это особенно справедливо в отношении исследований женских правонарушений. При том что на протяжении всего переходного периода разные группы криминологов не могли прийти к согласию по поводу общих методов изучения преступности и подходов к нему, в анализе женской преступности присутствует единодушие, которого не наблюдается в общих рассуждениях. Этот анализ обнаруживает стойкость, непререкаемость и однородность отношения к женщинам, которые сглаживают противоречия как между разными дисциплинами, так и внутри криминологических дебатов³⁴. При этом, пристально рассматривая женские преступления, я не исхожу из того, что между мужской и женской криминальной мотивацией, равно как и между обоснованиями этих мотиваций, которые предлагают криминологи, существует кардинальное различие. Я также не ищу объяснений мотивов женских преступлений за пределами того, что уже предложено криминологами. Вместо этого я преж-

³³ В числе женщин, работавших в области криминологии — дореволюционный врач и криминальный антрополог П. Н. Тарновская, психиатр А. Н. Терентьева, психиатр Ц. М. Фейнберг, экономист А. С. Зьоничская, психиатры А. Е. Петрова, А. Шестакова, С. А. Укше и А. Г. Харламова. Судя по профессиональной подготовке представительниц этой небольшой группы, у женщин было больше шансов преуспеть в этой области, если они получили образование в области психиатрии или медицины, а не юриспруденции. Единственное исключение из общего правила, что женщины-криминологи приходили к тем же выводам по поводу женщин-преступниц, что и мужчины-криминологи, представляет собой работа Т. Кремлезой [Кремлева 1929]. Кремлева исследует магазинные кражи в Москве и подходит к ним в чисто общественно-экономическом ключе, утверждая, что женщины крадут из магазинов в силу материальной нужды, а не из истерических побуждений и не под влиянием физиологического цикла. Она решительно настаивает на том, что западные исследователи, подчеркивающие сексуальную природу магазинных краж, ошибаются. При этом ее статья является единственной работой по этому вопросу в советском контексте, соответственно, ее выводы нельзя сравнить с выводами кого-то из ее коллег-мужчин.

³⁴ Ф. Бернштейн также отмечает однородность профессионального дискурса в своей работе о народных советах по поводу секса. См. [Bernstein 2007: 16].

де всего пытаюсь установить, как именно понимание криминологами противоправных поступков женщин проясняет суть процессов революционных преобразований в течение переходного периода.

Итак, в своих рассуждениях я исхожу прежде всего из интересов и установок самих криминологов, изучавших женскую преступность. В большинстве случаев при анализе женской преступности профессионалы опускали или сводили к минимуму то, что связано с политической идеологией и политически мотивированными преступлениями (например, контрреволюционными) и стремились не приписывать преступницам политических побуждений. Женщины-контрреволюционерки порой попадали под арест, их судили, выносили им приговоры, однако криминологи их по большей части игнорировали, внимание их было сосредоточено на «обычных» преступницах, совершавших «женские» преступления, связанные с бытовой сферой. Такие преступления, часто совершавшиеся в исступлении и при отсутствии четких идеологических мотивов, подрывали легитимность советского правления более окольными способами. Ставя ребром вопрос об эффективности социальной и семейной политики, женские преступления выявляли недостатки в структуре советской системы и ставили под сомнение ее способность обеспечить гражданам обещанное равенство; обнажали имплицитные взгляды криминологов на женщин, показывали положение женщин в обществе и описывали жизненные реалии переходного периода как для женщин, так и для мужчин.

Конкретные примеры женских правонарушений, рассмотренные в этой книге, взяты прежде всего из опубликованных работ по криминологии. Эти научные монографии, журнальные статьи и газетные заметки из самых разных сфер — статистики, социологии, психиатрии, медицины и публицистики — являются богатейшим источником сведений, позволяющих оценить отношение криминологов к женщинам-преступницам и интерпретацию их поступков. Помимо опубликованных данных, я пользуюсь архивными источниками из основных московских хранилищ: они позволяют проследить развитие криминологии как дисцип-

лины и динамику ее взаимоотношений с советским государством. При этом, во всех случаях, доступные источники, в силу самой своей сути, накладывают определенные ограничения на работу исследователя. Опубликованные работы криминологов, основанные на их личных оценках отдельных преступников и статистических данных, заставляют смотреть на соответствующие события их глазами, тем самым выводя за рамки исследования голоса самих правонарушительниц и навязывая соответствующие выводы. Кроме того, архивные данные позволяют восстановить бюрократическую структуру криминологии, но не представить себе, что именно пришлось испытать женщинам, проходившим через судебную систему. Подробных протоколов судебных заседаний 1920-х годов сохранилось мало, архивные ограничения не позволяют получить к ним доступ. По этим причинам у меня нет возможности обращаться к непосредственным историям жизни и к переживаниям тех женщин, чьи судьбы являются предметом этого исследования. Соответственно, именно с точки зрения криминологов я и рассматриваю те более общие тенденции, которые определяли криминологию как науку и судебную практику переходного периода, и те процессы взаимовлияния между представлениями об общественном положении женщин, идеологическими задачами и приоритетами государства и повседневными реалиями.

Часть первая

РАЗВИТИЕ
КРИМИНОЛОГИИ

Глава первая

Антропология, социология и женская преступность

Возникновение криминологии в России

Криминология как научная дисциплина возникла в России в XIX веке в качестве отклика на модернизацию и как составная часть этого процесса — исходным импульсом послужил растущий интерес представителей российской интеллигенции к точным и общественным наукам, с помощью которых они мечтали переустроить общество. Для образованных людей криминология была концептуальной основой, позволявшей объяснить, осмыслить и классифицировать социальные изменения в России рубежа веков. Хотя первые статистические исследования российской преступности появились еще в 1820-е, только после судебных реформ 1864 года и последующего систематического сбора и публикации судебной статистики (начиная с 1873 года) возникла достаточно основательная эмпирическая база для исследований в области криминологии. Эти новшества в бюрократическом процессе и технологиях совпали с ростом озабоченности российских элит по поводу общественных беспорядков и подъема преступности — что было следствием стремительной индустриализации и урбанизации во второй половине XIX века и подпитывалось всплеском террора и насилия после 1905 года. Приступая к собственным научным изысканиям, российские юристы, статистики, социологи и врачи, интересовавшиеся вопросами преступности, обращались к опыту коллег с Запада, где стати-

стические исследования преступности были уже развиты достаточно хорошо¹. Пользовались они и европейскими криминологическими теориями, адаптируя их под особые российские общественно-политические условия. Интерес к криминологии развивался параллельно созданию системно организованных гуманных пенитенциарных учреждений, основанных на западных моделях и ориентированных на то, чтобы дисциплина и труд способствовали исправлению правонарушителей². Развитие российской криминологии в XIX веке свидетельствует о том, что представления об обществе и его будущем в России Нового времени зиждились на тех же основаниях, что и в Европе, однако с учетом уникальности российских условий³.

Европейская криминология XIX века уходит корнями в философию эпохи Просвещения⁴. Исследователи часто отсчитывают историю современной криминологии от опубликованного в 1764 году трактата «*Dei delitti e delle pene*» («О преступлениях и наказаниях») итальянца Чезаре Бонесана, маркиза Беккариа

¹ «Свод статистических сведений по делам уголовным» — официальный свод российской судебной статистики, публиковался ежегодно с 1873 по 1915 год. Во Франции же, например, публикация официальной криминальной статистики началась еще в 1827 году, а первые исследования, основанные на этих сведениях, появились в начале 1830-х. См. также [Wetzell 2000: 21]. О законодательных реформах при царе см. [Kazantsev 1997; Коротких 1987; Wortman 1976]. Опасения по поводу взаимосвязи между урбанизацией, индустриализацией и преступностью, равно как и настороженное отношение к рабочему классу, уже ярко выражены в западноевропейской мысли конца XIX века. См., напр., [Johnson 1995; Jones 1971; Walkowitz 1992].

² См. [Adams B. F. 1996; Schrader 2002].

³ Ряд исследователей в последнее время провели сравнения российского и советского государства, в плане его целей и задач, как с модернизованными европейскими государствами, особенно после Первой мировой войны, так и с рационализмом эпохи Просвещения: в сталинском государстве в особенности они видят логическое завершение этих процессов. См. [Kotkin 1995; Hoffman 2003; Holquist 2002]. О развитии русской криминологии см. также [Beer 2008; Bialkowski 2007].

⁴ См., напр., [Beirne 1993; Bierne 1994; Galassi 2004; Jones 1986; Mannheim 1960; Nye 1976; Pelfrey 1980; Radzinowicz 1966; Schafer 1969; Soman 1980; Tierney 1996; Wetzell 2000].

[Jones D. A. 1986: 5–6]⁵. Рассуждения Беккариа строятся на либеральных идеях Просвещения касательно личной свободы и разума. Как человек, стремившийся оспорить произвольность абсолютистского *ancien régime* и твердо веривший в главенство закона, он полагал, что четкие определения преступлений и соответствующих наказаний способны предотвратить преступные действия. Беккариа видел в преступнике рационально мыслящего человека, который тщательно взвешивает последствия своих действий. К началу XIX века из теорий Беккариа выросла так называемая «классическая школа» уголовного права, на которую и опиралась юридическая и пенитенциарная практика последующего столетия [Radzinowicz 1966: 7–14]⁶.

Однако к концу XIX века в Европе начало складываться несколько новых «школ» криминологии. Эти свободные содружества ученых-единомышленников, среди которых особенно выделялись криминально-антропологическая и социологическая школы⁷, стали откликом на озабоченность по поводу роста преступности в ходе индустриализации, равно как и по поводу неспособности классической школы дать объяснение этому явлению. Широко распространенный страх перед «опасными классами», стремление изолировать преступников от здорового общества и возросший интерес к науке и эмпирике заставляли европейских социологов обращаться в поисках объяснений преступлений к «объективным» статистическим данным. Более

⁵ О Беккариа и его вкладе в развитие криминологии написано много. См. напр. [Phillipson 1923; Mannheim 1960; Beirne 1995].

⁶ Идеи Беккариа легли в основу пенитенциарных реформ, проводившихся в Европе в первой половине XIX века. Например, представления английского философа Джереми Бентама о тюремной реформе и его знаменитая тюрьма «Паноптикум» тоже уходят корнями в мышление Беккариа, основанное на идеях Просвещения.

⁷ Подразделяя криминологов на «школы», я совершенно не обязательно имею в виду единство среди представителей каждой. Границы криминологических «школ» оставались проницаемыми, они развивались во взаимозависимости и взаимодействии, включали в себя самые разные взгляды и подходы. Кроме того, криминальная антропология и криминальная социология были в то время не единственными подходами к изучению преступности.

того, нарастающая озабоченность по поводу того, как оградить общество от опасных элементов, заставляла ученых пристальнее всматриваться в личность преступника — в биографические, нравственные, физические и социальные факторы, которые влияли на ее формирование, — с целью найти объяснения преступлению и преступности. Взяв на вооружение основу эволюционной теории Дарвина, итальянская криминально-антропологическая школа, которую возглавлял Чезаре Ломброзо, занималась сбором антропометрических данных преступников: цель состояла в том, чтобы прояснить, почему определенные люди склонны вставать на путь преступлений. Социологическая школа, находившаяся под влиянием марксизма и исходившая из теорий Эмиля Дюркгейма (1858–1917) и Габриэля Тарда (1843–1904), пыталась объяснить существование преступности влиянием таких факторов, как общество и среда [Radzinowicz 1966: 30, 71–74, 83–89; Jones D. A. 1986: 9–10; Beirne 1993: 147; Horn 2003: 9–10]⁸.

Многие специалисты по истории криминологии отмечают, что развитие криминологии как научной дисциплины носило кумулятивный характер, то есть каждая следующая школа возникала из предшествовавших подходов и вбирала в себя ранее созданные теории и методы [Jones D. A. 1986: 4]. Действительно, хотя криминально-антропологическая и социологическая школы предлагали разные интерпретации преступности и противопоставляли себя друг другу, выросли они из одного и того же контекста, основывались на одних и тех же посылах и разделяли общий интерес к практическому применению криминологических теорий в деле реформирования общества, а также во многом приходили к одинаковым выводам. При этом отчетливее всего сходство между этими двумя школами проявлялось в области исследования женских правонарушений: представители обоих

⁸ Теории Ломброзо возникли в непосредственной связи с политическим контекстом его времени, особенно с процессом объединения Италии и стремлением объяснить разницу между северянами (к которым относился и Ломброзо) и на первый взгляд более страстными и агрессивными южными представителями новой нации. О Тарде, Дюркгейме и социальной теории см. [Hawthorn 1987].

подходов делали упор на женскую физиологию как основной фактор женской преступности и находили подтверждения тому, какое место женщине подобает занимать в обществе, в рассуждениях о женщинах-правонарушительницах.

В России имелись приверженцы как криминально-антропологической, так и социологической школы — они адаптировали европейские теории под нужды российского контекста. Тем не менее, к началу XX века криминально-антропологическая школа, которую критиковали за приверженность теории врожденной девиантности и антропологическим измерениям физических свойств преступников, полностью себя дискредитировала как в России, так и за ее пределами. Из российской социологической школы выделилось «левое крыло», которое придерживалось радикально-социалистических взглядов на преступления и их причины. Эта группа, явно испытывавшая на себе влияние тяги интеллигенции к реформированию общества, предпочитала общественно-экономические объяснения преступлений и утверждала, что осмыслить преступления можно только через исследование воздействия внешних факторов на правонарушителя. Впоследствии этот подход оказался лучше других совместим с большевистской идеологией, и в результате после Октябрьской революции левые криминологи стали ядром советской криминологической научной школы. Соответственно, ход развития криминологии в России XIX века служит основой для понимания ее успехов в раннесоветский период.

Далее речь пойдет о развитии теоретической базы европейской криминологии и об адаптации и применении этой базы в Российской империи в последние годы ее существования, с особым упором на теорию преступлений Ломброзо и реакции на нее в России. Будет показано, насколько сильное влияние труды европейских криминологов конца XIX века оказали на зарождающуюся криминологию в России, а также как общественно-политический контекст поздних лет существования Российской империи обусловил развитие российской криминологии. Кроме того, будет рассмотрено возникновение теорий касательно женской преступности, выдвинутых Ломброзо, и их истолкова-

ние российскими криминологами в конце эпохи царизма; будет предпринята попытка осмыслить, какие факторы и представления влияли на трактовку этими учеными женской преступности. При общей приверженности социологическим толкованиям преступления и отказа от криминальной антропологии, русские криминологи, подобно своим европейским коллегам, использовали элементы самых разных подходов (в том числе и подхода Ломброзо) для толкования женской преступности. Они подчеркивали важнейшую роль женской сексуальности для определения женской девиантности, и их объяснения служили им подтверждением того, что сущность женской преступности объясняется традиционным социальным положением женщин и их репродуктивными функциями.

Криминально-антропологическая школа

Чезаре Ломброзо (1835–1909), одна из самых влиятельных и неоднозначных фигур в криминологии XIX века, основал так называемую итальянскую школу криминальной антропологии. Будучи клиническим психиатром и преподавателем Туринского университета, Ломброзо заинтересовался преступлениями в ходе своей работы с душевнобольными пациентами и случаями безумия. В своих трудах он подчеркивал важность эксперимента, углубленного разбора и эмпирики, применяя к исследованию преступлений аппарат антропологии и вырабатывая для него «научные» принципы⁹. Свои теории преступления Ломброзо изложил в сборнике «Преступный человек», который был впервые опубликован в 1876 году. Развивая антропологический подход к преступлениям, Ломброзо систематически изучал за-

⁹ Что противоположно дескриптивной психологии, принципы которой оставал И. Кант (1724–1804). На Ломброзо также повлиял О. Конт (1798–1857) и его представления о позитивизме (см. сноску 32 ниже). См. [Wolfgang 1961: 363]. Ломброзо внес большой вклад в формирование антропологии как современной научной дисциплины в Италии. О Ломброзо см. также [Wolfgang 1961; Gibson 2002; Horn 2003; Pick 1989; Rennie 1978: 67–78].

ключенных-мужчин, измерял их физические параметры и исследовал умственные способности. В итоге он выделил тип личности, который впоследствии обозначил как «прирожденный преступник» — человек, в котором, с его точки зрения, проявлялись атавистические, то есть примитивные и глубинные черты, которые превращали его в прирожденного преступника, генетически предрасположенного к противоправным действиям. С точки зрения Ломброзо, прирожденный преступник воплощает в себе «проявление исторического и эволюционного прошлого в настоящем» [Horn 1995: 112]¹⁰. Этого прирожденного преступника, по сути своей — примитивный подвид человека, Ломброзо описывал как «биологический атавизм», возврат к более раннему этапу эволюции, как индивида, для которого естественно поступать вразрез с законами и принципами современного цивилизованного общества¹¹. Такой подход кардинальным образом отличался от подхода классической школы, которая утверждала, что преступники — да, собственно, и все люди — принимают рациональные решения на основании собственной свободной воли. Отвергнув теорию свободной воли и взяв на вооружение эволюционные принципы, криминально-антропологическая школа пришла к выводу, что совершение противоправного действия не

¹⁰ Несмотря на то, какой шум вызвали теории Ломброзо в международных криминологических кругах, его работа «Человек преступный» (Милан, 1876) в тот период так и не была переведена на английский язык. Расширенное и переработанное издание вышло по-английски в 1911 году под названием «Преступление, его причины и способы предотвращения». В 1887 году был опубликован перевод на французский, в 1887–1890 годах — на немецкий. Насколько мне известно, на русский главный труд Ломброзо был переведен только после распада СССР. Между тем, в 1889 году была выпущена книга: Щербак А. Е. Преступный человек [врожденный преступник — нравственно-помешанный — эпилептик] по Ломброзо. По-видимому, она содержала конспект основных положений книги.

¹¹ [Wolfgang 1961: 369–370]. Стремление Ломброзо объявить преступников «примитивными» или атавизмами отражает нараставшую тогда в Европе озабоченность по поводу сущности современного общества. Ломброзо пытался понять, почему некоторые люди в него не вписываются, и объяснить это их генетическими дефектами.

является вопросом личного выбора: каждый есть либо прирожденный преступник, либо нормальный человек.

Ломброзо вычленил свойства прирожденного преступника по результатам антропометрических замеров заключенных и правонарушителей. При этом не все физиологические аномалии из длинного списка, составленного Ломброзо, можно приписать исключительно атавизму. Поэтому он дополнительно ввел понятие дегенерации (последствий воздействия социальных недугов, таких как алкоголизм, недоедание, туберкулез и венерические болезни, на душевное и нравственное здоровье) в качестве основополагающего для определения склонности к преступлению¹². Например, Ломброзо считал, что эпилепсия является паталогическим состоянием, которое нарушает нормальное неврологическое развитие и ведет к дегенерации, способной низвести до уровня прирожденного преступника. Хотя Ломброзо исходил из того, что прирожденный преступник представляет собой отдельный антропологический тип, он выяснил, что схожие свойства проявляются и у эпилептиков. В итоге он включил их в число дегенератов и, соответственно, таких же потенциальных преступников.

В итоге Ломброзо определил несколько типов преступников, помимо прирожденных преступников и эпилептиков: преступники по страсти, преступники-истерики, случайные преступники, псевдопреступники, криминолоиды, закоренелые преступники. Каждая из категорий отражает разный уровень атавизма и дегенерации; в некоторых имплицитно признается влияние среды и подразумевается, что в экстремальных обстоятельствах

¹² Ломброзо использовал понятие дегенеративности для объяснения отклонений в развитии, препятствующих нормальному развитию плода, которые в свою очередь потом проявляются в качестве «врожденных» аномалий у преступников. Таким образом через дегенеративность он связывал внешние факторы, такие как алкоголизм и другие заболевания (способные повлиять на развитие плода), с биологическими аспектами, представляя дегенеративность как «наследственное» состояние, способное ослабить будущие поколения и сделать их «преступными» [Gibson 2020: 20, 25]. Многие исследователи занимались изучением понятия дегенеративности и его широкого распространения в кругах европейских элит в конце XIX века. См., напр., [Beer 2008; Chamberlain, Gilman 1985; Drinka 1984; Harris 1989; Pick 1989].

дегенерация способна довести «нормального» человека до преступления. При этом Ломброзо никогда не отказывался от идеи примата врожденных индивидуальных факторов, подчеркивая параллельные роли атавизма и дегенеративности в создании преступных типажей¹³.

Для некоторых русских интеллигентов конца XIX века теории Ломброзо выглядели в высшей степени привлекательно, в первую очередь благодаря их «научообразности». Его метод измерения физических свойств преступников стал эмпирическим базисом для криминологических исследований в тот самый период, когда научные принципы приобретали все больший вес в легитимации социальных наук¹⁴. Многие русские специалисты видели в криминальной антропологии способ привести научные методы в область юриспруденции, в которой многие десятилетия главенствовало мировоззрение классической школы¹⁵. Например, Н. С. Лобас, врач, который долгие годы работал с преступниками в Сахалинской тюрьме, с одобрением констатирует, что

последователями уголовно-антропологической школы был внесен в работы естественно-исторический метод исследования. С этого момента классической школе уголовного права, поставившей во главу суждений о преступнике и о его преступной деятельности «свободную» и, притом, «злую волю», был нанесен смертельный удар. В этом огромная, неизмеримая заслуга Ломброзо, искупившая все его ошибки [Лобас 1913: 11].

¹³ [Wolfgang 1961: 371; Jones D. A. 1986: 84; Radzinowicz 1966: 49–50]. См. также [Gibson 1982: 158].

¹⁴ О развитии науки и научных принципов в России см. [Graham 1993].

¹⁵ Российские сторонники Ломброзо издавали два журнала: «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии» (1883–1899) под редакцией П. И. Ковалевского и «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» (впоследствии — «Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии», 1904–1919) под редакцией В. М. Бехтерева. Бехтерев, Тарновская, Тарновский и Дриль наряду с прочими участвовали в Международных конгрессах по криминальной антропологии, которые периодически проходили в Европе с 1885 по 1906 год. См. [Engelstein 1988: 133].

Классическая школа уголовного законодательства утверждала, что в сознании преступника может присутствовать злая воля, которая проявляется, когда человек перестает различать допустимое и недопустимое поведение или оказывается не способен понять разницу между добром и злом. Лобас, однако, отмечает, что миллионы людей боролись за выживание в далеко не идеальных обстоятельствах и при этом не совершали преступлений. Соответственно, заключает он,

вполне естественно искать причины преступности не только в тех или иных жизненных условиях, окружающих данную преступную личность, но и в ней самой, в несовершенствах ее психофизической организации, *не позволяющих ей избирать тот путь, каким идут все* [Лобас 1913: 12–13].

При таком подходе получается, что на преступление человека толкает не злая воля, а, скорее, нечто, органичное для его личности, изначально присущее его физиологии. Сочетая элементы дарвиновской теории эволюции с «научными» статистическими данными, полученными посредством антропометрических измерений, криминальная антропология давала объяснения неискоренимости преступной деятельности и склонности к ней определенных лиц. Она оправдывала изоляцию преступников от общества и предлагала способы защиты общества от криминальных элементов, особенно в контексте роста преступности, насилия и терроризма, с которым Россия столкнулась в первые годы XX века¹⁶.

Криминальная антропология позволяла своим последователям найти научное обоснование насущной проблемы потенциальной криминализации масс. Например, П. Н. Тарновская (1848–1910), основываясь на криминальной антропологии, призывала к реформированию общества через улучшение биологии человека. Тарновская — профессиональный врач и активный член международных криминологических кругов — вместе со своим мужем, докто-

¹⁶ О терроризме и насилии в начале XX века см. [Geifman 1993].

ром В. М. Тарновским, являлась пылкой поклонницей Ломброзо. Она даже внесла собственный вклад в его исследования женщин-правонарушительниц, снабдив его данными по женщинам-убийцам в России. Тарновская отмечала: «Криминальная антропология стремится выяснить обездоленность преступника изучением его физических и нравственных, приобретенных и наследственных недостатков и отклонений» [Тарновская 1902: 497]. Она полагала, что задачи криминальной антропологии состоят

в выяснении общих биологических оснований все более и более увеличивающегося числа преступлений; в указании ближайших причин, обуславливающих появление на свет людей, наиболее расположенных к преступности <...> и в изучении мер, могущих предотвратить наклонность к совершению преступлений [Тарновская 1902: 498].

Тарновскую прежде всего интересовали биологические аспекты криминальной антропологии, она подчеркивала, что исследование наследственных криминальных черт является лишь частью более широкой области изучения человеческого развития и эволюции. Более того, Тарновская видела в исследовании преступлений важнейший элемент социальной гигиены и «ближайшую цель этой новой отрасли биологии» [Тарновская 1902: 498]¹⁷. Так, согласно Тарновской, изучение преступлений является обязательным шагом на пути внедрения социальной гигиены и достижения социального благополучия. В силу своей прямой связи с биологией, криминальная антропология способна прояснить причины преступлений и помочь в разработке мер их предотвращения, прежде всего поскольку позволяет вычислить тех, кто по природе своей предрасположен к преступным действиям, то есть прирожденных преступников. В результате

¹⁷ Несмотря на свой энтузиазм по поводу трудов Ломброзо, Тарновская во многом отходила от его положений, особенно в своем нежелании считать женское сексуальное влечение патологией. О понимании Тарновской криминальной антропологии и ее взглядах на проституцию см. [Engelstein 1988: 137–152].

криминальная антропология вошла в область социальных наук, тесно связанных с сохранением здоровья социального организма и социума.

При этом даже самые ярые последователи Ломброзо считали необходимым адаптировать криминальную антропологию под российские условия. Например, Д. А. Дриль (1846–1910), неколебимый приверженец криминальной антропологии, считал, что при рассмотрении как личностных, так и общественных факторов преступления теории Ломброзо применимы лишь до определенной степени. Видный криминолог, юрист и преподаватель российского права, Дриль некоторое время работал в управлении воспитательно-исправительных учреждений Главного тюремного управления и юрисконсультантом в Министерстве юстиции. Он много трудился и на научном поприще: преподавал на юридическом факультете Московского университета и в Психоневрологическом институте в Санкт-Петербурге, много писал на темы преступности и криминологии¹⁸. Дриль принимал теоретические подходы криминальной антропологии, однако критически относился к практическим методам изучения преступников, которыми пользовался Ломброзо, подчеркивая, что полного понимания преступления можно достичь только после исследования социальных факторов, повлиявших на преступника, а не только его или ее физиологических свойств. Он подчеркивал важность личностных факторов, но признавал и роль «внешних условий» и «окружения», которые обуславливают склонность к преступным действиям [Snow 1987: 40].

Дриль подчеркивал, что криминальная антропология в том виде, в каком ее разработал Ломброзо, привнесла научную, систематическую методологию в исследования преступлений. По его

¹⁸ Особенно важна была деятельность Дриля в области преступности несовершеннолетних. См. [Дриль 1884–1888]. Рассуждения в этой работе построены на теории дегенеративности, автор утверждает, что на нравственное и физическое здоровье детей влияют как наследственные факторы, так и среда. О Дриле и его роли в России см. [Эминов 1997: 105; Остроумов 1960: 286; Гернет 1890–1904]. О трактовке Дрилем ломброзианской теории см. [Beer 2008: 104–108, 110, 115–121]. См. также [Bialkowski 2007: 193–245].

мнению, до Ломброзо уголовное право оперировало абстрактным представлением о преступнике. Ломброзо же выявил взаимосвязь между преступлением и преступником, «и не только в его настоящем, но и в его наследственном и индивидуальном физическом и психическом прошлом и в разнообразии *общественных* условий его существования». Криминальная антропология Ломброзо действовала «точные методы естествознания, которые дали уже блестящие результаты в отраслях науки, ими разрабатывавшихся, и благодаря которым человек все более вскрывает тайники природы, овладевает ее тайнами и направляет ее явления» [Дриль 1904: 12–13]. Дриль признавал, что криминальная антропология превратила изучение преступлений в полноценную научную дисциплину, используя методы, основанные на статистике и эмпирических данных, с целью продвинуться в понимании взаимоотношений между человеком и обществом. Он подчеркивал, что криминальная антропология способна предложить инструментарий для раскрытия внутренних побуждений человеческого разума и человеческой психологии. Это, в свою очередь, позволит социуму понять и обуздать преступника.

Опираясь в своей работе на положения криминальной антропологии, Дриль одновременно критиковал Ломброзо за приверженность понятию прирожденного, то есть неисправимого преступника, отмечая, что это взгляд «не вперед, а назад к эпохам человеческого варварства» [Дриль 1904: 16]. Он подчеркивал, что для более полного понимания личности преступника необходимо рассматривать как его индивидуальные свойства, так и общий социальный контекст, в котором он живет:

Мы не знаем человека вне общества, но не знаем и общества без человека и окружающей космической среды. Поэтому наука, в ее полноте — что всецело признает уголовно-антропологическая школа — не может изучать преступление и преступность, как результат одних антропологических, или социологических, или космических факторов. Она должна изучать их, как общий результат всех трех видов факторов. Только тогда изучение будет полно, всесторонне, а следовательно, и научно [Дриль 1904: 19].

Дриль считал преступность одним из вариантов «болезни социального организма» [Дриль 1904: 20], причины которой необходимо изучать в совокупности, как и в случае с любой болезнью — иначе излечение невозможно. «Научные» ломброзианские методы анатомического изучения отдельного человека он сочетал с более широкими представлениями, учитывавшими влияние социальных факторов и среды, в которой существует преступник.

Дрилю, как, возможно, и другим русским приверженцам криминальной антропологии, теории Ломброзо импонировали не в силу сделанных им выводов как таковых, а, скорее, потому, что при изучении преступников и преступности он использовал точные «научные» статистические методы. Сделанный в криминальной антропологии упор на эмпирику — эксперимент, измерения, наблюдения — привлекал к ней тех, кто хотел превратить криминологию в точную науку, искал объективные основания для реформирования пенитенциарной системы и стремился применять эти принципы для поддержания общественного порядка. В контексте нарастающих протестов и насилия в России теории Ломброзо позволяли обосновать изоляцию некоторых потенциальных бунтарей от общества. При этом, взяв за основу принципы эволюции, криминальная антропология помещала позыв к преступлению внутрь человеческой личности. Подобная приверженность внутренним причинам отвращала от Ломброзо многих криминологов, которых интересовали теории позитивизма, общественного прогресса и влияния внешних факторов, в особенности — широко распространившегося в начале XX века насилия, на уровень преступности.

Социологическая школа в криминологии

Расцвет криминальной антропологии как отдельной криминологической школы оказался недолговечным как в Европе, так и в России, хотя составные части ее теории использовались для толкования преступности в современном обществе и сохраняют

свое влияние даже в XXI веке¹⁹. При этом хотя криминальная антропология и пользовалась «научными» методами, эта «наука» — основанная на анатомических измерениях ограниченной группы преступников — зачастую представляла весьма необъективной, поскольку не привносила достаточно строгих методов эмпирического анализа в социологические исследования. Более того, в силу своего акцента на атавизме и дегенерации, криминальная антропология выглядела в глазах многих исследователей анти-прогрессивной и анти-современной. В особенности в России, где интеллигенция ратовала за социальные реформы и улучшение положения масс, имелись серьезные несогласия с заявлениями Ломброзо по поводу врожденной склонности к преступлениям. Более того, для российских исследователей преступлений развенчание теорий Ломброзо стало способом сформулировать и развить собственные криминологические теории и призвать к общественным реформам и модернизации. Несмотря на то, что сам Ломброзо постоянно пересматривал свои теории и к 1890-м годам пришел к выводу, что природа «создает базовые биологические предпосылки преступления, при этом общество обеспечивает условия, в которых раскрываются преступные наклонности прирожденного преступника» [Герцензон 1966: 14], даже этого признания о влиянии общества для многих криминологов

¹⁹ Основная посылка Ломброзо — что определенные врожденные свойства определенных личностей толкают их на преступления, сохранила свою притягательность даже после того, как его конкретные методы были дискредитированы как псевдонаучные. Например, благодаря техническим прорывам в нейрофизиологии, возникла вероятность, что в ближайшее время посредством сканирования мозга можно будет выявлять предрасположенность к преступлениям, которая обусловлена тем, как именно устроен и функционирует мозг подозреваемого. Соответственно, некоторых людей, вероятно, будут признавать потенциально опасными, изолировать или помещать под наблюдение на основании одного лишь сканирования мозга, а не того, что они нарушили закон или продемонстрировали склонность к преступным действиям. Хорн упоминает об этом в контексте генетической теории и составления генетических карт, журналист Д. Розен говорит о том же в контексте нейрофизиологии и уголовного законодательства. См. [Норн 2003: 145–147; Rosen 2007: 82–83].

оказалось недостаточным. В целом они отвергали биологический детерминизм представлений Ломброзо, предпочитая ему более социологический подход, основанный на первостепенном значении социальных условий и влиянии социального «окружения», а не на роли «наследственных» факторов²⁰. При том что взгляды социологической школы на преступника отличались от взглядов Ломброзо, обе школы зиждились на одном и том же течении мысли. Собственно говоря, параллельное развитие социологических теорий стало основой для критики подхода Ломброзо. Примером такой критики стал подход криминологов левого толка, связанных с «позитивистской» школой криминологии, и прежде всего — коллеги и друга Ломброзо Энрико Ферри (1856–1929).

Ферри оставался общепризнанным лидером позитивистской школы с 1878 года и до самой своей смерти в 1929-м. Известный практикующий адвокат и университетский преподаватель, работавший несколько десятилетий в итальянском парламенте, Ферри на протяжении всей своей профессиональной карьеры тесно сотрудничал с Ломброзо — именно ему часто приписывают изобретение термина «прирожденный преступник», связанного с криминальными типами Ломброзо²¹. При том что подход Ферри к изучению преступности напоминал подход Ломброзо

²⁰ См. напр. [Nye 1976a: 342, 345]. Най отмечает, что к концу XIX века теориям Ломброзо уже не было места в обсуждении реформ пенитенциарной системы в Европе. Более того, теории эти подвергались прямой критике, особенно со стороны французских криминологов. См. также [Lindesmith, Levin 1937: 635–671], где речь идет о том, что значение Ломброзо для развития криминологии зачастую преувеличивается, что значительная работа в этом направлении была проделана до Ломброзо и заложила основы, позволявшие оценивать его теории. Сходная позиция высказана в [Leps 1992: 32–43]. [Beer 2008] утверждает, что теории дегенеративности представляли собой альтернативу атавистическому детерминизму Ломброзо. По его мнению, российские криминологи считали физические недостатки отражением общественных недостатков и общественного неравенства: преступников можно было идентифицировать по их патологиям, однако причины преступности при этом усматривались в устройстве общества.

²¹ О Ферри см. [Sellin 1958; Кнуров 1924].

и во многом зиждился на тех же принципах, Ферри подходил к пониманию преступной мотивации с более широких социологических «позитивистских» позиций, в связи с чем меньше заострял внимание на врожденных криминальных чертах.

Термин «позитивизм» был впервые предложен французским философом О. Контом (1798–1857) и подразумевал отмежевание науки от нравственности с выдвиганием науки на первый план. Для позитивистов социология была наиболее «научной» из всех социальных наук: человека они рассматривали не как отдельную личность, а как члена социума²². В том же ключе позитивистская школа криминологии исходила из понимания преступника как продукта его же социального окружения. В книге «Уголовная социология», впервые опубликованной в 1884 году, Ферри утверждает, что задача позитивистской школы — «изучить естественный генезис преступления, как в самом преступнике, так и в той среде, в которой он живет, для того чтобы разные причины лечить разными средствами» [Ферри 1908: 2]. По его мнению, метафизическую концепцию нравственной ответственности, которую продвигала классическая школа, надлежит заменить представлением о юридической и социальной ответственности. Наказание за уголовные деяния не должно носить карательного характера и основываться на объективной сущности содеянного, оно должно определяться научным способом, с учетом опасности правонарушителя для общества и его или ее мотиваций при совершении преступления²³.

Позитивистская школа также делала акцент на научной классификации преступников. Ферри выделил пять типов, параллельных классификации Ломброзо: прирожденный преступник, душевнобольной преступник, преступник по страсти, случайный

²² По мнению Конта, основами современной ему науки являлись эмпиризм, наблюдения и эксперимент, которые способны были создать научную основу правильной организации общества. О Конте, позитивизме и школе позитивизма см. [Beirne 1987: 1140–1169; Hawthorn 1987: 66–89; Mannheim 1960: 10–11; Rennie 1978: 67–78]. Часто звучит мнение, что и Ломброзо придерживался позитивистского подхода к криминологии.

²³ См. [Sellin 1958: 490–491].

преступник, преступник по приобретенной привычке²⁴. Хотя Ферри не заострял внимания на физиологических свойствах, занимаясь в основном социологическими факторами, в его подходе, безусловно, было много общего с теориями Ломброзо. Русский психиатр Ю. В. Португалов критиковал за это позитивистскую школу, призывая ее последователей «перестать опираться на детерминизм, как на главную незыблемую основу, ибо эта доктрина, как детище узкого естествознания, значительно пошатнулась за последнее время и не может выдерживать тяжести учения о преступности» [Португалов 1904: 476]. Тем не менее, сосредоточенность Ферри на реформе уголовного законодательства и предложенное им понятие юридической ответственности — а именно необходимости соотносить наказание с «опасностью» правонарушителя и с тем, что цель наказания — это защита общества, импонировали российским криминологам, которые искали возможности включить эти принципы в пенитенциарные теории (они потом станут неотъемлемой частью советской «прогрессивной» пенитенциарной политики). Ферри откровенно тяготел к социализму и пристально следил за деятельностью российских социалистов и революционеров. Его основной труд по уголовной социологии был переведен на русский язык, равно как и его соображения по поводу советского уголовного права, а его принципы уголовного права оказали влияние на первые советские кодексы и на пенитенциарную политику²⁵.

Многие русские специалисты, занимавшиеся изучением преступлений до Октябрьской революции, также выступали с критикой теорий Ломброзо, а их более социологический подход к исследованиям преступности отчасти был основан на идеях Ферри. Например, С. В. Познышев (1870–1943), один из первых судмедэкспертов и автор одного из первых российских учебников по уголовному праву, считал, что «преступление не есть какое-то особое биологическое явление; его природа — социальная в том

²⁴ Там же. С. 485.

²⁵ [Sellin 1958: 487]. См.: [Ферри 1928: 33–43]. Русский перевод его книги, «Уголовная социология» под редакцией С. В. Познышева, вышел в 1908 году.

смысле, что круг деяний, считающихся в тот или иной момент преступными, определяется общественными условиями и потребностями» [Познышев 1911, 7: 65]. По мнению Познышева, Ломброзо заблуждался, поскольку

Ломброзо игнорирует громадное различие в условиях жизни дикарей и современного общества и вытекающее отсюда громадное различие в понятиях дозволенного и недозволенного тогда и теперь. <...> Во всяком случае, наши современные антропологические сведения о дикарях не приводят к тому мнению, что указываемые Ломброзо аномалии были общим правилом у дикарей [Познышев 1911, 7: 63].

Далее Познышев отмечает:

С крушением идеи прирожденного преступника падает и антропологическая школа, падает и самая возможность уголовной антропологии, потому что, если нет антропологического типа преступника, то не может быть и особой науки о нем. <...> Итак, нет прирожденного преступника, нет и неисправимого преступника. Нет вообще антропологического типа преступника. Это — очень важные выводы, предохраняющие учение о преступнике от многочисленных ошибок [Познышев 1911, 7: 68–69].

Предлагая позитивистский, социологический подход к криминологии, Познышев утверждает, что классическая школа отделяет личные жизненные обстоятельства преступников от совершенных ими преступлений и рассматривает преступление как статическое явление, пользуясь абсолютными категориями. Социологический подход, напротив, предлагает пристальнее вглядываться в связь между преступником и преступлением, в психологический склад правонарушителя и в его личные особенности. Сторонники социологического подхода отрицали принятые классической школой представления о свободной воле и нравственной вине. С их точки зрения, причины преступления можно обнаружить в обществе и общественно-экономи-

ческих условиях, равно как в личностных и физиологических факторах. По их мнению, именно эти факторы, а не свободная воля и не личный выбор преступника, и толкают на совершение преступления. В таком ключе преступление из абстрактной концепции превращалось в реальный и действительный отклик на специфические условия, воздействующие на преступника [Познышев 1911, 6: 185–186; Пионтковский 1927: 25]. Криминально-антропологическая школа имела те же претензии к классической школе и тоже делала упор на взаимоотношения между преступником и преступлением. Хотя обе школы возникли как реакция на классическую школу, криминальную антропологию отличал от криминальной социологии взгляд на природу преступника. В отличие от антропологической школы, социологическая усматривала факторы преступления прежде всего в социальных условиях: люди определенного типа не могут обладать врожденными девиантными свойствами, поскольку понятия о преступном поведении изменяются во времени в соответствии с потребностями общества.

В России криминальная социология породила российскую социологическую школу криминологии. Одним из ее основателей и первых российских криминологов, применивших социологический подход к исследованиям преступности, стал И. Я. Фойницкий (1847–1913), преподаватель права в Санкт-Петербургском университете и председатель российского отделения Международного союза криминологов²⁶. Уже в 1873 году Фойницкий начал

²⁶ Фойницкий также являлся директором Кабинета уголовного права при Санкт-Петербургском университете. Кабинет, основанный в 1890 году по итогам международного съезда пенологов, состоявшегося в июне, также имел в своем составе музей пенологии, в котором размещалась выставка, отображавшая структуру и организацию тюрем, тюремную жизнь, историю пенологии в России и за рубежом. Там же находилась библиотека по уголовному праву, проводились занятия, в том числе вечерние курсы и лекции по пенологии (Кабинет уголовного права при Императорском С.-Петербургском Университете. Каталог музея. Изд. 3-е. СПб.: Сенатская типография, 1902). Этот кабинет можно считать предшественником криминологических учреждений, которые во множестве возникли после революций 1917 г. — речь о них пойдет в Главе 2. Участие Фойницкого в этом начинании отражает

формулировать свои социологические теории преступности. Исследуя статистику, он выделил три разновидности факторов, ведущие к преступлениям: общественно-экономические (безработица, дороговизна продуктов питания, бедность), физические (время года, климат, температура воздуха) и индивидуальные (пол, возраст, психологический склад личности) [Остроумов 1960: 244]²⁷. В первой своей фундаментальной работе «Влияние времени года на распределение преступлений» Фойницкий приходит к выводу, что изменения температуры воздуха влияют на совершение краж и тяжких преступлений. Сезонные изменения в уровне преступности он связывает с экономическими условиями жизни бедных слоев населения, отмечая, что в холодное время положение их делается особенно тяжелым²⁸. Подчеркивая связь между внешними условиями, экономикой и преступностью, Фойницкий заявляет, что внешние общественно-экономические факторы, влияющие на преступную деятельность, важнее, чем физиологические свойства преступника.

Анализируя преступность, Фойницкий пользовался почти той же терминологией, что и сторонники подхода Ломброзо, однако значение терминов интерпретировал в ином ключе. Например, он считал, что роль «примитивности» очень важна для истолкования действий правонарушителя. Однако для него «примитивность» была не врожденно-наследственным недостатком, а скорее

пспытки, предпринятые на раннем этапе развития криминологии практиками — представителями социологической школы — по превращению криминологии в научную дисциплину через внедрение систематических учебных курсов. Фойницкий лично вел первый в России университетский курс пспытки в Санкт-Петербургском университете в 1874 году [Adams 1990: 129].

²⁷ Остроумов отмечает, что социологи порой подразделяют факторы преступления только на две категории, первую и третью, однако это не меняет сути теории. См. [Фойницкий 1893: 79] — он говорит о важности как общественных факторов, так и влияния среды для верной трактовки преступления. Работы Фойницкого по преступности и праву опубликованы в сборнике [Фойницкий 1898–1900].

²⁸ См. статью Фойницкого «Влияние времени года на распределение преступлений» (цит. в: [Иванов, Ильина 1991: 63–64], а также [Гернет 1906]. Статья Фойницкого также перепечатана в его сборнике «На досуге» (т. 1, 1989).

производной от той среды, в которой жил преступник. По мнению Фойницкого, чем более сложным и разнообразным является окружение человека, тем выше он по своему психологическому развитию, то есть в этом случае «примитивные» формы нравственности и рассудка уступают место более зрелым и переводят человека на более высокий уровень «цивилизованности» [Фойницкий 1893а: 86]²⁹. Кроме того, Фойницкий в своих работах подчеркивал важность биологии. Первый шаг к пониманию личности преступника лежал, по его словам, в «биологических теориях преступления». При этом Фойницкий черпал эти биологические теории не столько в области физиогномики и антропологических свойств, сколько в области психологического склада преступника — он считал, что именно на основании такого подхода нужно определять уголовную ответственность [Фойницкий 1893а: 81].

Внимание Фойницкого к биопсихологии преступников отражает нараставший внутри российской социологической школы конца XIX века интерес к уголовной психиатрии. На раннем этапе психиатры сосредотачивались прежде всего на душевных болезнях и на институциональном лечении лиц, признанных душевнобольными. Высокий процент душевнобольных среди преступников и преступников среди душевнобольных подтолкнул, на раннем этапе, психиатров из Европы и России к выводу, что между душевной болезнью и преступлением существует связь [Wetzell 2000: 42]³⁰. Эта связь непосредственным образом вытекала из озабоченности воздействием процессов модернизации (индустриализации, урбанизации), бедности и болезней на народные массы. Русский психиатр П. И. Ковалевский (1849–1923), профессор Харьковского университета и основатель первого российского журнала по психиатрии, полагал, что в связи с на-

²⁹ Подобное понимание «примитивности» еще отчетливее видно в исследованиях, посвященных женской преступности.

³⁰ Об истории безумия, психиатрии и преступности см. также [Dörner 1981; Chamberlin, Sandler, Gilman 1985; Dowbiggin 1991; Harris 1989; Nye 1984; Rothman 1971; Skultans 1979].

растанием социального напряжения и тревожности, которыми сопровождается рост ожиданий в современном обществе, душевные болезни в России распространяются, угрожая общественному порядку, и приводят к росту преступности, особенно среди молодежи. Он выступал за профилактику душевных болезней и за изоляцию душевнобольных от общества³¹. Взгляды Ковалевского отражали представления о том, что душевная болезнь ведет к преступности в силу распада (дегенерации) социальной ткани. В рамках этого подхода ученый сосредоточился на личности отдельного правонарушителя и на его умственном состоянии. Психиатр Ю. В. Португалов также ратовал за изучение преступности с точки зрения психологии, отмечая, что очень важно выявить «общее моральное направление психической деятельности, те импульсы, стремления и желания, которые подстрекают личность на ту или иную деятельность» [Португалов 1904: 471]. Признавая, что «преступность тоже с этой точки зрения есть социологический вид, который может видоизменяться, колебаться, передаваться от поколения к поколению, исчезать, появляться вновь», он подчеркивал: «Для изучения их [злокозненным преступлений] этиологии важны и экономика, и социальные моменты, но для анализа их “преступной статистики и динамики” <...> важна только психология» [Португалов 1904: 471–472, 474–475].

Стремительное развитие европейской уголовной психиатрии облегчило становление русской социологической школы. Так, в работах немецкого психиатра Г. Ашаффенбурга (1866–1944), профессора Медицинской академии в Кельне, индивидуальный подход, принятый в психиатрии, сочетался с социологической трактовкой причин преступления. В фундаментальной монографии 1903 г. «Преступление и борьба с ним», опубликованной в русском переводе в 1906 году, Ашаффенбург доказывает, что на уровень преступности влияют как социальные, так и индивидуальные факторы. Например, Ашаффенбург считал, что рост числа имущественных преступлений в Германии стал результатом

³¹ См. [Miller 1998: 12–13]. О психиатрии и психологии в России см. также [Bauer 1952; Becker 2003; Brown 1987; Joravsky 1989].

сложностей в приспособлении к снижению уровня жизни, которым сопровождался рост цен на зерно. Кроме того, Ашаффенбург пришел к выводу, что ответственность за преступления надлежит возлагать на социальную среду, поскольку убожество жизни рабочих приводит к «биологической дегенерации», которая лишает их возможности успешно вести «борьбу за существование». По мнению Ашаффенбурга, «биологическая дегенерация является следствием общественных причин; возникающие в итоге биологические нарушения делают своих жертв общественно ущербными; именно эта общественная неполноценность — а не “нравственные дефекты” или “преступные наклонности” — толкают некоторых из них на преступления» [Wetzell 2000: 64–67]³². С точки зрения приверженцев социологической школы, в теориях Ашаффенбурга рационально сочетались необходимость принимать во внимание психиатрическое состояние конкретного преступника и интерес к его или ее общественному положению — тем самым подчеркивалась совместимость уголовной социологии и уголовной психиатрии.

Психиатрический подход Ашаффенбурга способствовал развитию в рамках российской социологической школы исследований преступника как личности — на этом сосредоточилась криминальная антропология. В 1913 году психиатр А. Л. Щеглов решил прояснить положение психиатрии в сфере социологических исследований преступности. Он отметил, что социологическая школа трактует преступление «как порождение социальных условий нашей жизни», используя статистические методы для обнаружения всевозможных факторов, способных пролить свет на сущность и происхождение преступных наклонностей [Щеглов 1913: 4]. При этом он подчеркивал, что, при выявлении преступных наклонностей, для психиатра личностные факторы отнюдь не менее важны, чем внешние. Внешние общественные факторы воздействуют на всех, при этом лишь относительно небольшое

³² Труд Ашаффенбурга был опубликован в России как: Преступление и борьба с ним. Уголовная психология для врачей, юристов и социологов. Одесса: Распопов, 1906.

число лиц склоняется к преступной деятельности. А значит, рассуждал Щеглов, помимо социологических факторов, необходимо изучать психофизиологическое состояние правонарушителя, с особым вниманием к индивидуальной предрасположенности к правонарушениям [Щеглов 1913: 5]. Более того, Щеглов отстаивал приоритет психиатрии в рамках социологических исследований преступности:

преступление относится к той пограничной области между нормой и патологией, где дается такой большой простор нашим субъективным переживаниям и склонностям. <...> Таким образом, изучение преступника должно идти, по нашему мнению, не от изучения особенностей его анатомического строения к изучению его физиологии и психологии, а совершенно в противоположном направлении, а именно: от изучения его психических отклонений и изучения его нервно-физиологической деятельности к изучению особенностей его физического строения [Щеглов 1913: 10–11].

Щеглов ратовал за то, чтобы поместить уголовную психиатрию в пределы социальной медицины и социальной гигиены, сравнивая исследование мозга преступника с изучением проблем здоровья населения, таких как венерические болезни, алкоголизм и эпидемии. Тем самым он подчеркивал необходимость психофизиологического анализа для сохранения общественного здоровья и его сочетания с социологическим анализом, для того чтобы вычленил внешние факторы, которые толкают людей на преступление, а также определить, что именно в природе человека является стимулом для противоправного поведения.

В ходе своего развития русская социологическая школа стала поборницей как социологического подхода, в рамках которого причины преступлений искали в факторах внешней среды, так и психиатрического, целью которого было изучение умственной деятельности преступника. В отличие от криминальной антропологии, в которой определение преступнику давали, исходя из его внутренних физических и атавистических свойств, социологическая школа сосредоточивалась на внешних факторах, среде

и психологических реакциях преступника на его окружение. В России взгляды социологической школы находились в одном русле с общим интересом интеллигенции XIX века к социальным реформам, однако существовало мнение, что социологическая школа заходит недостаточно далеко в объяснения причин преступлений.

«Левое крыло» социологической школы

Направление развития российской социологической школы определила общественно-политическая атмосфера в России конца XIX века. Российские образованные элиты, недовольные произволом и несостоятельностью царского правления, все активнее стремились участвовать в процессе общественных реформ. Например, в 1870-е годы идеалистически настроенные студенты, считавшие, что ключ к будущему страны лежит в крестьянской общине, отправились «в народ», чтобы подтолкнуть его к бунту. Очень часто крестьяне, с недоверием относившиеся к студентам, выдавали их полиции. Провал этого начинания привел к тому, что многие молодые интеллигенты склонились к террору, других же молодых профессионалов и специалистов их неудача убедила в том, что лучший способ добиться реформ и улучшить жизнь российского простонародья — действовать через официально одобренные каналы. И действительно, созданные в 1864 году земства стали для этих специалистов инструментом практической деятельности среди народа, обеспечивая рабочие места для врачей, учителей, статистиков, инженеров и агрономов, которые осуществляли свою профессиональную деятельность на селе и тем самым способствовали распространению передовых знаний среди крестьян³³. Одновременно участие в работе земств способствовало радикализации взглядов многих

³³ Об интеллигенции, земствах и народничестве см., в частности, [Clowes, Kassow, West 1991; Emmons, Vucinich 1982; Kingston-Mann 2005; Mespoulet 1999; Pipes 1992: 249–280; Pomper 1993].

профессионалов: повседневный труд убеждал их в насущной необходимости неотложных социальных реформ. Именно с этих позиций криминологи подходили к исследованию преступлений, в этом контексте складывались условия для развития в России криминологии как научной дисциплины.

Фойницкий совместно с коллегами М. В. Духовским (1850–1903) и Н. С. Таганцевым (1843–1923) образовал изначальное ядро российской социологической школы криминологии. В своих исследованиях они делали упор на социологические факторы преступления, подкрепляя и подтверждая их эмпирическими данными уголовной статистики. Однако к началу XX века ощущение неотложности социальных реформ с целью модернизации России, растущий интерес интеллигенции к социалистическим теориям и нарастающая вовлеченность образованных элит (в том числе и некоторых ученых-криминологов) в оппозиционную деятельность, в сочетании с профессиональным чувством социальной ответственности, привели к возникновению «левого крыла» российской социологической школы, во главе которого встали М. Н. Гернет (1874–1953), А. Н. Трайнин (1881–1949), А. А. Жижиленко (1873 — не ранее 1930) и Е. Н. Тарновский (1859–1936). Сочетая подходы социологической школы с радикальной социалистической идеологией, эти юристы и статистики нового поколения основывали свои объяснения преступности на общественно-экономических факторах. Они выискивали долговременные тенденции и делали упор на общественно-экономических изменениях, которые оказывали влияние на криминальное поведение, подкрепляя свои выводы статистикой и уменьшая (хотя и не сводя к нулю) роль личностных факторов еще сильнее, чем Фойницкий и его последователи [Сахаров 1994: 16–17].

Например, Тарновский, статистик, служивший в Министерстве юстиции и отвечавший за составление и редактуру «Свода статистических сведений по делам уголовным» — официального государственного реестра уголовной статистики, объяснял причины имущественных преступлений с социально-экономической точки зрения. Сопоставив цены на зерно с уровнем преступности, Тарновский пришел к выводу, что дешевизна хлеба

и хороший урожай важны как для экономического, так и для нравственного благополучия общества. Он утверждал, что облегчение экономического бремени в кризисные моменты является необходимой мерой в борьбе с преступностью и что, обеспечив нуждающихся возможностью честно трудиться, «общество или государство может со спокойной совестью отправлять дело правосудия и подвергать наказанию пресупников, в уверенности, что среди них нет людей, которые были приведены к преступлению безвыходной нуждой» [Тарновский 1898: 103–106]. В рассуждениях Тарновского, безусловно, не новых, подчеркивалось влияние экономических факторов на уровень преступности. Одновременно он поднимал вопрос о необходимости социальных реформ и о важности государственной помощи и социального обеспечения — этот вывод помещал криминологов левого крыла в число тех, кто призывал к радикальному реформированию российского общества на принципах социализма.

Гернет стал признанным лидером криминологов левого крыла после публикации в 1906 году его диссертации «Общественные Социальные факторы преступности» [Гернет 1906] (впервые опубликована под названием «Социальные факторы преступности» в 1905 году). Он родился в 1874 году в Ардатове, городке Симбирской губернии, поступил в 1893-м на юридический факультет Московского университета, закончил его в 1897-м. В 1898-м стал преподавателем в собственной альма-матер, одновременно работая над докторской диссертацией. Первую исследовательскую поездку в Европу совершил в 1902–1904-м, посетив все основные центры криминологической науки: Германию, Францию, Италию и Швейцарию³⁴. В «Общественных причинах

³⁴ По ходу поездки Гернет обучался в Гейдельберге, Париже и Риме, встречался в Берлине с Францем фон Листом (см. сноску 60), посещал тюрьмы и криминологические музеи в Италии, Франции, Швейцарии и Германии. Он читал лекции в Париже и Брюсселе, собирал материалы по европейской преступности. См. [Гернет 1974: 10, 623]. Эта поездка по ведущим европейским центрам криминологии свидетельствует о сильном влиянии европейской криминологии в России. Более того, она указывает на важность международного обмена для российских, а впоследствии и советских научных начинаний. О российских международных научных связях см. [Graham 1975; Solomon S. G. 2006].

преступности» Гернет отмечает влияние европейской криминологии на российскую социологическую школу, в особенности на криминологов левого крыла. Проследивая развитие криминологии в рамках европейской традиции Просвещения (в том числе в работах Т. Мора, Ж.-Ж. Руссо и Беккариа), Гернет подчеркивает, что социологическая школа возникла как результат прогрессивных изменений: стремления и необходимости взять преступления под контроль посредством социальных реформ. При том что приверженцы социологической школы подчеркивали важность общественных факторов и необходимость общественных реформ, они исходили из того, что законодательство все равно будет защищать интересы правящего класса, а кроме того, отказывались видеть, что эксплуатация рабочего класса даже опаснее и смертоноснее, чем убийство. Как считал Гернет, именно этот недостаток традиционной социальной школы привел к возникновению ее левого крыла, на которое частичное влияние оказали позитивистский подход Э. Ферри, а также взгляды других европейских интеллектуалов социалистической направленности, например, итальянского социалиста Ф. Турати (1857–1932) [Гернет 1906: 112–115]. Турати подчеркивал важность исследования преступлений как производной от и политической, и общественной ситуации, подчеркивая, что реформы в обществе — более эффективный способ искоренения преступлений, чем наказания³⁵.

³⁵ И Ломброзо, и Ферри были знакомы с работами Турати. Кроме того, среди криминологов левого толка большим влиянием пользовались труды немецкого юриста Франца фон Листа (1851–1919), преподавателя уголовного права, возглавившего в конце 1880-х движение за пенитенциарную реформу. Листа прежде всего волновал вопрос защиты общества от преступников. Как и Ферри, он считал, что суровость наказания должна зависеть от социальной опасности преступника и сосредотачиваться нужно на контроле поведения преступника, дабы не допустить новых противоправных действий с его стороны. Полагая, что «преступление есть продукт свойств преступника в момент совершения преступления и внешних обстоятельств, в которых он находится в этот момент», Лист подчеркивал, что основными факторами, толкающими на преступления, являются «экономическое, политическое и нравственное состояние рабочего класса». Не будучи социалистом, Лист выступал за уменьшение тягот жизни рабочего класса, и его взгляды на пенитенциарную реформу оказали большое влияние на криминологов левого крыла. См. [Beer 2008: 124–125; Wetzell 2000: 35; Гернет 1906: 118].

В преддверии революции 1905 года, когда Николай II пошел на определенные уступки в части конституционных прав и общественного представительства, «Общественные причины преступности» и призывы представителей левого крыла к социальным реформам переплелись с радикальными требованиями недавно возникших социалистических партий³⁶. Тем самым левое крыло политизировало интерес социологической школы к причинам преступности и к социальным реформам, выдвинув на первый план эксплуатацию рабочих как ключевую причину преступности, а снятие этого бремени — как основной метод предотвращения преступлений.

Левые криминологи социологической школы изучали преступления не ради того, чтобы обслуживать интересы отдельных личностей (хотя и рассматривали личностные факторы преступности), а чтобы служить интересам коллектива, защищать все общество от преступлений и преступников³⁷. Они продолжали настаивать на необходимости социальных реформ и через свои исследования преступлений призывали к более масштабным изменениям и реформированию законодательства. Атмосфера в России на рубеже веков, растущая популярность социалистической идеологии и захлестнувшее всех понимание того, что общественные перемены и реформы совершенно необходимы, стали теми условиями, в которых возникла российская социологическая школа, и привели к тому, что европейский (точнее — итальянский и немецкий) подход к криминальной социологии и уголовной психиатрии был радикализован и в анализ преступности привнесена политика. Это привело к возникновению и развитию взаимосвязи между криминологами левого крыла и социалистами-радикалами: действительно, многие из тех, кто

³⁶ События 1905 года и их последствия убедили многих специалистов в том, что самодержавное государство — не лучший партнер для воплощения в жизнь их профессиональных замыслов. В случае с психиатрами, как пишет Д. Браун, государственная экономика и политический надзор над их деятельностью привели к тому, что многие стали сторонниками радикальных перемен [Brown 1996: 161–162]. См. также [Engelstein 1992; Frieden 1981].

³⁷ См. [Пионтковский 1926: 35]

изучал динамику преступности, участвовали в революционную эпоху в оппозиционной деятельности (как в интеллектуальном, так и в иных смыслах)³⁸.

При этом даже внутри левого крыла социологической школы с его радикализмом не было согласия касательно оптимальных методов исследования преступлений. Социологи и психиатры, работавшие в сфере преступности, договаривались с трудом, причем продолжалось это все первые десять лет советской власти. Гернет и сам отмечал, что между представителями социологической школы существуют серьезные разногласия касательно подходов к интерпретации преступлений. Между социологами и психиатрами сохранялись кардинальные различия, поскольку хотя и те, и другие, в принципе, преследовали одни и те же цели в отношении общественно-политических реформ, они не могли договориться о том, насколько пристально надлежит при этом рассматривать отдельного преступника. Противоречия между необходимостью сосредоточиться на психологии отдельного преступника с целью понять тенденции в преступности и важностью изучения общесоциальных причин преступности сохранялись в российской и советской криминологии вплоть до 1920-х годов. Тем не менее, как годчеркивал Гернет,

это глубокое различие во взглядах криминалистов-социалистов и других сторонников социологического направления на основную причину преступности и средство борьбы ее не исключает возможности в некоторых случаях одинакового разрешения теми и другими вопросов о ближайших факторах преступных деяний [Гернет 1906: 106].

Областью, в которой разные представители социологической школы, равно как и приверженцы других теорий, сходились в своих выводах, был вопрос женской преступности и ее причин.

³⁸ Например, Гернет в студенческие годы участвовал в работе подпольных революционных кружков, был на короткое время задержан за эту деятельность полицией, что обеспечило ему надежные верительные грамоты после революции. См. очерк его биографии в [Гернет 1974: 9–10].

Криминологические теории касательно женской преступности

Выход в 1893 году книги Ломброзо «Женщина — преступница», написанной совместно с коллегой и зятем Г. Ферреро, стал первой попыткой научно-систематической классификации феномена женской преступности, равно как и объяснения разницы между женскими и мужскими преступлениями³⁹. Ученые, занимавшиеся проблемами обществоведения, и до того замечали, что женщины склонны совершать преступления особых типов и уж всяко совершают их реже, чем мужчины. В течение XIX века периодически появлялись статьи, посвященные женской преступности. Например, в России еще в 1868 году вышло несколько исследований, посвященных детоубийству; С. С. Шашков исследовал роль женщины в проституции и детоубийстве в работе 1871 года «Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция»; в начале и середине 1880-х ряд итальянских криминальных антропологов опубликовали результаты исследования женщин-заключенных; в статье Е. Н. Тарновского 1886 года статистика тяжких преступлений разобрана по признакам пола, возраста и семейного положения; в 1891-м Д. А. Дриль опубликовал антропологическое исследование женщин-убийц⁴⁰.

³⁹ См.: Ломброзо и Ферреро. Женщина преступница и проститутка. Перевел др. Г. И. Гордон. Киев, Харьков: Ф. А. Иогансон, 1897. В оригинале работа была опубликована по-итальянски как: *La donna delinquente. La prostituta e la donna normale*. Torino: L. Roux, 1893; по-французски как: *La femme criminelle et la prostituée*. Paris: F. Alcan, 1896; по-немецки как: *Das Weib als Verbrecherin und Prostituirte*. Hamburg: Richter, 1894; по-английски как: *The Female Offender*. New York: D. Appleton and Co., 1895. То, как стремительно книга была переведена и опубликована в России (и в Европе), при том что другой основополагающий труд Ломброзо, «Человек преступный», остался почти незамеченным, говорит о том, что теории Ломброзо касательно женской преступности пользовались большим влиянием и сказались востребованы в российском криминологическом сообществе (равно как и среди европейских криминологов), несмотря на неприятие его методов в целом. О взглядах Ломброзо на женщин-преступниц см. [Gibson 1982; Horn 1995; Klein 1994].

⁴⁰ См., в частности, [М. Г. 1868; Гернет 1924г: 22; Шашков 1871; Таганцев 1868; Тарновский 1886].

Однако, несмотря на этот интерес, до 1893 года не предпринималось серьезных попыток создания специальных теорий, в которых рассматривались бы причины женской склонности к преступлениям. В результате труд Ломброзо завоевал всемирное признание и оказал долгосрочное влияние на изучение женской преступности как по всей Европе, так и в России. По ходу исследований Ломброзо пытался дать определение типу «прирожденной преступницы», как ранее описал «прирожденного преступника». Его толкование женской преступности, как и мужской, основывалось на склонности к правонарушениям и строилось на якобы природных биологических характеристиках. Хотя сторонники социологической школы критично относились к выводам Ломброзо и усматривали разницу между мужскими и женскими преступлениями в различном общественном положении полов, они, тем не менее, включали суждения о биологической, а говоря точнее — физиологической и сексуальной природе женщин в свои объяснения женской преступности.

В своем понимании женской преступности Ломброзо опирался на «примитивность» женщин. Между нормальной и преступной женщинами он усматривал меньше различий в умственных и физических свойствах, чем между склонными и не склонными к преступлениям мужчинами, в связи с этим ему представлялось, что вычислить отдельную женщину, которая родилась преступницей, гораздо сложнее. Менее выраженные патологии у женщин-преступниц означали для Ломброзо, что по сути своей женские преступления являются более скрытыми, неочевидными, а также более распространенными, чем мужские, а кроме того, он считал, что все женщины, именно в силу этого отсутствия дифференциации, обладают потенциальными преступными наклонностями. Когда Ломброзо удавалось выявить физиологические отклонения у женщин-преступниц, он обнаруживал, что аномалии у них куда более существенные, чем у мужчин, в итоге прирожденная преступница куда «свирепее» природного преступника, при том что численно преступниц меньше [Lombroso, Ferrero 1895: 150]⁴¹.

⁴¹ См. также [Wolfgang 1961: 190–191].

Кроме того, Ломброзо обнаружил мужские черты у тех многих женщин-преступниц, у которых были выявлены физиологические отклонения. По его словам, прирожденная преступница обладает «мужскими свойствами, по причине которых женщина-преступница — женщина лишь наполовину. <...> Материнский инстинкт у нее слаб, поскольку психологически и антропологически она относится скорее к мужскому, чем к женскому полу» [Lombroso, Ferrero 1895: 153]. Эта гендерная инверсия делала образ нормальной женщины еще более возвышенным. Действительно, в подобной формулировке любые поведенческие отклонения относительно идеала женщины как матери естественным образом вели к дефеминизации и, как следствие, к криминализации⁴². Ломброзо утверждал, что «в основном мы ищем в женщине женственность, а когда находим противоположное, то, как правило, приходим к выводу, что перед нами некая аномалия» [Lombroso, Ferrero 1895: 112]. Соответственно, прирожденные преступницы выглядят и ведут себя по мужскому типу, поскольку само определение женственности не допускает никаких отклонений.

Согласно этим рассуждениям, мужеподобной прирожденной преступницей движет ее патологическая сексуальность. Материнский инстинкт, сдерживающий сексуальность нормальной женщины, у преступниц якобы отсутствует. Ломброзо установил:

Нравственная физиогномика [то есть сексуальность] прирожденной преступницы во многом близка к мужской. Атавистическое ослабление вторичных половых признаков <...> проявляется также в психологии женщин-преступниц, которые избыточно эротичны, слабо проявляют материнские чувства <...> и доминируют над существами более слабыми иногда посредством убеждения, иногда применением физической силы; также ее пристрастие к физической работе, ее пороки и даже ее одежда усиливают сходство с сильным полом [Lombroso, Ferrero 1895: 187].

⁴² См. [Horn 1995: 120].

Сравнивая прирожденных преступниц с мужчинами, Ломброзо напрямую связывает их поступки с «ненормальной» сексуальностью и отсутствием материнских чувств, которыми обязательно наделены «нормальные» женщины, чем и определяется их положение в обществе. Соответственно, женщины-преступницы находятся вне рамок социальной стабильности и представляют для нее угрозу, причем именно потому, что действия их противоречат тому типу поведения, который ожидается от нормальных женщин.

Более того, несмотря на маскулинность прирожденных преступниц, тот факт, что физиогномические отличия, которые Ломброзо обнаружил между женщинами-преступницами и нормальными женщинами, оказались достаточно немногочисленны, заставили его сделать вывод, что женщины вообще менее «развиты», чем мужчины, и их прирожденная криминальность подвержена большему числу вариаций и аномалий в сравнении с нормальными мужчинами. Женщины, как правило, более «консервативны», ведут менее подвижный образ жизни, чем мужчины, — прежде всего по причине, как полагал Ломброзо, «неподвижности яйцеклеток в сравнении со сперматозоидами». Женщина, занятая семьей, менее подвержена «изменчивым условиям времени и места». Это замедляет естественный процесс эволюции, превращая женщин в «примитивных представителей своего вида» с менее диверсифицированными свойствами и, соответственно, менее эволюционно развитых [Lombroso, Ferrero 1895: 109–110]⁴³. С точки зрения Ломброзо, этим объясняется сходство между нормальной женщиной и преступницей. Женщины просто стоят на более низкой ступени эволюции. Ломброзо напрямую связывал примитивность с женской сексуальностью, утверждая, что «примитивная женщина редко становилась преступницей, однако всегда была проституткой» [Lombroso, Ferrero 1895: 111]. По его мнению, про-

⁴³ Хорн отмечает: с точки зрения Ломброзо, то, что паталогические различия между преступницами и нормальными женщинами были редкостью, является признаком ущербности и слабости, так что «в те самые моменты, когда женщину находили “нормальной” и “нормализующей”, то есть воплощающей в себе и сохраняющей норму своего вида, она маркировалась как нечто иное, едва ли не паталогическое, противоположное развитию и цивилизации» [Horn 1995: 117].

ституция, или патологическая сексуальность, всегда была для женщин нормой, а их преступные склонности укоренены в их сексуальности. Для Ломброзо проститутка является «естественным и типичным воплощением преступности» [Wolfgang 1961: 373]. Соответственно, по причине своей сексуальности, все женщины являются проститутками и потенциальными преступницами.

Ломброзо пришел к выводу, что женские преступные склонности, основанные, как было указано, на женской сексуальности, сдерживаются за счет робости, слабости и материнского инстинкта. При этом, по причине неразвитости и неполноценности, женщины неспособны сдержаться в тех случаях, когда их сексуальные желания остаются неудовлетворенными — для того, чтобы отреагировать неадекватно, ей достаточно малейшего толчка. Когда латентные женские преступные инстинкты берут верх над нравственностью — набожностью, фригидностью, материнскими чувствами и неразвитым интеллектом, — женщина становится двойным исключением: преступницей среди не-преступников и женщиной среди преступников; в этой связи женщины-преступницы являются «чудовищами», которые должны обладать «колоссальным злонаправием, чтобы оно могло преодолеть все эти преграды» [Lombroso, Ferrero 1895: 151–157]. Ломброзо приходит к выводу:

Когда патологическая активность психических центров усиливает отрицательные свойства женщин и заставляет их искать выхода в дурных поступках, когда им не хватает набожности и материнских чувств, а на их место встают сильные страсти и эротические порывы, развитая мускулатура и склад ума, склонный замышлять и осуществлять зло, ясно, что скрытый полупреступник, присутствующий в каждой нормальной женщине, преобразуется в прирожденного преступника, куда более страшного, чем любой мужчина [Lombroso, Ferrero 1895: 151].

Итак, каждая женщина наделена латентным криминальным потенциалом, который проявляется в моменты повышенного физиологического стресса. В результате преступницы опаснее преступников именно потому, что их криминальный тип сложнее определить, причем он может проявиться в любой женщине. Эта аргументация

говорит о необходимости держать женщин под покровительством и контролем, подчеркивает, что им требуется нравственное воспитание и мужской надзор — в противном случае их скрытые преступные наклонности вырвутся на поверхность.

Кроме того, Ломброзо выяснил, что женщины часто совершают преступление под влиянием или по наущению третьих лиц.

Женщины — даже дурные женщины (а они чаще всего оказываются истеричками) — менее мужчин пригодны и способны к совершению преступных деяний и, соответственно <...> более подвержены самовнушению, которое порождает определенную мысль и заставляет претворить ее в действие [Lombroso, Ferrero 1895: 239–240].

Ломброзо и его коллеги полагали, что женщин следует более мягко наказывать за преступления именно потому, что они слабее мужчин и склонны действовать под влиянием внешних сил, особенно по наущению мужей и любовников [Gibson 1982: 161].

При том что идеи Ломброзо, антропологический подход и соответствующие выводы были, безусловно, не новы, его труды способствовали легитимации научных исследований женской преступности [Gibson 1982: 163]. Несмотря на критику, даже со стороны собственных студентов и коллег — ему вменяли пренебрежение очевидными социальными причинами как мужской, так и женской преступности⁴⁴, — Ломброзо через системно-методический анализ физических свойств преступника заложил основы развития современного эмпирического подхода к криминологии. Его выводы касательно женщин-правонарушительниц подчеркивали биологическую, интеллектуальную и эмоциональную неполноценность женщин, их пассивность, материнский инстинкт, набожность и хозяйственность. Представления Ломброзо о женщинах-преступницах стали отражением более общих современных ему понятий о женщинах как существах более слабых и менее развитых, чем мужчины, более склонных к истерии и порывам

⁴⁴ См. [Ferri 1917].

страсти, что связано с их сексуальностью⁴⁵. По мнению Ломброзо, женщины были прежде всего хозяйками и матерями, они не взаимодействовали с миром и обществом в той же степени, что и мужчины. Меньшая, чем у мужчин, анатомическая дифференцированность делала их более примитивным, менее развитым полом, одновременно несущим в себе большую потенциальную опасность для общества. Женщины воплощали в себе опасную сексуальность, удерживать которую в узде способны были лишь материнский инстинкт и богобоязненность; за ними нужно было постоянно следить, чтобы потенциальная склонность к преступлениям не вышла из-под контроля.

Предложенная Ломброзо интерпретация женской преступности логическим образом привела к укреплению традиционных взглядов на женщину и ее место в обществе. Она служила «научным» подтверждением роли женщины, подкрепляя тогдашние представления об общественном положении женщин и об их извечной, неизменной природе, а также доказывала важность биологии и эволюции для определения разновидностей преступной деятельности женщин [Gibson 1982: 163; Shapiro 1996: 23]. В своей недавней работе Хорн критически отзываясь о Ломброзо и отмечает, что тот видел в женщине существо

одновременно нормальное в ее патологии и патологическое в ее нормальности. Подобное построение не только изымало всех женщин из области прав, обязанностей и политики, но и приписывало их к области социального. Оно превращало всех женщин в подходящие объекты для неусыпного надзора и коррективного вмешательства, каковые, в попытке ограничить «возможности» для преступных действий, стирали всяческие границы между пенитенциарными практиками и социальной работой [Horn 1995: 121].

Хорн пишет, что Ломброзо считал женщин патологическими «другими», более консервативными, чем мужчины, противящимися историческому прогрессу, поскольку связывал обнаруженные им

⁴⁵ О взглядах на женщин в XIX веке см., в частности, [Gallagher, Laqueur 1987; Horn 1994; Kushner 1993; McMillan 1981; Rosenberg 1985; Rosenberg, Rosenberg 1973; Russett 1989; Showalter 1985; Walkowitz 1992; Zedner 1991].

свидетельства меньшей, в сравнении с мужчинами, дегенеративности женщин-преступниц с их меньшей изменчивостью, с женской слабостью и неполноценностью [Horn 1995: 117]. Подобным же образом М. Гибсон приходит к выводу, что, поскольку Ломброзо считал женщин-преступниц биологически менее полноценными и умными, а также более примитивными, чем мужчины, представления его выливались в своего рода форму социального дарвинизма, которая провозглашала, что эволюция ведет к усилению дифференциации полов, а отнюдь не к равенству [Gibson 1982: 163].

Хотя российская социологическая школа и ее левое крыло отвергали биологический детерминизм, выдвигая на первый план иные факторы, в их обоснованиях женской преступности содержались элементы ломброзианского дискурса, которые они приспособляли под нужды российской действительности. Например, Фойницкий, в рамках пространного анализа женской преступности, опубликованного в конце 1893 года, утверждал, что общественное положение женщин — а именно, их более домашний, менее активный образ жизни, приводит к тому, что женщины совершают преступления реже мужчин. При этом биология играла ключевую роль в определении сущности женской преступности и типов преступлений, совершаемых женщинами, пусть даже и не оказывая влияния на уровень такой преступности. Фойницкий отмечал, что «ближайшее объяснение различий в относительной преступности мужчины и женщины лежит в различии физических и психических сил каждого пола, которыми объясняются также и формы предпочитаемой каждым из них деятельности» [Фойницкий 1893: 136]. Соответственно, область женской деятельности определялась физиологией, а типы женских поступков — положением в обществе. Для Фойницкого, как и для Ломброзо, обоснования женской преступности были способом подкрепить и упрочить традиционные взгляды на женщин и их положение в обществе⁴⁶.

⁴⁶ Стивен Франк полагает, что российские криминологи трактовали женскую преступность в соответствии со стереотипами по поводу тех видов преступлений, которые, по их мнению, должны были совершать женщины в соответствии с их физиологией и положением в обществе, и что эти криминологи зачастую предвзято истолковывали источники, дабы они не шли вразрез с их стереотипами. См. [Frank 1996].

Криминологи левого крыла, напротив, пытались в минимальной степени учитывать биологические факторы женской преступности, исходя из того, что как уровень, так и сущность женской преступности являются производными от положения женщин в обществе и от их заключения в рамках домашней сферы. Гернет, например, подвергал сомнению выявленную Ломброзо связь между проституцией (то есть женской сексуальностью) и криминальными склонностями, предлагая взамен интерпретацию, основанную на чисто социологических факторах. По мнению Гернета, Ломброзо в процессе изучения анатомии и биологии женщин обнаружил их недоразвитость и по физическому и умственному развитию приравнял их к детям. В силу такой примитивности женщины должны бы совершать больше преступлений, чем мужчины, люди более «развитые». Однако поскольку эти выводы не подтверждались уголовной статистикой, Ломброзо выводил преступность женщин из их сексуальности, обнаружив, что склонность к патологиям проявляется у них через проституцию (то есть сексуальность), а не через преступления⁴⁷. Гернет предложил альтернативное толкование того факта, что женщин-преступниц меньше, чем мужчин, которое

отказывается от поисков причин преступности женщины в особенностях ее анатомического строения, но вместе с тем не соглашается также и с тем, что в природе женщины заложены основания, отталкивающие ее от порочного и преступного более, нежели мужчину. <...> Причина этого лежит в социальных условиях: мужчина бывает вне дома чаще женщины, а смертельные случаи от молнии чаще происходят вне строений. Социологическая теория женской преступности объясняет меньший процент осужденных женщин исключительно условиями жизни женщины. Ее жизнь менее кипуча и менее разнообразна, нежели у мужчины, не только в прошлом, но и в настоящем. Женщина остается прикованной к семейному очагу. Она менее участвует в борьбе за существование [Гернет 1974а: 252–253].

⁴⁷ [Гернет 1914: 252–253], перепечатано в [Гернет 1974а: 251–252]. См. также: [Гернет 1922а: 135; Гернет 1906: 136–138; Жижиленко 1922: 24–25].

Если взгляды Ломброзо прежде всего брали в расчет «примитивность» женщин, то социологический подход Гернета напрямую связывал женскую преступность с правами женщин. Он утверждал:

Если бы женщина находилась в одинаковых с мужчиной экономических условиях, она дала бы одинаковый с ним процент преступности. Но история женщины существенно разнится от истории мужчины. Красной нитью через всю жизнь женщины проходят ее приниженность и замкнутость в круг домашних обязанностей. Она сделалась рабой ранее, чем появилось рабство. <...> Приниженное положение женщины и отрицание за нею права участия в общественной жизни родной страны перешли в новое время. <...> Однако и теперь ее правовое и политическое положение продолжает носить на себе характерные черты прежнего времени, и, чтобы достичь полного равенства с мужчиной, ей придется вести еще долгую борьбу [Гернет 1906: 136–138].

Получалось, что российская социологическая школа и криминологи левого крыла восприняли основы предложенного Ломброзо физиологического объяснения женской преступности и включили его в свои собственные теории преступления, приспособив под российские условия и под местное отношение к «женскому вопросу» и социальным реформам. В российском обществе образованные женщины давно уже использовали все возможности внести свой вклад в общественный прогресс. Благодаря их усилиям постоянно нарастало понимание необходимости социальных реформ с целью улучшения юридического положения женщин⁴⁸. Эти реформистские послы нашли отражение в том, как криминологи левого крыла относились к жен-

⁴⁸ В частности, женщины искали возможности стать врачами или акушерками — в этих профессиях воплощались служение обществу и традиционные представления о женской заботе; кроме того, эти профессиональные поприща были одними из немногих, на которых женщинам (порой) удавалось себя проявить. О положении женщин в царской России, их участии в общественной жизни, динамике «женского вопроса» и борьбе за права женщин см. [Stites 1990].

ской преступности, — они подчеркивали, что возможность и потенциал вырваться из традиционных границ и расширить свои преступные наклонности появятся у женщин тогда, когда они достигнут равноправия и экономического паритета с мужчинами. При этом криминологи левого крыла были убеждены, что препятствиями на пути достижения этой цели могут стать женская биология и сексуальность.

Неудивительно, что на рубеже веков предложенный Ломброзо анализ женской преступности подвергался в России серьезной критике. Криминологи левого крыла особенно подчеркивали, что «проблема женской преступности сделалась одной из главных позиций, вокруг которых сосредоточилась борьба двух школ уголовного права — антропологической и социологической» [Трайнин 1910: 463], поскольку в этом нашли отражение фундаментальные различия в трактовках современного общества. Как минимум с точки зрения Гернета, антропологическая школа делала упор на примитивности и стагнации, тогда как социологическая школа выступала за прогресс, модернизацию и освобождение женщин. Гернет и его коллеги подчеркивали фундаментальное значение социальных факторов в женской преступности, но при этом утверждали, что при выявлении причин женской преступности нужно учитывать влияние женской физиологии. Преступные склонности женщин обусловлены их общественным положением, однако общественное положение отчасти обусловлено и очерчено их физиологией и сексуальностью.

Критикуя взгляды Ломброзо, представители российской социологической школы, тем не менее, включали элементы его подхода в свои рассуждения о женской преступности. Действительно, как отметил С. Фрэнк,

русские криминологи свободно комбинировали элементы разных школ мысли именно потому, что каждая из них определяла женщину-преступницу как человека, нарушившего нравственные, общественные, биологические или общинные границы, которых «нормальные» женщины не переступают [Frank 1996: 545].

Криминологи рубежа веков, в том числе Ломброзо и Гернет, полагали, что женские преступления совершаются вследствие индивидуальных психологических свойств, которые проистекают из коренной природы всех женщин [Klein 1994: 266]. Эмоциональные отклики женщин на их естественные биологические циклы, рассуждали криминологи, делают их склонными к иррациональному и потенциально вредоносному поведению. Через анализ социальных, психологических и физиологических факторов, обуславливающих женские преступления, таких как менструация, беременность, материнство и менопауза, криминологи пытались осмыслить как нормальные, так и патологические женские свойства, поскольку женщины-преступницы были «женщинами как все, и даже более» [Shapiro 1996: 23, 66].

Заключение

Российская криминология зародилась в непосредственном диалоге с достижениями той же науки в Европе XIX века. Обеспеченность последствиями модернизации общества — прежде всего урбанизации и индустриализации — и роста городского рабочего класса способствовала, как в Европе, так и в России, возникновению дискуссий по поводу методов общественного контроля. Стремление обеспечить в обществе порядок и потребность объяснить отклонения в современной жизни в рационально-научном ключе привели к возникновению новых интерпретаций преступной деятельности и к зарождению криминально-антропологической и социологической школ мысли. На практике криминальная антропология и криминальная социология оставались тесно взаимосвязанными. И та, и другая строились на систематическом научном анализе правонарушителей (посредством антропометрических измерений, статистического анализа и психиатрической оценки). Теории обеих зиждились на более широких достижениях в области общественных наук, культуры и политики. Обе пытались, посредством криминологических исследований, предложить практические варианты социальных

и законодательных реформ. Обе возникли как реакция на явные недостатки классической школы. Несмотря на подобное сходство, криминологи российской социологической школы, в особенности ее левого крыла, находились в жесткой оппозиции к криминальной антропологии. Они критиковали Ломброзо, активно выступали против его теорий и дискредитировали его подход с целью доказать правильность собственного.

При этом конкретные исследования женской преступности без труда совмещали в себе элементы различных криминологических подходов. Как мы увидим далее, вне зависимости от конкретных теоретических или идеологических взглядов того или иного исследователя, в целом анализ женской преступности строился прежде всего на детерминирующей роли женской репродуктивной физиологии, которая способствовала женской преступности. Хотя российская социологическая школа отрицала представление Ломброзо о том, что женщины эволюционно «примитивнее» мужчин, выдвигая взамен постулат о калечащем влиянии традиционного социального положения женщин, подталкивавшего их к преступлениям, женская сексуальность оставалась фундаментальным фактором, который и определял, и ограничивал понимание женской преступности. Даже криминологи левого крыла, делавшие акцент на прогрессе и правах женщин, считали, что общественное положение женщин (а значит, и их преступные наклонности) частично обусловлены их физиологическими и репродуктивными функциями. Соответственно, хотя российская социологическая школа и ее левое крыло настаивали на необходимости общественных реформ, ее исследования женской преступности все же укрепляли и усиливали представления о традиционном положении и роли женщины в российском обществе. Тот же подход сохранился и в советской криминологии — научной дисциплине, сформировавшейся после Октябрьской революции.

Глава вторая

Специалисты, общественные науки и государство

Структура советской криминологии

В последние годы существования царской власти российская криминология сделала значительный шаг вперед, однако именно Октябрьская революция и сопровождавшие ее изменения создали предпосылки для возведения криминологии в ранг поддерживаемой государством научной дисциплины. Придя к власти, большевики стали проявлять большой интерес к исследованию общественных проблем и к тому, как это отражается в толкованиях криминологами преступлений — особенно теми, что принадлежат к левому крылу социологической школы. В сравнении с жестким контролем над всей научной деятельностью, характерным для сталинского периода, атмосфера непосредственно после революции и в период НЭПа отличалась относительной интеллектуальной свободой и духом изыскательства. Хотя в начале 1920-х годов большевики выслали из страны сотни ученых, тем, кто остался, предоставили возможность заниматься научной деятельностью, пусть и в рамках советской идеологии¹. В этом контексте созвучность между подходами криминологов и целями большевиков, в сочетании с озабоченностью государства ростом преступности, создали благоприятные условия для построения «советской» криминологии. Структура и мировоззрение этой советской криминологии предполагали участие в их развитии

¹ См. [Finkel 2001].

дореволюционных специалистов и их теорий; профессиональные интересы этих специалистов были мобилизованы для решения государственной задачи — искоренения преступлений. Создание криминологических институтов, лабораторий и кабинетов по всей РСФСР и всему СССР было направлено на то, чтобы придать изучению преступлений легитимный, систематический, профессиональный и институционализированный характер. Поскольку в деятельности этих организаций сочетались социологическая, психологическая, психиатрическая и биологическая методики, в изучении преступности преобладал междисциплинарный подход. Практиков подталкивали к тому, чтобы рассматривать преступные наклонности под разными углами и не только исходить из обобщенных статистических данных об уровне преступности и ее тенденциях, но и принимать во внимание личность и мотивацию отдельных преступников. Такая институциональная структура позволяла криминологии обслуживать интересы советского государства, но она же являлась толчком для научных исследований, экспериментов и новаций, которые в итоге спровоцировали конфликт криминологии с режимом.

Советская криминология зародилась в период Гражданской войны, отдельной дисциплиной стала в 1922 году, в момент основания первой государственной криминологической организации в Саратове, а расцвета достигла в 1925-м, после открытия в Москве Государственного института по изучению преступности и преступника, входившего в структуру НКВД. После 1928 года смена партийного руководства и курс на стремительную индустриализацию и коллективизацию привели к тому, что государство перестало интересоваться отдельным преступником и преступлением и занялось преступностью как общественным явлением, фактически свернув всю практическую криминологию до самой смерти Сталина.

Период с 1922 по 1928 год можно считать «золотым веком» советской криминологии, эпохой ее подъема и развития. Для всех причастных исследование преступности и ее причин находилось «в центре внимания советской юридической науки» [Герцензон 1965: 96]. Деятельность криминологов этого периода, и в особен-

ности то, какие связи они проводили между лицами, совершившими преступление, и их общественным, политическим и экономическим положением, демонстрировала высокий уровень новаторства и глубины проникновения в суть, которого на Западе удалось достичь только после Второй мировой войны [Shelley 1977: 3, 33–38]. Более того, своими теориями, подходами и толкованием преступлений советские криминологи раннего периода создали прочную исследовательскую базу, на которой эта дисциплина возродилась после смерти Сталина и доказала свою самостоятельность после развала СССР².

В 1922–1928 годах криминология занимала в советских научных кругах совершенно уникальное положение. В исследовательской деятельности принимали участие самые разные люди: дореволюционные «спецы», студенты, советские чиновники, сотрудники судов и тюрем, причем каждый привносил в научный процесс свое собственное видение. Ведущее место занимали дореволюционные специалисты-криминологи, как оно было и в других областях профессиональной деятельности в 1920-е годы³. При этом, в силу своей межинституциональной и междисциплинарной природы, криминология сопротивлялась возникновению единообразной «корпоративной» идентичности, что часто наблюдается в других профессиональных сообществах.

² Постсталинские криминологи упорно клеймили методологические ошибки ранних кримиологов, в частности, их интерес к личности преступника, но при этом присваивали их наследие. Постсоветские исследователи пытались объяснить, почему эти так называемые «ошибки» привели к ликвидации криминологии при Сталине. См. [Ной 1975: 36, 49; Ильина, Надъярный 1968: 310; Ильина 1981: 155; Данышин 1980: 68–70; Shelley 1979]. П. Соломон в [Solomon 1978] рассматривает роль и положение криминологов после возрождения дисциплины в конце 1950-х. См. также [Solomon 1974]. О постсоветской трактовке раннесоветской криминологии см. [Иванов, Ильина 1991; Кузнецова 1989: 24–31; Лейбович 1989; Лунев 1997; Сахаров 1994; Шестаков 1991]. О судьбах криминологии при Сталине и после речь пойдет в Эпilogue.

³ Например, в недавнем исследовании, посвященном музыкантам 1920-х годов, Э. Нельсон пишет, что дореволюционные специалисты сыграли основополагающую роль в создании «советской» музыки, а также сохранили основы классического музыкального образования [Nelson 2006].

Кроме того, поскольку криминология пользовалась поддержкой государства и служила его конкретным целям — а именно, понять причины преступности и выработать методы, способствующие ее скорейшему искоренению, — она была повязана государственными потребностями и само ее существование зависело от государства. В силу отсутствия единой профессиональной идентичности криминология сильнее прочих наук оказалась зависима от изменений политической обстановки, которые в начале 1930-х годов повлияли на все независимые и автономные области науки. Прозвучавшая тогда критика в адрес криминологии как дисциплины, в сочетании с идеологическим давлением, способствовала тому, что ученые начали возвращаться к исследованиям в рамках своих фундаментальных дисциплин, прекращая работу в области непосредственно криминологии. И все же в силу разнородности и аморфности криминологии, в 1920-е годы применять самые разнообразные методы, подходы, теории и новшества к исследованию преступности было проще, чем в случае других, более консолидированных и устоявшихся областей научного знания.

В силу масштабности и ориентированности на практические нужды, в 1920-е годы у криминологов возникли собственные толкования женской преступности. Поскольку в научный инструментарий криминологических организаций были включены биологический и физиологический подходы, в советской криминологии сохранились те же тенденции, которые до революции уже показали свою перспективность в ходе изучения женской преступности. А также, в связи с тем, что в 1920-е годы психиатрия и психиатры играли в криминологических исследованиях чрезвычайно важную роль, физиологические объяснения отдельных правонарушений оставались основным подходом к исследованию женской преступности. Соответственно, чтобы понять контекст, в котором следует истолковывать криминологический анализ женской преступности, необходимо сначала получить общее представление о криминологии как дисциплине. Именно с этой целью в данной главе рассмотрено возникновение и развитие криминологии как научной дисциплины в России эпохи

НЭПа, описан процесс институализации криминологии и складывания профессионального сообщества криминологов, а также рассмотрены интеллектуальная свобода и ее ограничения, в рамках которых велись научные исследования в 1920-х годах.

Специалисты и государство

Многие из тех, кто работал в криминологии в 1920-е годы, особенно психиатры, психологи, юристы, статистики, пенологи, судебно-медицинские эксперты и другие специалисты, получившие соответствующее образование, принадлежат к категории «буржуазных специалистов» — дореволюционных профессионалов, занимавших при царском режиме чиновные и административные посты: советский режим планировал опираться на их познания, пока не будут подготовлены новые «советские» кадры⁴. Придя к власти, большевики сочли необходимым воспользоваться услугами этих специалистов, поскольку их знания и навыки были жизненно необходимы для эффективного управления государством. Некоторые интеллигенты не приняли большевистской власти и после революции бежали из страны, однако многие сделали иной выбор: сохранить свои посты и продолжить работу в новом политическом и интеллектуальном климате советского государства.

Важнейшую роль в формировании взглядов этих специалистов играла профессионализация. В поздний период существования императорской власти профессионалы начали создавать собственные организации, что содействовало формированию у них

⁴ Процесс создания советским режимом собственной новой бюрократии рассмотрен в ряде исследований, особенно в связи с техническими и инженерными специальностями, на которые государство делало особый упор в рамках модернизации и индустриализации. Выдвинув на первый план технические специальности, предоставляя возможности трудоустройства людям с соответствующими навыками и развивая социальную мобильность, режим создавал из своих сторонников новые кадры, которые не только замещали собой старых специалистов, но и считали режим легитимным, зависели от него и работали в соответствующих рамках на его благо. См., в частности, [Bailes 1978; Fitzpatrick 1979a; Fitzpatrick 1979; Graham 1993; Lampert 1979].

чувства независимой корпоративной идентичности⁵. Профессиональные организации создавали для российских специалистов круг общения, который подталкивал их к научной деятельности и помогал направлять их работу на нужды общества⁶. Как отмечает Э. Хахтен, профессиональные организации и собрания «не только способствовали дальнейшему становлению профессиональной идентичности, но и вносили свой вклад в развитие автономии и свободы самовыражения в публичной сфере» [Hachten 2002: 195]. Тем самым дореволюционные специалисты сформировали пространство для развития профессиональной идентичности и служебного этиоса, которые не зависели от государства, создав зачатки гражданского общества, где культивировался «этнос честной службы и полезности», а целью ставилась мобилизация ресурсов на дело общественного прогресса⁷. И все же

⁵ До революции из профессиональных организаций криминологов существовало только российское отделение Международного союза криминологов (см. сноску 21 ниже). О профессиях и профессиональных группах в России последних лет существования империи см. [Balzer 1996; Brown J. 1987; Engelstein 1992; Frieden 1981; Ruane 1994]. См. также [Bialkowski 2007].

⁶ Э. Хахтен, например, отмечает, что «у многих ученых выработался этос служения, в котором профессиональные ценности связывались с нравственным понятием «общественного долга», и это подталкивало их к тому, чтобы трудиться на благо общества». Более того, она добавляет, что «труд на благо общества создавал публичную идентичность, отличную от таковой простого служителя государства, чиновника. Для большинства образованных русских профессионалов это было приоритетом, хотя они и оставались в зависимости от государства в огромном количестве вещей». См. [Hachten 2002: 175–179].

⁷ [Bradley 2002: 1121]; см. также [Balzer 1991: 187]. Вопрос существования гражданского общества в России продолжает вызывать серьезные споры, поскольку он связан с традициями вовлеченности в общественную жизнь и самостоятельной деятельности, которые могут быть истолкованы как «полезное прошлое», или национальных альтернатив самодержавному правлению. Среди недавних исследований, посвященных гражданскому обществу в предреволюционной России: [Bradley 1991; Downey 1993; Frieden 1990; Kassow 1991; Lindenmeyr 1996; McReynolds 1991; Nathans 2004; Ruane 1994; Wartenweiler 1999]. Общественные организации доставляли определенные неприятности царскому режиму, однако зачастую закрывали лакуны в социальном обеспечении, которые государство было закрыть не в состоянии. Особенно остро это проявилось в ходе Первой мировой войны и могло стать одной из причин утраты доверия к царскому режиму. См. [Gatrell 1999].

к началу XX века многих профессионалов уже раздражали давление со стороны царского правительства и ограничения, налагаемые на их профессиональную деятельность⁸. Те, кто принимал активное или пассивное участие в оппозиционном движении, сознавали необходимость перемен, которая нашла свое воплощение в революции. Эти специалисты симпатизировали большевистскому проекту социальных преобразований и надеялись, что советская система проявит уважение к их профессиональным знаниям, а также даст возможность применить их идеи на уровне общественных реформ.

В рамках нового советского порядка положение этих профессионалов оказалось неоднозначным. Не будучи сторонниками царского режима, они, тем не менее, совершенно не обязательно поддерживали большевиков. Тех, кто не вступил в большевистскую партию, статус беспартийных «буржуазных специалистов» делал подозрительными для нового режима. Сама суть их профессиональной идентичности — сложившейся за счет независимости, служебной этики и существования автономных организаций — вступала в противоречие со стремлением большевиков к концентрации власти в своих руках и заставляла с опаской относиться к этим людям, которых они считали потенциальными врагами. Что до беспартийных специалистов, они, в свою очередь, усматривали в сотрудничестве с новым режимом возможность воплотить в жизнь свои замыслы. Социалистические цели большевиков представлялись им совместимыми с задачами их деятельности на благо общества, поэтому они охотно занимали посты в составе нового правительства⁹.

К началу эпохи НЭПа большевистское правительство уже успело занять верховенствующую позицию в отношениях с беспартийными специалистами. Как пишет С. Финкель, режим видел в интеллигентах врагов, чью потенциальную вредоносность не-

⁸ См. [Brown J. 1987].

⁹ Беспартийным специалистам посвящены следующие исследования: [Andrews 2003; Heinzen 1998; Heinzen 1986; Joravsky 1989; Mespoulet 2001; Miller 1998; Mueller 1998; Nelson 2004].

обходимо нейтрализовывать. То, как самоотверженно интеллигенты защищали свои автономные институты (факультеты университетов, добровольные организации, независимые органы печати), противоречило интересам режима, который хотел взять под свое начало все сферы революционной жизни. Особенно сурово государство поступало с теми интеллигентами, которые не обладали практическими навыками, необходимыми для восстановления страны, в результате сформировалась атмосфера подозрительности, распространившаяся во все сферы интеллектуальной и научной деятельности. И все же, пусть и в таких жестких рамках, режим продолжал поддерживать необходимые для него взаимоотношения с беспартийными специалистами, особенно специалистами в технической сфере, чья научная и практическая подготовка могла внести конкретный вклад в развитие советского общества (например, с агрономами и инженерами). Большевики ввели свое толкование понятия «интеллигенция»: теперь это были не люди, мыслящие критически, а специалисты в своей области, чей «умственный труд» должен служить интересам пролетариата¹⁰. Именно к этой категории новой «интеллигенции» были отнесены и криминологи, и деятельность их была поставлена на службу государства.

Некоторые специалисты считали, что большевистские установки мешают им в достижении их профессиональных целей, для других обстановка НЭПа и задачи большевиков оказались полностью созвучны их профессиональным интересам и стремлению служить обществу. Как следует из исследования вопросов общественной гигиены, выполненного С. Соломон, в начале 1920-х годов гибридные сферы, такие как общественная гигиена (а также

¹⁰ Согласно большевистской теории, интеллигенция являлась общественной прослойкой, которой полагалось служить авангарду пролетариата, не представляя при этом интеллектуальной угрозы или альтернативы новому режиму. Это способствовало пересмотру понятия «гражданское общество» и созданию понятия «советская общественность», с помощью которого государство пыталось установить границы для общественной самоорганизации и вовлеченности в дела государства [Finkel 2001: 20–21; Finkel 2002]. См. также [Burbank 1986; David-Fox 1997; Ильина 2000; Tolz 1997].

евгеника, фитосоциология и даже криминология), в которых биологическое сочеталось с социологическим, развивались достаточно динамично. Общественная гигиена была направлена на обеспечение благополучия граждан через исследование социальных условий, способствующих распространению болезней, и введение мер предотвращения заболеваемости. Она подчеркивала, что здоровье и заболеваемость — категории прежде всего социальные. Специалисты по общественной гигиене работали в государственных структурах, проводили исследования под руководством и патронажем Наркомздрава. При этом Соломон отмечает, что, делая акцент на конкретных социальных проблемах, специалисты по общественной гигиене негласно признавали неспособность режима осуществить обещанные социальные перемены. Зависимость общественной гигиены от ее заказчика, имплицитная критика социальных условий и постепенное падение интереса государства к превентивным мерам в здравоохранении привело к сворачиванию этой дисциплины к началу 1930-х годов. При том что общественная гигиена была институционализована, она так и не стала легитимной сферой научной деятельности и, потеряв заказчика, прекратила свое существование¹¹.

Траектория развития криминологии во многом была аналогичной. В качестве дисциплины, успевшей выйти на достойный профессиональный уровень, она сделалась инструментом, с помощью которого занимавшиеся ею люди могли служить интересам государства, одновременно преследуя собственные научные цели. Она оставалась средством выполнения общественно-полезного «умственного труда», разрешенного государством для интеллигентов и специалистов, предоставляя профессионалам теоретическую и практическую платформы для применения их знаний, однако строго в пределах установленных государством идеологических границ. При этом криминология была привяза-

¹¹ С. Соломон пишет, что в итоге Наркомат здравоохранения, после реорганизации и смещения Семашко с должности комиссара, лишился возможности защищать область общественной гигиены [Solomon S. G. 1990]; см. также [Solomon S. G. 1990a]. Об общественной гигиене и евгенике см. также [Adams 1990; Bernstein 2006].

на к государственной политике даже прочнее других дисциплин и полностью зависела от государства и его содействия в доступе к материалу (заклученным), которые оставались основой и предметом ее исследований¹².

Возникновение и развитие криминологии в раннесоветском контексте отражает преемственность как во взаимоотношениях профессионалов с государством, так и в заинтересованности государства в сохранении контроля над автономностью общественной сферы. Действительно, криминологи стремились урегулировать свои отношения с государством через создание профессиональных организаций, которые служили бы институциональными посредниками между криминологами и чиновниками, одновременно позволяя сохранить разумную автономность научных изысканий. До определенной степени советское государство способствовало профессионализации криминологии, поскольку содействовало созданию специализированных институтов и научно-исследовательских организаций¹³. В итоге криминологические организации, возникшие в 1920-е годы, отражали в себе более общие тенденции внутри раннесоветского общества, которое охотно использовало потенциал науки и стремилось к созданию полуавтономных учреждений для научных исследований. Эти новые организации способствовали профессионализации внутри дисциплины через создание структуры для осуществления криминологических исследований. При этом двойственная сущность криминологии как «объективной» эмпирической науки и сферы деятельности, поощряемой государством, способствовала возникновению потенциального конфликта между научными целями криминологов и приоритетами и интересами государства, затрудняя процесс создания и развития «советской» кри-

¹² Д. Хорн отмечает то же самое в исследовании, посвященном Ломброзо и телам преступников: «притязания криминологии на статус науки зависели от доступа к телам, которые можно было изучать в количественном отношении» [Horn 2003: 61].

¹³ О создании научных организаций в раннесоветский период см. [Graham 1993: 303–329; Medvedev 1978: 13–21; Vucinich 1984: 72–122; Островитянов 1968].

минологии. Направление развития криминологии подчеркивает временный характер совместимости этики российской интеллигенции с интересами раннесоветского государства и готовности профессионалов работать в рамках, установленных Советами, наличие точечных областей независимости, которые профессионалы умудрялись отыскивать для себя и своих исследований в этих рамках, а также ограничения, которые государство накладывало на публичную автономную деятельность.

Профессионализация криминологии

Статистика преступлений, собранная в первый послереволюционный период, вроде бы свидетельствует о постоянном росте уровня преступности¹⁴. Действительно, по словам одного исследователя, в 1917 году уровень преступности был в четыре раза выше, чем в начале века [А. Г. 1927: 369, 371]. В связи с этим взрывным ростом, которым сопровождалась шаткость ситуации,

¹⁴ Крайне сложно оценить уровень преступности в первые послереволюционные годы, прежде всего по причине отсутствия систематической сводной статистики. Публикация криминальной статистики по Российской империи прекратилась в 1913 году. В 1914-м данные не собирались, в 1915–1917 годах сбор проводился бессистемно и полностью прекратился после Октябрьской революции. Публикация криминальной статистики возобновилась только в 1922 году после создания Отдела моральной статистики при Центральном статистическом управлении. Гернет приводит некоторые приблизительные цифры. Он отмечает, что в первой половине 1919 года было открыто 167 722 уголовных дела, во второй — 170 036. В 1920-м народные суды заслушали 1 248 862 дела; революционные трибуналы — 36 903 дела; а военно-революционные трибуналы судили 89 466 человек. По состоянию на ноябрь 1921 года тюрьмы были переполнены — в них находилось около 73 194 заключенных, при вместимости в 60 468. Гернет отмечает значительный рост преступности за этот период: в Москве число заявлений о совершении преступлений выросло с 4 191 в 1914-м до 10 676 в 1921-м [Гернет 1922а: 96–97]. О статистике см. также [Родин 1922: 105–106; Pinnow 1998]. Нужно также учитывать, что после революции были изменены определения преступлений, а соответственно, и порядок полицейских репрессий. О борьбе с преступностью в годы Гражданской войны см. [Мусаев 2001].

насильственные перемещения населения и трудности начала XX века, новое большевистское правительство выказывало постоянно растущий интерес к исследованиям преступности. Преступность стала серьезной проблемой после того, как изменилось определение понятия «преступная деятельность», выросло количество правонарушений, а тюрьмы оказались переполнены сильнее прежнего. Первое время государство попыталось свалить ответственность за проблему на пережитки прошлого и тяготы жизни во время войны. В начале 1918 года «Известия» писали:

Старая власть и старые законы низвергнуты. Но новая власть еще не успела установить свой порядок и свой авторитет. Народные массы, привыкшие во время революции не считаться ни с какими законами, сохраняют эту привычку и тогда, когда враг уже сломлен. <...> Не надо также забывать, что к торжествующей революционной демократии, одушевленной самыми чистыми намерениями, всегда <...> пристраиваются различные темные элементы, люди с уголовным прошлым, совершившие в своей жизни не одно жестокое преступление. Эти элементы и во время революции продолжают сохранять свои старые жестокие и преступные привычки¹⁵.

Озабоченность государства масштабами и характером преступности подхлестнула его желание содействовать исследованию этого феномена с целью выработать наиболее эффективные способы борьбы с правонарушениями, которыми можно будет пользоваться до того момента, когда успешное внедрение нового образа жизни положит конец самой проблеме. Как заметил один исследователь,

советский законодатель подчеркивает, что преступление — результат социально-экономических условий жизни, а потому к преступнику нужно применить меру социальной защиты, приспособить его к условиям трудового общежития, а не мстить ему. Потому необходимо изучать преступ-

¹⁵ «Известия» от 25 января 1918 года; цит. по: [Иванов, Ильина 1991: 96].

ность и преступника, чтобы зыяснить, каким образом ликвидировать преступность и как бороться с преступлениями до ликвидации их [С. Т. 1927: 105].

Поскольку предполагалось, что с построением социализма преступность отомрет и исчезнет, считалось, что анализ уровня преступности является мерилем движения к этой цели.

Ученые воспользовались возможностями, которые подарила им Октябрьская революция, и стремлением нового режима к созданию новых научных учреждений и, не теряя времени, занялись подготовкой новых учебных программ и открытием новых криминологических организаций для проведения научных исследований — применяемая методология их особенно не тревожила. Новые советские криминологические организации обеспечили ту самую институциональную структуру, которой не хватало дореволюционной российской криминологии. Хотя некоторые дореволюционные исследователи были членами русского отделения Международного союза криминологов¹⁶, а Министерство юстиции оказывало поддержку исследованиям, предоставляя статистику по преступлениям и приговорам¹⁷, в царской России не существовало специальных организаций, которые вели бы и развивали научную деятельность в области криминологии, а кроме того, криминология не изучалась в качестве отдельной специальности в российских университетах. Изучение преступлений оставалось маргинальным занятием в рамках более широкого поля юридической науки и сферы поддержания общественного порядка.

¹⁶ Российское отделение Международного союза криминологов вполне можно считать ранней профессиональной криминологической организацией. В 1912–1913 годах оно издавало «Журнал уголовного права и процесса». Среди авторов были М. Н. Гернет, А. А. Жижилинко и П. И. Люблинский — все они часто упоминаются в нашем исследовании. Российское отделение отправляло своих представителей на съезды союза в Европе, а в сентябре 1902 года даже провело международный съезд в Петербурге — на нем известный немецкий криминолог Ф. фон Лист выступил с докладом об общественных причинах преступности. См. [Лист 1903].

¹⁷ См.: Свод статистических сведений по делам уголовным. СПб.: 1873–1915.

Хаос, порожденный революцией, и возникшая в этой связи необходимость как-то справляться со взрывным ростом преступности фундаментальным образом изменили структуру и статус криминологии. В ходе Гражданской войны местные государственные органы, от районных судов и тюрем до органов здравоохранения, постоянно выказывали интерес к исследованиям преступности¹⁸. Более того, в эти годы было создано несколько институций и организаций, которые занимались изучением и оценкой преступных элементов: например, в тюрьмах были созданы органы психиатрического наблюдения, а в Петрограде — Диагностический институт криминальной неврологии и психиатрии под руководством психиатра Л. Г. Оршанского (1866–1937), где занимались практическими и теоретическими исследованиями неврологического и психиатрического состояния заключенных¹⁹. В Московском психоневрологическом институте также была создана кафедра криминальной психологии, где занимались практическим судебно-медицинским психиатрическим анализом, а при Центральном карательном отделе были созданы музей тюремных наказаний и институт²⁰.

¹⁸ В годы Гражданской войны Петроградский совет содействовал исследованиям преступности и преступников — в 1918 году был открыт небольшой соответствующий кабинет [Бехтерев 1928: 4, 14; Ильина 1981].

¹⁹ Диагностический институт судебной неврологии и психиатрии был основан в ноябре 1918 года по инициативе Оршанского с целью оценки «этиологической роли психопатологического движения в росте и отличительных чертах проявления российской преступности в наших текущих условиях». Оршанский считал, что психопатологическая оценка заключенных необходима для выявления «тех, кто находится на грани между здоровьем и болезнью, легко может пойти на преступление и стать асоциальным». При Диагностическом институте имелись клиническая лаборатория, антропологический кабинет, психологическая лаборатория, фотографический кабинет, библиотека, архив, аптека и отдел по организации курсов и лекций. В первый год работы он проводил исследования в различных тюрьмах, включая и Женскую коррекционную тюрьму (ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 3. Д. 64. Л. 27–27об, 29–31об, 32–33, 35–35об. О процессе организации психиатрического наблюдения в тюрьмах см. резолюцию от 16 апреля 1920 года в: ГАРФ. Ф. А-482, Оп. 1. Д. 164. Л. 3–3об).

²⁰ ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 234. Л. 19–20.

Кроме того, предпринимались усилия по внедрению криминологии в научную среду. Например, в 1921 году С. В. Познышев, судебно-медицинский эксперт и психиатр, сотрудничавший с Московским психоневрологическим институтом, предложил создать отделение криминологии в составе Секции судебного права и криминологии недавно образованного Института советского права. Предполагалось, что там будут заниматься научно-практическими исследованиями всех аспектов преступности и борьбы с ней, в том числе историей уголовного права, уголовной статистикой, криминальной антропологией, судебной медициной, психиатрией, методами ведения расследований, пенитенциарными вопросами, судебно-медицинской экспертизой и фотографией. Предполагалось, что, помимо музея и лабораторий для практической работы, у криминологического отделения будут свои филиалы в основных городах РСФСР, которые совместно с ним станут прокладывать «новые пути в деле борьбы с преступностью <...> выдвигая в качестве основного критерия при определении наказания опасность правонарушителя для общества»²¹. Сам факт создания этих отделов и организаций подчеркивает особый интерес к криминологии в кругах профессионалов, особенно психиатров: в ней видели доказательство важности их профессиональной деятельности для судебной практики и пенитенциарной системы; из этого же проистекает прочная связь между двумя молодыми дисциплинами, психиатрией и криминологией.

При том что начинания периода Гражданской войны свидетельствуют о растущем интересе к криминологии, первая независимая научная организация, занимавшаяся криминологическими изысканиями, возникла только после перехода к НЭПу — на Волге, в Саратове. В 1922 году под началом главы Саратовской тюремной инспекции А. П. Штесса, психиатра, занимавшегося вопросами образования заключенных, был создан Саратовский

²¹ ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 234. Л. 17–18 (цит. с Л. 18), 19–20. 27 июня 1921 года Институт советского права Наркомпроса запрашивал от лица криминологического отдела средства на поддержку его деятельности (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 234. Л. 16). Об Институте советского права см. ниже, сноска 42.

губернский кабинет криминальной антропологии и судебно-психиатрической экспертизы, где занимались исследованиями этологии, патологии, патогенеза и личности преступника [Иванов 1925: 84–85]²². По словам М. П. Кутанина, одного из основателей Саратовского кабинета, целью этой организации было развитие научного подхода к вопросам преступности и разработка новых методов борьбы с ней. Сосредоточившись на жизни преступного мира, Кабинет изучал душевное состояние и физическое развитие преступников, равно как и особенности их окружения. Его сотрудники пытались разработать научно-рациональные меры перевоспитания преступников, которые можно было бы внедрять в тюрьмах [Кутанин 1931: 61–62]²³. В Саратовском кабинете, как и в петроградском Диагностическом институте, использовался чисто психиатрический подход к изучению преступности и преступников. По причине приверженности Кабинета этому подходу и якобы связи его с методами Ломброзо (к этому подталкивала отсылка к криминальной антропологии в названии Кабинета), к концу 1920-х годов возник вопрос, является ли он подлинно советской научной организацией.

Московский кабинет по изучению личности преступника и преступности оказался в схожей ситуации. Он был создан в июне 1923 года Моссоветом и вошел в состав Московского уголовного розыска (МУРа); ему вменялось в обязанность проведение исследований и опросов среди местных заключенных: Кабинет направляет студентов Московского государственного

²² О деятельности Саратовского кабинета рассказывается в нескольких опубликованных работах. Статья [Желиховский, Соловьева 1928] отражает психиатрическую ориентацию деятельности Саратовского кабинета, даже после того, как он был кооптирован в Государственный институт (подробнее см. ниже). В [Хатунцев 1924] речь также идет о психологических исследованиях Саратовского кабинета. Более того, Штесс включал элементы фрейдовского психоанализа в оценку преступников и сексуальных девиантов. См. [Healey 2001: 66–68, 142].

²³ Саратовский кабинет открылся 22 октября 1922 года. Кутанин отмечает, что в 1923 году при Саратовском кабинете было создано невропсихологическое отделение.

университета в тюрьмы для сбора информации²⁴. Итоги работы вылились в публикацию сборника статей о преступности и преступной деятельности «Преступный мир Москвы» под редакцией и с предисловием ведущего криминолога М. Н. Гернета [Гернет 1924в]²⁵. «Преступный мир Москвы» и деятельность Московского кабинета оказались настолько успешными, что к концу 1923 года в одной из московских тюрем была создана постоянно действующая криминологическая клиника. Там исследованиями личности преступника занимались в более прикладном ключе, используя психологический подход. Клиника являлась своего рода тюрьмой с пониженным уровнем охраны, коррекционные меры определялись там в индивидуальном порядке, можно было достичь точного понимания характера правонарушителя, уровня его развития, а также определить применимость к нему общественно-юридических норм [Хроника 1923а: 711–712; Аккерман 1927; Краснушкин 1926: 157]²⁶. Как впоследствии отметил Гернет,

²⁴ Президиум Моссовета во главе с В. Л. Орлеанским принял решение о создании Московского кабинета 11 июня 1923 года (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 13. Д. 203. Л. 218 об.; [Бехтерев 1926: 21; Гернет 1924а: vii; Гернет 1924: 31]). В Московском кабинете работали психиатры, антропологи, криминологи и статистики. Эти специалисты считали, что для сбора данных по тюрьмам лучше всего подходят студенты, поскольку заключенные охотнее будут разговаривать со студентами-энтузиастами, чем с милиционерами. Собственно, после 1925 года практика в Московском кабинете вошла в обязательную программу подготовки будущих судмедэкспертов на факультете советского права Московского государственного университета (ЦМАМ. Ф. 1609. Оп. 1. Д. 1056. Л. 87). Московский кабинет по исследованию личности преступника и преступности подал 9 июля 1923 года в Мосфинотдел заявку с просьбой профинансировать создание психологической лаборатории, биологической лаборатории и библиотеки, а также выделить средства на подпитку на периоду, печать анкет и выплату зарплат. Президиум Моссовета одобрил штатные должности заведующего, врача-психиатра, социолога-криминолога, техника и статистика. См.: ЦМАМ. Ф. 1215. Оп. 2. Д. 195. Л. 2, 5. Отчеты о работе Московского кабинета опубликованы в: «Еженедельник советской юстиции», № 1 (1925), с. 17; № 28 (1925), с. 879.

²⁵ См. также [Гернет 1924: 29].

²⁶ Краснушкин отмечает, что в 1924 году Московский кабинет и МУР начали новый проект, посвященный женщинам-убийцам и содержательницам борделей, находившимся в Новинской женской тюрьме.

если научный интерес к продолжению работы [среди заключенных] был в настоящем смысле слова разожжен, то и обрисовывавшиеся результаты работы позволяли думать, что значение всего нового начинания еще более возрастет с созданием постоянного учреждения по дальнейшему собиранию материалов и их изучению [Гернет 1924: 30].

Помимо обеспечения работы криминологической клиники, Московский кабинет издавал ежегодный журнал «Преступник и преступность», вышло также несколько отдельных сборников, посвященных тем преступлениям, которые несут в себе особую угрозу стабильности советского общества и социалистическому развитию, в том числе убийствам, преступлениям сексуального характера, хулиганству и бедности²⁷. Сотрудники Кабинета регулярно проводили публичные встречи, где представляли свои текущие исследования, составляли отчеты для местных представителей власти. Московский кабинет занимался и практической деятельностью, тесно сотрудничал с Московским губсудом — сотрудники Кабинета предоставляли туда экспертные заключения. Назначение в 1927 году Г. М. Сегала, главы уголовного отдела Московского губсуда, руководителем социологической секции Кабинета официально закрепило отношения между Московским кабинетом и Московским губсудом [Герцензон 1927: 11]²⁸.

Московский кабинет подходил к изучению преступности с биолого-психологических позиций, подчеркивая важность анализа личности правонарушителя. Сотрудники Московского кабинета понимали, что в центре проблемы преступности находится личный характер преступника. Соответственно, они считали, что изучение отдельных преступников способно вскрыть «корни преступности как болезни общества» [Рапопорт 1926: 34–35]. Ориентация на психологию отчасти стала результатом изменений в административной организации Кабинета и его перевода, вскоре после создания, из МУРа в Мосэздравотдел

²⁷ См. «Преступник и преступность», № 1 (1926) и № 2 (1927); а также [Краснушкин и др. 1927; Краснушкин и др. 1927а; Краснушкин и др. 1929].

²⁸ См. также [Аккерман 1927: 211].

[Ильина 1981: 152–153]. Новое начальство подталкивало исследователей к тому, чтобы сокращать разрыв между медициной и социологией за счет акцента на атавизм, эпилепсию и патологии при исследовании криминального поведения [Ширвиндт 1958: 139]. В работах сотрудников Кабинета проводилась связь между воздействием общественно-экономического и культурного окружения правонарушителей и их психологическим состоянием, то есть рассматривалось как внутреннее, так и внешнее влияние на преступника. Включение таких потенциально «ломброзианских» элементов в работу Московского кабинета, в сочетании с самим названием организации, где «личность преступника» стояла раньше «преступности», придавала деятельности Московского кабинета ярко выраженную ориентацию на психологию, в результате чего к концу 1920-х годов, с изменением политического климата, он начал подвергаться критике.

Криминологические исследования, проводившиеся в Петрограде-Ленинграде, несколько отличались от саратовских и московских. Если Саратовский и Московский кабинеты с самого начала занимались изучением заключенных, то Ленинградский криминологический кабинет более тесно сотрудничал с судами. Толчком к созданию криминологической организации в Ленинграде стало понимание юристами того, что суды нуждаются в более четких руководящих указаниях по поводу вынесения приговоров. Взгляд этот был подтвержден выводами участников Всероссийской конференции по педагогике, экспериментальной педагогике и психоневрологии, состоявшейся в январе 1924 года, где было подчеркнуто, что политика в отношении преступности должна нанизываться «на стержень центральной государственной задачи», что криминологические исследования должны вестись в непосредственном сотрудничестве с коррекционными заведениями и что криминологам необходимо проводить психиатрическую экспертизу для судов²⁹. Петроградский губсуд начал

²⁹ См. [Варшавский 1924]. Среди участников секции по криминальной рефлексологии и криминальной психологии были, в частности, Люблинский, А. К. Ленц, Звоницкая, Оршанский, С. В. Познышев и Жижиленко.

систематическое исследование преступности в 1923 году, а Ленинградский криминологический комитет был официально открыт в 1925-м; в его задачи входило рассмотрение вопросов судебно-медицинской психиатрии и медицины в рамках судебной практики [К. К. 1927]³⁰. Вот один из отзывов о работе Ленинградского комитета:

Поскольку преступление, как социальное явление, порождается обстоятельствами, имеющими первопричинную момент экономического характера, и поскольку преступление своим внешним выражением (правонарушение) связано с личностью преступника, Советский Суд, имея в виду основную цель нашей уголовной политики — социальное перевоспитание преступника для приспособления его к жизни коллектива, — должен поставить перед собой вытекающую отсюда практическую задачу: всестороннее изучение преступника — в особенности из рабочих и крестьян — и окружающей его социальной среды, с одновременным учетом его индивидуальных свойств [О. Д. 1925: 413].

Итак, решать вопросы преступности методами социологии считалось возможным только с учетом индивидуальных особенностей правонарушителя.

Ленинградский кабинет создал в своем составе научные кружки — небольшие группы специалистов, которые регулярно встречались, чтобы обсудить отдельные вопросы или проблемы, связанные с преступностью. В каждом кружке рассматривался свой особый вопрос, на это отводилось несколько месяцев, после чего результаты докладывались в Кабинет и начиналась работа над новым предметом. Кружки много внимания уделяли прак-

³⁰ Ленинградский кабинет официально открылся 7 мая 1925 года. Он был создан по инициативе директора Ленинградского губсуда Ф. М. Нахимсона, который подал в губисполком просьбу об открытии Ленинградского криминологического кабинета. См. [О. Д. 1925: 412]. Отчеты о деятельности Ленинградского кабинета публиковались в журнале «Рабочий суд» в 1927–1929 годах. При этом, помимо этих отчетов, сведений о Ленинградском кабинете крайне мало.

тическим аспектам судебной политики и методам дознания, но целый ряд кружков рассматривал вопросы уголовной психологии и психиатрии, а также изучал, помимо прочего, сексуальную жизнь, алкоголизм, гипноз, самоубийства, преступность среди несовершеннолетних, евгенику и иные предметы³¹. Практическая направленность Ленинградского кабинета как судебной организации, равно как и то, что во главе его стоял психиатр Оршанский — руководитель Диагностического института, — приводили к тому, что, помимо прояснения применения юридических кодексов, он также занимался нуждами судов, особенно в части определения психиатрической вменяемости преступников и вынесения наиболее эффективных приговоров отдельным лицам с учетом их душевного здоровья. В вопросе отношения к преступникам Ленинградский кабинет придерживался однозначно психиатрической ориентации.

Создание криминологических кабинетов в Саратове, Москве и Ленинграде свидетельствует о том, что в период НЭПа сложилась атмосфера относительной свободы, у местных специалистов появилась возможность разрабатывать практические подходы к преступному поведению, а региональные юридические и административные органы стали проявлять отчетливый интерес к изучению преступности и преступников³². Эти ранние организации, по большому счету, воплощали в себе интересы, приоритеты и подходы тех лиц, которые стали их создателями. В первые бурные годы существования советской власти государственные органы прежде всего были озабочены тем, как управляться со все растущим числом правонарушителей, наводнивших суды и тюрьмы, а отнюдь не разработкой новых «советских» криминологических теорий. Соответственно, специалисты, работавшие в криминологических организациях ранних лет, делали упор на

³¹ См. отчеты о деятельности Ленинградского криминологического кабинета в журнале «Рабочий суд»: № 6 (1927), с. 527–529; № 7 (1927), с. 623–624; № 8 (1927), с. 731–732; № 19 (1928), с. 1469–1476.

³² Кроме того, криминологические кабинеты были созданы в Одессе в 1925 году, в Ростове-на-Дону и Минске в 1926-м, в Харькове в 1927-м [Ильина 1981: 153].

практические вопросы и на отдельных преступников, в надежде понять, какие мотивы ими движут и как лучше всего пресекать преступное поведение — во многих случаях речь шла о претворении в жизнь идей, которые были предложены профессионалами еще до революции. Что касается взглядов и ориентации, эти специалисты заложили основы будущих исследований преступности в раннесоветский период, обусловив как их масштаб, так и направленность.

Особое внимание специалистов к личности преступника отражает в себе значительное влияние новых открытий западной криминальной психиатрии на российскую криминологию³³. Исследования психиатров оказались крайне полезны для рассмотрения поведения и реакций любого человека, а преступники были идеальными (в силу своего содержания взаперти) объектами таких исследований. По мнению этих специалистов, изучение личности и побуждений отдельного правонарушителя помогало, помимо прочего, разработать конкретные коррективные меры и действия, которые государство может предпринять с целью снижения уровня преступности. Действительно, активное участие психиатров в создании первых институтов и кабинетов свидетельствует о целенаправленных усилиях по развитию психиатрической и судебно-медицинской экспертизы, а также о попытке донести эти специализированные сведения до судов и тюрем³⁴. Соответственно, ранние криминологические организации служили практическим нуждам местных и региональных органов власти, одновременно обеспечивая специалистам возможность осуществления научной деятельности.

³³ См. [Wetzell 2000]. О психиатрии в СССР см. [Joravsky 1989; Miller 1998; Юдин 1951].

³⁴ Развитию судебно-медицинской экспертизы способствовало создание в 1924 году Центральной судебно-медицинской лаборатории в составе наркомздрава, а также Института судебно-медицинской экспертизы (ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 1. Д. 635. Л. 259–259об.). О судебно-медицинской экспертизе в раннесоветский период см. [Крылов 1975; Крылов 1967; Лейбович 1922; Лейбович 1923; Лейбович 1926; Прозоровский, Панфиленко 1967]. См. также [Pinnow 1998: 80–135].

Что касается специалистов-криминологов на местах, психиатрическое изучение преступников не вступало в противоречие с общественно-экономической ориентацией советской идеологии. Сделав экономику центральной опорой своих задач по искоренению эксплуатации пролетариата, большевики выдвинули на первый план экономические и материальные соображения, причем этот идеологический постулат проник во все сферы советской жизни. Хотя в годы НЭПа социалистическое переустройство страны несколько замедлилось ради общего оздоровления экономики, государство не оставляло попыток переустроить быт, культуру и общественные отношения в соответствии со своими идеологическими догмами³⁵. Для криминологов подобная направленность означала, что они обязаны давать преступности общественно-экономические объяснения. Такой подход вполне устраивал представителей левого крыла, которые толковали преступность в социологическом ключе; привлекательным он показался и тем, кто использовал в своих исследованиях психологический подход. Один автор отметил:

Мы стоим на почве научного детерминизма <...> считая, что каждый наш шаг, каждая мысль является результатом сложного взаимодействия влияний, социальных и биологических, на наш организм — мы не можем, конечно, смотреть на преступника, как на носителя свободной злой воли (точка зрения классической школы уголовного права), а видим в нем, в его личности и поступках, продукт среды, условий индивидуального развития и т. д., что в сумме обуславливается, конечно, существующими общественно-экономическими отношениями [Изучение 1925: 3].

Для этих специалистов исследования личности преступника были равнозначны исследованиям его общественно-экономического положения — и неотделимы от последних.

³⁵ Среди исследований попыток перестроить жизнь в годы НЭПа [Bernstein 2007; Clark 1995; Mally 1990; Nelson 2004].

Профессионалы, работавшие в криминологических кабинетах раннего периода, утверждали, что к искоренению преступности можно прийти только через понимание взаимоотношений между отдельной преступной личностью и общественно-экономическими условиями. Дистанцируясь от теорий Ломброзо об антропометрии и прирожденных преступниках, они, тем не менее, подчеркивали важность индивидуального психологического подхода к преступнику, поскольку только таким образом можно было прояснить его реакцию на окружение; кроме того, они утверждали, что изучение одного без другого невозможно. Связь между общественно-экономическим и психологическим сделалась особо значимой, когда криминологи сосредоточили свое внимание на женщинах-преступницах. Например, А. С. Звоницкая, юрист, сотрудница киевского Института народного хозяйства, подчеркивала необходимость сочетания в криминологических исследованиях как биологического, так и социологического подхода. Звоницкая определяла преступления как антиобщественные проявления, которые при этом «неизбежно являются коррелятом нормального типичного склада социальной жизни». Только через анализ этих взаимоотношений можно осмыслить понятие преступления «как социального потрясения, произведенного резкими отклонениями в деятельности отдельной личности» [Звоницкая 1924: 82–83]. «Преступность, как социальная патология, неизбежно коррелятивна социальной норме», продолжала она:

Все эти типичные случаи эмоциональной травмы говорят необыкновенно ярко о значении в них социальных переживаний, неразрывно связанных с конкретными условиями социальной среды. Даже там, где, например, кражи имеют непосредственную связь с неправильно стимулированной сексуальностью, связующим эмоциональным звеном является момент тайны и стыда — момент социального, а не биологического. Момент социальной составляющей, переплетающейся в своем конкретном виде с конкретной психофизической организацией, чрезвычайно рельефен в эмоциональных конфликтах [Звоницкая 1924: 91, 77].

Звоницкая считала, что только через понимание криминальной психологии женщин-преступниц и при учете их физиологии можно прояснить, какие специфические социологические факторы приводят к преступлению.

Для Е. К. Краснушкина, психиатра, участвовавшего в работе Московского кабинета, психологическое состояние преступников было неотделимо от общественно-экономических условий. Краснушкин считал, что типичный криминолог — это дореволюционный специалист, принявший советскую систему. Он родился в 1885 году, получил диплом врача в 1910-м, а в послереволюционные годы быстро стал одним из ведущих психиатров и судебно-медицинских экспертов. В 1921 году он участвовал в создании Центрального института судебной психиатрии имени Сербского и преподавал судебную психиатрию в МГУ. С 1919 по 1931 год Краснушкин являлся штатным психиатром московских тюрем, работая там как представитель московского горздравотдела. В этой должности он имел доступ к заключенным, среди которых проводил психиатрические исследования, в том же качестве сыграл ведущую роль в создании и организации деятельности Московского кабинета³⁶.

³⁶ Е. К. Краснушкин (1885–1951), сын донского казака, активно участвовал в студенческих протестах во время революции 1905 года, в годы Первой мировой войны служил военным психиатром, однако, судя по всему, в советской и большевистской революционной деятельности участия не принимал. Совместно с юристом Г. М. Сегалом и психиатром Ц. М. Фейнбергом редактировал сборники, посвященные хулиганству (1927), сексуальным преступлениям (1927), убийствам и убийцам (1928) и бедности и бездомности (1929) для Московского кабинета, а также писал статьи по судебно-медицинской психиатрии и психопатологии для различных советских юридических журналов. В конце 1930-х организовал психиатрическую клинику в составе Московского областного клинического научно-исследовательского института и с 1943 года до самой смерти являлся директором Московской областной психоневрологической клиники. После Второй мировой войны участвовал в Нюрнбергском процессе. Впрочем, после 1930-х Краснушкин перестал заниматься преступлениями и сосредоточился на своей основной дисциплине, а именно — клинической психиатрии, неврозах и лечении психиатрических заболеваний. Более того, в 1929 году взгляды Краснушкина на взаимосвязь между личностью преступника и преступлением, равно

В статье 1925 года «Что такое преступник?» — ею открывается первый том ежегодника Московского кабинета — Краснушкин говорит о важности психиатрических исследований для криминологии, тем самым обозначая ориентированность Московского кабинета на науку. Он утверждает, что, хотя ломброзианских «прирожденных преступников» не существует, но недостатки психологического и физического развития отдельной личности, как реакция на общественные условия, способны подтолкнуть к преступности. Он говорит о дегенерации преступника «в силу асоциальности <...> психофизической структуры, в силу недостаточной способности социального приспособления», как об одной из основных причин преступности. Краснушкин отмечает, что дегенераты, «неполноценные личности», «отличаются недостаточным развитием коры головного мозга, этой наиболее хрупкой части мозга и вместе с тем носительницы самых важных аппаратов пассивного и активного приспособления к динамичной социальной среде». В результате возникают условия, в которых «структура их [дегенератов] психики совпадает с таковой «пролетариата босяков», кадры которых они пополняют и из рядов которых в огромной массе и по преимуществу вербуются ряды преступников». По мнению Краснушкина, случаи дегенеративности, которые он наблюдал в среде преступников, как правило, происходят из общественно-экономических условий, вызывающих эпидемии инфекционных болезней. Более того, он подчеркивает, что связь между дегенеративностью и преступностью, равно как и дегенеративность сама по себе, преодолимы только через улучшение общественно-экономического положения населения — именно по этому пути, заключает он, уже идет Советская Россия [Краснушкин 1926а: 32–33]³⁷. То есть Краснушкин усматривает прямую связь между психиатрическими аберрациями

как и деятельность Московского кабинета в целом, подверглись резкой критике — возможно, именно это подвигло его на то, чтобы заняться предметами, более терпимыми для режима. См.: Большая советская энциклопедия. Т. 11. М.: 1979. С. 51; [Краснушкин 1960].

³⁷ О теории дегенеративности в советский период см. [Beer 2008; Bernstein 2007].

у преступников (в случае женщин в основе таких aberrаций лежит их репродуктивная физиология) и их общественно-экономическим положением, предполагая, что с улучшением жизни условия, которые приводят к дегенерации и, соответственно, криминализации разума, исчезнут. Соответственно, правильное понимание личностных особенностей преступников проливает свет на специфические общественно-экономические факторы, которые и ведут к дегенерации и к преступным действиям.

Уклон местных криминологических кабинетов в психиатрию и их практическая работа среди заключенных стали основным вектором и средоточием криминологических исследований в начале 1920-х годов. Как видно из биографии Краснушкина, криминология была удобным и эффективным полем для психиатрических исследований и для сбора психиатрических данных для суда. Выполнявшие эту работу специалисты занимали должности не только в университетах или медицинских учреждениях, но также и в местных органах власти (но прежде всего — в тюрьмах). Находясь на этих постах, они получали поддержку своих исследований, а также доступ к предмету научных изысканий. Криминологические кабинеты, созданные увлеченными профессионалами, которые сотрудничали с местными органами власти и получали их поддержку, поскольку цели их совпадали с целями властей, сообщали легитимный характер изучению преступности и придавали ему смысл, напрямую связанный с потребностями государства.

Криминологические кабинеты раннего периода почти всецело сосредоточились на практических исследованиях преступности и личности преступника. В них собирали и анализировали уголовную статистику, опрашивали заключенных, оценивали душевное здоровье правонарушителей, готовили экспертные медицинские заключения для судов. Специалисты, работавшие в этих кабинетах, усматривали прямую связь между психиатрическим подходом к личности преступника и общественно-экономическими факторами, которые в совокупности своей служат причинами преступления: в этом они, по большому счету, продолжали дореволюционные дебаты по поводу направления и сути разви-

тия криминологии. Сам факт возникновения этих криминологических кабинетов отражал как серьезный интерес со стороны судебных и административных органов среднего звена к поддержке изучения преступников и преступности, так и инициативность профессиональных криминологов в плане создания организаций, где они могли бы заниматься исследованиями, сохранять профессиональную идентичность и интересы. Специалисты с успехом убеждали местных чиновников в необходимости криминологических исследований и их применения в судебной практике, формировали рабочие группы, получали доступ к ресурсам, необходимым для научной работы, и одновременно доказывали необходимость собственной деятельности для советского правосудия. Таким образом, криминологи снабжали важными экспертными сведениями суды и милицию, одновременно обеспечивая им профессиональную поддержку и удовлетворяя потребности государства.

Государственный институт по изучению преступности и преступника

Поскольку на раннем этапе криминологические организации создавались при поддержке местных советов и органов власти, местно-региональная ориентация сужала сферу их деятельности. К 1925 году в кругах специалистов и чиновников, работавших в сфере преступности, сформировалась потребность создания центрального криминологического института, который стал бы руководящим и направляющим органом для исследований преступности по всему Советскому Союзу, а также внедрял бы более «советский» подход к изучению преступности. Успех местных криминологических кабинетов, видимо, пробудил стремление к тому, чтобы такие же специалисты работали и в центре, создавая собственные криминологические органы. Кроме того, интерес к созданию центральной криминологической организации отражал нараставшее стремление режима, проявившееся уже в середине 1920-х годов, внедрять жесткий государственный контроль

во все аспекты общественной жизни; учитывалась также и практическая потребность в осуществлении профессиональной экспертизы для судов.

Сторонники этой идеи утверждали, что центральная криминологическая организация объединит все исследования преступности, собрав в одно целое работу по исследованию динамики преступности по всему Советскому Союзу. Такой организации удобнее будет проводить разносторонние исследования преступности во всех ее проявлениях [Ширвиндт 1958: 140]. Более того, сторонники этой идеи считали, что если криминологические исследования будут сосредоточены в одной центральной организации, криминология получит статус научной дисциплины, пользующейся государственной поддержкой, — и будет считаться идеологически благонадежной. Впрочем, тогда изучение преступлений будет поставлено под контроль и надзор государства, что в итоге ограничит свободу криминологов и их возможности изучать и применять в своей работе разнообразные методологии и подходы.

Создание в 1925 году Государственного института по изучению преступности и преступника стало высшей точкой профессионализации криминологии в ранний период существования Советской России; этот шаг отражал усилившееся стремление большевиков к централизации власти. Он легитимизировал изучение преступности и устанавливал иерархическую структуру, в рамках которой деятельность, проводимая в Москве, помещалась на ее вершину: Институт становился самым важным и самым «советским» криминологическим учреждением. Воплощая в себе самую суть советских криминологических исследований, Государственный институт стал центром проведения систематических исследований преступности. При этом то, что он был организован под эгидой целого ряда комиссариатов, подразумевало, что он окажется под пристальным надзором государства и станет выполнять все причуды тех, кто оплачивает его деятельность. Помимо прочего, мультидисциплинарный характер криминологических исследований нашел отражение в самой организации Института, поскольку здесь поддерживали как социологические, так и био-

лого-психологические методы. И хотя такой мультидисциплинарный подход говорил о широкомасштабности соответствующей дисциплины — в том виде, в каком она существовала в то время, — он же заложил основу последующего разрушения криминологии внутри ее профессиональной структуры.

Создателями Государственного института в начале 1925 года стали Е. Г. Ширвиндт, руководитель Главного управления мест заключения, входившего в структуру НКВД, и Н. Н. Спасокукоцкий, глава тюремного медико-санитарного управления Наркомздрава, возможно, при содействии кримиолога М. Н. Гернета³⁸. И Ширвиндт, и Спасокукоцкий были своего рода посредниками между специалистами и чиновниками. Они принадлежали к верхнему слою государственной бюрократии, однако на свои посты были выдвинуты благодаря глубоким познаниям и интересу к пенологии. Они с самого начала замыслили Государственный институт как межведомственную организацию, которая занималась бы изучением всех аспектов преступлений и преступности, с использованием всевозможных подходов, от биологического — включая антропологический, психиатрический, психологический и биохимический — до социологического, с опорой на научные

³⁸ Е. Г. Ширвиндт (1891–1958) все 1920-е годы возглавлял ГУМЗ и много писал о тюрьмах, советской пенитенциарной политике и пенальных вопросах, а также был одним из редакторов ежегодника Государственного института «Проблемы преступности». Родился в Киеве, в семье интеллигентов, в 1914 году закончил юридический факультет Одесского университета и на момент революции изучал медицину в Москве. В 1918 году вступил в коммунистическую партию. Ширвиндт начал административную деятельность в юридическом отделе Моссовета в 1917 году, впоследствии стал заместителем министра юстиции Украины и членом украинского Народного комиссариата юстиции (НКЮ) и ЧК. После реорганизации НКВД в 1930 году лишился должности главы ГУМЗ, которую занимал с момента его создания в 1922 году. Перешел на работу в Комиссариат водного транспорта, однако в 1933-м вернулся к пенальным вопросам: его назначили старшим инспектором тюрем при прокуратуре СССР. Пострадал от сталинских репрессий: был арестован в 1937 году, освобожден в 1955-м, после чего помогал возрождать пенологию в Министерстве внутренних дел. Скончался 22 сентября 1958 года. См. [Solomon 1973: 180–181; Jakobson 1993: 31; Wimberg 1996: 37–38]. Никаких биографических данных о Н. Н. Спасокукоцком не обнаружено.

и практические знания, полученные усилиями самых разных народных комиссариатов, и ставила бы свои экспертные знания на службу различным советским организациям³⁹. Более того, Ширвиндт подчеркивал, что Государственный институт будет способствовать «проникновению идей марксизма» в советскую юриспруденцию через подход к изучению преступлений с научной точки зрения и в общественно-экономическом ключе [Ширвиндт 1925]. К февралю 1925 года Ширвиндт и Спасокукоцкий заручились поддержкой своего начинания со стороны руководителей соответствующих комиссариатов, А. Г. Белобородова из НКВД и Н. А. Семашко из Наркомздрава⁴⁰.

Другие комиссариаты пришлось убеждать дольше. Например, в письме от 27 февраля 1925 года из Главнауки⁴¹ (Наркомпрос)

³⁹ Письмо № 15297 Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, датированное 11 февраля 1925 года, в Главумзак, Народный комиссариат внутренних дел (ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 10–10 об.).

⁴⁰ А. Г. Белобородов (1891–1938) был типичным старым большевиком. Сын рабочего, Белобородов родился в 1891 году в Пермской губернии. Работая на заводе подмастерьем, увлекся революционной деятельностью, в 1907 году вступил в местную большевистскую партию. Как революционер провел несколько лет в тюрьме. Во время Гражданской войны сражался в Красной армии на Урале, в 1920-м стал кандидатом в члены ЦК, впоследствии был наркомом НКВД РСФСР (1923–1927), в этой должности участвовал в работе Государственного института и редактировал сборник 1927 года, основанный на материалах, собранных по ходу тюремной переписи 1926 года (см. [Белобородов 1927]). ВЦИК освободил Белобородова от должности в НКВД 18 ноября 1927 года, на его место был назначен В. Н. Егоров. В биографии Белобородова нет сведений о его деятельности после 1930-го (и Белобородова нет в числе редакторов второго тома «Современной преступности», опубликованного в 1930-м). Сведения о причинах его смерти в 1938 году также отсутствуют (ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 116. Д. 414. Л. 1; Большая советская энциклопедия. Т. 3. М., 1970. С. 118; Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской Революции (автобиографии и биографии). М.: Книга, 1989. С. 26–28). О Н. А. Семашко (1874–1949), знаменитом первом народном комиссаре здравоохранения, см. [Потулов 1986; Тихонова 1960].

⁴¹ Главнаука — акроним Главного управления научными, научно-художественными и музейными учреждениями, находившегося в составе наркомпроса. О наркомпросе см. [Fitzpatrick 1970].

в ГУМЗ говорится, что, хотя создание организации вроде предлагаемого Государственного института является необходимым и своевременным, включение его в ГУМЗ выглядит неоправданным, поскольку учреждение в результате получит «ведомственный характер». Автор письма имел в виду, что создание Государственного института под эгидой НКВД и Наркомздрава сведет его исследовательскую деятельность к насущным задачам и проблемам этих комиссариатов. Главнаука считала, что Государственный институт лучше выполнит свою задачу, использовав в качестве базы ее уже существующие научные организации, а именно — Институт советского права в составе факультета общественных наук (ФОНа) МГУ. Тамошние квалифицированные научные работники сделают все, чтобы укрепить связи с сотрудниками ГУМЗ⁴².

Спротивление Главнауки планам НКВД обнажает суть бюрократического конфликта 1920-х годов. Возражая против создания Государственного института, Главнаука подчеркивает, что исследования, которые будут проводиться в предполагаемом учреждении, станут дублировать деятельность других похожих организаций, уже находящихся под ее юрисдикцией, институт же сможет работать эффективнее в рамках научной, а не правительственной структуры: подчеркивается, что Главнаука считает основной задачей Государственного института развитие теоретической базы советской криминологии. Эти возражения свидетельствуют о межведомственной конкуренции за контроль над скудными ресурсами и кадрами, равно как и стремление Главнауки оставить под своей эгидой официальную научную деятель-

⁴² ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 12. Институт советского права, основанный в 1920 году, был в апреле 1925-го включен в состав Московского государственного университета в ходе создания специализированных кафедр в рамках факультета социологии. Почти все ведущие советские ученые-юристы, в том числе Е. К. Краснушкин, Н. В. Крыленко, С. Г. Струмилин, А. Н. Трайнин, А. И. Трахтенберг, Г. М. Сегал, М. Н. Гернет, Я. А. Берман, М. М. Исаев, Е. Б. Пашуканис, А. А. Пионтковский и З. Р. Теттенборн преподавали в Институте советского права в 1920-е. См. [Челяпов 1928: 96–98]; ЦМММ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 135. Л. 2, 8; ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 96. Д. 565. Л. 10.

ность во всех ее аспектах. В аргументации Главнауки чувствуется попытка Наркомпроса поставить Государственный институт и криминологические исследования под свой контроль, поместив их в свою сферу влияния. Это, в свою очередь, вскрывает противоречия между разными комиссариатами в период НЭПа, которые свидетельствуют о том, что в середине 1920-х годов границы ответственности разных правительственных органов все еще оставались размытыми, сферы их обязанностей во многом пересекались, а между чиновниками шла конкуренция и борьба за те области юрисдикции, которые они считали своими⁴³. Более того, дебаты по поводу структуры надзора над криминологией указывают на то, что для государства дисциплина эта была важной и рассматривалась как приоритетная, достойная того, чтобы ее финансировать и держать под контролем.

И действительно, как в организационном, так и в концептуальном плане Государственный институт зависел от поддержки и покровительства не только НКВД и Наркомздрава, но также и НКЮ и Наркомпроса. Вменявшиеся Институту задачи, в том числе теоретические исследования преступности, практическая работа по созданию методов борьбы с преступностью, просветительская деятельность среди заключенных и подготовка кадров выходили за рамки ведомственных границ и были невозможны без сотрудничества разных ведомств. Несмотря на изначальные сомнения Главнауки, Наркомпрос вскоре подключился к проекту, и в запросе НКВД от 6 марта в Совнарком было указано, что новое начинание поддержали все четыре комиссариата⁴⁴. Совет

⁴³ См., напр., [Martin 1999]: он утверждает, что «жесткие» комиссариаты, вроде НКВД, и «мягкие» комиссариаты, вроде Наркомпроса, пересекались по зонам ответственности, в результате для строительства социализма приходилось использовать как принуждение, так и поощрение.

⁴⁴ ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 9–9 об. Совнарком одобрил создание Государственного института 25 марта 1925 года. Тот факт, что Государственный институт обслуживали четыре разных бюрократических учреждения, свидетельствует, что его создание стало компромиссом, нацеленным на то, чтобы удовлетворить все комиссариаты, имеющие ту или иную заинтересованность в его деятельности.

Государственного института состоял из представителей всех четырех комиссариатов: изначально это были Ширвиндт, Спасокукоцкий, Ф. К. Траскович из НКЮ, И. И. Месяцев из Наркомпроса (его скоро сменил П. И. Карпов); пятым же представителем стал Гернет, выдвинутый из числа сотрудников института⁴⁵.

Хотя Государственный институт задумывался как межведомственное учреждение с равным представительством всех четырех комиссариатов, главенствующую роль получил НКВД — Институт был создан по его Приказу № 97 от 1 июля 1925 года. Институт, в свою очередь, оказался прежде всего под эгидой именно НКВД, от которого получал финансирование и перед которым отчитывался⁴⁶. Тесные отношения между Государственным институтом и НКВД предопределили его положение в рамках советской государственной системы: возникла прямая связь между криминологией и функцией НКВД по контролю над обществом (по контрасту с ориентированностью Наркомздрова на медицину) — в итоге Институт стал особенно зависим от патронажа этого комиссариата.

⁴⁵ Представители совета Государственного института были назначены приказом № 98 НКВД. См.: ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 65. Об изменениях в составе совета см. Протокол № 1 заседания совета Государственного института от 15 июля 1925 года (ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 99); протокол № 2 от 23 сентября 1925 года (ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 105). Поначалу в состав Государственного института вошло 44 члена, в том числе Пионтковский, Исаев, П. Б. Ганнушкин. Н. Н. Введенский и Я. Л. Лейбович. Государственный институт официально открылся 1 октября 1925 года. О его организации и деятельности см. [Хроника 1925: 1090; Гернет 1925: 32; Спасокукоцкий 1925: 270–271; Спасокукоцкий 1927; Спасокукоцкий 1928: 113–114; Утевский 1926а: 7–8].

⁴⁶ Приказ НКВД № 97 (ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 55). По всей видимости, этот приказ был уступкой с целью добиться поддержки Главнауки при создании Государственного института и указывал на то, что научная деятельность института будет проводиться под эгидой Наркомпроса. НКВД затребовал у Совнаркома 91 102 рубля на финансирование деятельности Института в 1925–1926 годах. Совнарком одобрил включение Института в государственный бюджет и санкционировал выделение средств из своих резервов на финансирование его деятельности в 1925–1926 годах на основании расчетов НКВД (ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 95. Д. 779. Л. 3–4; ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 126).

Согласно Приказу № 97, перед Государственным институтом было поставлено шесть задач: 1) прояснение причин и обстоятельств роста преступности и совершения конкретных типов преступлений; 2) изучение эффективности различных методов борьбы с преступностью и видов наказания; 3) развитие пенитенциарной теории и практики; 4) создание системы и методологии изучения заключенных и проведения исправительных мер в их среде; 5) изучение отдельных заключенных с целью получить более четкое представление о преступности и 6) изучение влияния конкретных типов исправительного труда на заключенных⁴⁷. В этой связи Государственный институт разделили на четыре секции: социально-экономическую, пенитенциарную, биопсихологическую, криминалистическую. Социально-экономическая секция занималась изучением общественно-экономических причин преступности, а также изменениями уровня и типов преступности; пенитенциарная рассматривала вопросы пенитенциарной политики и мер «защиты общества», то есть наказания; биопсихологическая секция сосредоточилась на оценке сущности, поведения, личности и психопатологии преступника, равно как и на роли психиатрии в пенитенциарной политике; криминалистическая секция изучала методы проведения уголовного расследования. Работа исследователей, статистиков, теоретиков, чиновников и студентов из Государственного института была направлена на то, чтобы сделать его «научно-практической организацией», изучающей вопросы, которые представляют непосредственный интерес для разработки практических мер борьбы с преступностью⁴⁸. Результаты своих исследований Государственный институт обнародовал посредством публикаций, издавая, в частности, собственный журнал «Проблемы преступности» и выпуская регулярные отчеты о своей деятельности⁴⁹.

⁴⁷ Приказ НКВД № 97. ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 54.

⁴⁸ Там же. Л. 107.

⁴⁹ «Проблемы преступности» — ежегодный журнал под редакцией Гернета, Ширвиндта и Трасковича, издавался непосредственно Государственным институтом в 1926–1927 годах и НКВД в 1928–1929-м. Отчеты о деятельности Государственного института регулярно публиковались в «Еженедельни-

В планах создания Государственного института подчеркивался его статус коллективной, централизованной организации. Помимо того, что он зависел от межведомственной поддержки, работа в нем строилась на сотрудничестве специалистов в разных областях. По словам криминолога М. М. Гродзинского,

государственный институт по изучению преступности является учреждением, в развитии и росте которого заинтересована и советская наука, и советская общественность, так как задача Института в конечном итоге состоит в том, чтобы, путем коллективной научной разработки проблемы преступности, возможно ближе подойти к успешному ее разрешению [Гродзинский 1926: 775].

Примечательно, что «коллективизм» подразумевал не только научное сотрудничество в исследовательской деятельности и публикациях, но и постоянную оценку деятельности и критику сотрудников института со стороны их же товарищей⁵⁰. Тем самым обеспечивался как высокий научный уровень трудов сотрудников института, так и соответствие их деятельности идеологическим требованиям социалистического режима.

Было образовано четыре филиала Государственного института в Москве, Ленинграде, Саратове и Ростове-на-Дону [Иванов, Ильина 1991: 182; Спасокукоцкий 1929]⁵¹. Предполагалось, что филиалы будут заниматься местной и региональной динамикой преступности, а центральный институт в Москве — изучением более общих тенденций в советской и мировой преступности. Криминологи надеялись, что за счет исследований как на мест-

ке советской юстиции» (НКЮ) и «Административном вестнике» (НКВД). Кроме того, Государственный институт финансировал публикации на «горячие» криминальные темы, в том числе: Растраты и растратчики. Сборник статей. М.: Издательство НКВД, 1926; Хулиганство и хулиганы. М.: Издательство НКВД, 1929; Современная преступность. Т. 1, 2. М.: Издательство НКВД, 1927, 1930. Сотрудники института регулярно публиковали монографии и статьи под эгидой своих заказчиков, в особенности — НКВД и НКЮ.

⁵⁰ ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 108.

⁵¹ См. также [Бехтерев 1928].

ном, так и на общегосударственном уровне Государственный институт станет своего рода «барометром преступности» и поможет выявлению изменений в динамике преступности как общественного явления [Гернет 1922: 33]. Более того, через создание филиалов в тех самых городах, где и раньше существовали местные самостоятельные криминологические кабинеты, Государственный институт утвердил свою главенствующую роль в дисциплине и попытался поставить под контроль центра все исследования в области криминологии. Например, в Саратове Институт кооптировал в свой состав Саратовский кабинет, преобразовав его в филиал института, переименовав и подчинив его деятельность генеральному плану головного учреждения [Кутанин 1931: 62–63]. Хотя Институт не подчинил себе местные криминологические кабинеты в Москве и Ленинграде, он, однако, предпринял попытку руководить их работой посредством своих филиалов.

Впрочем, даже превратившись в филиалы Государственного института, местные криминологические кабинеты сохранили значительную независимость от центра. Самостоятельность на местах зачастую проявлялась в форме сосредоточения на психиатрической оценке отдельных преступников⁵². Ростовский кабинет, которым руководил психиатр В. В. Браиловский, с особым упорством сопротивлялся внедрению более марксистского, или общественно-экономического, подхода к исследованиям преступлений. Ростовское отделение называлось Кабинетом по изучению личности правонарушителя и было создано под эгидой Северо-Кавказского краевого управления здравоохранения. С 1926 по 1928 год при нем выходил журнал «Вопросы изучения преступности на Северном Кавказе», почти полностью посвященный психиатрическому анализу правонарушителей и их психопатологиям. В редакционной статье Браиловский, вслед за Звоницкой, писал о совместимости биологического и социологического подходов к преступности и о необходимости учитывать оба аспекта. Задавая

⁵² Л. Шелли подчеркивает, что, несмотря на официальную подчиненность Государственному институту, местные кабинеты сохраняли самостоятельность и не всегда разделяли теоретическую позицию центра. См. [Shelley 1977: 89–90].

тон деятельности Ростовского кабинета, Браиловский подчеркивал, что психологический и биологический подходы могут стать дополнением к социологическим исследованиям:

Отшельник в пустыне не совершает преступлений — для этого ему нужна среда себе подобных, социальная среда; тысячи автоматов и машин тоже не совершают преступлений — для этого нужны живые человеческие организмы. Изучать порознь живые организмы преступников, игнорируя социальные условия, и наоборот — значит вносить в дело пагубную односторонность; нерационально ограничивать сферу компетенции какой-либо из соприкасающихся дисциплин, и не контактировать в методах — также вредно [Браиловский 1926: 9]⁵³.

Браиловский считал, что у социологов и психиатров должны быть в рамках криминологических исследований свои отдельные, но взаимодополняющие ниши. Объявляя биологический подход необходимым, уникальным, но при этом второстепенным по отношению к социологическому, Браиловский тем самым защищал свои профессиональные интересы, равно как и психиатрический подход, принятый в Ростовском кабинете.

Такая верность психиатрическому подходу, при том что Государственный институт ратовал за более социологический уклон, отражала глубоко укоренившуюся методологическую двойственность советской криминологии. То же самое отмечал и Ширвиндт:

Открытие Государственного института по изучению преступности и преступника было связано с признанием в советских республиках решающего значения экономики социализма для ликвидации явлений преступности в СССР. Однако такое признание не суживало всестороннего изучения преступника, преступности и средств борьбы с нею. Об этом говорила сама структура института [Ширвиндт 1958: 139].

⁵³ Криминологи послесталинского периода Ильина и Надъярный впоследствии критиковали узость подхода Ростовского кабинета, утверждая, что исследования личности преступника, в которых причины преступления сводятся к врожденным психологическим и биологическим свойствам, не имеют практической пользы для сотрудников тюрем в деле исправления и перевоспитания преступников. См. [Ильина, Надъярный 1968: 306].

Через создание биопсихологической секции наряду с социологической, Государственный институт признал значимость вклада уголовных психиатров в изучение преступности. Кроме того, участие Наркомздрава в основании Государственного института предполагало, что в работе последнего будут учтены и интересы этого комиссариата (в плане психиатрического здоровья преступников и судебно-медицинской психиатрической экспертизы для судов). Эти факторы обеспечивали определенную терпимость в отношении к психиатрическим исследованиям, несмотря на усиливающееся политическое давление на криминологию, требовавшее более «советского» (то есть социально-экономического, а не психиатрического) подхода.

Несмотря на методологические расхождения, все сотрудники Государственного института подчеркивали важность практической и теоретической работы, направленной на достижение целей социализма, а именно — искоренение преступности. По словам Б. С. Утевского (1887–1970), профессора и пенолога, много писавшего о подростковой преступности, уголовном праве и организации исправительных работ, в задачи Государственного института входило исследование преступности с научной, марксистской точки зрения, «для объективного изучения преступности в переходную от капитализма к социализму эпоху». Он отмечал, что, используя уголовную статистику, Государственный институт вскрывает направления и тенденции в преступной деятельности, поэтому материалы его исследований могут использоваться в практической работе судов и милиции [Утевский 1926: 569]. Кроме того, Гернет отмечал, что Государственный институт принципиально отличается от криминологических организаций в Западной Европе и на американском континенте, поскольку занимается прежде всего социально-экономическими причинами преступности как общественного явления (сюда включались психологические и психиатрические факторы, наряду с социальными и экономическими), а не антропологическими характеристиками отдельных правонарушителей [Гернет 1922: 30–32]⁵⁴. Утевский подчеркивал:

⁵⁴ Утевский также отмечает, что задачи и подходы Государственного института отличались от таковых зарубежных криминологических организаций, например, в Буэнос-Айресе и в Брюсселе. См. [Утевский 1926: 570].

Широта поставленных ему задач, научно-практический характер его работ, марксистский метод, положенный в основу его трудов — все это делает Государственный институт по изучению преступности первым и пока единственным учреждением подобного рода не только в нашем Союзе, но и в Европе и даже во всем цивилизованном мире. <...> Создание Государственного института лишним раз подчеркивает, что, несмотря на ограниченность денежных ресурсов, советское государство не только не сокращает научной работы в Союзе, но и создает новые научно-исследовательские учреждения и дает им возможность широкой и плодотворной деятельности⁵⁵.

Помимо решения вышеупомянутых задач, Государственный институт представлял советскую криминологию на международном уровне. Многие его сотрудники до революции активно участвовали в деятельности международных криминологических организаций, поэтому на них оказало сильное влияние развитие этой дисциплины за пределами России, за которым они пристально следили. Гернет полагал, что создание Государственного института будет способствовать укреплению международной репутации советской криминологии, поскольку институт станет не только первой в мире организацией с марксистским подходом к преступности, но и флагманом полного разрыва с ломброзианской криминальной антропологией. Гернет подчеркивал, что недосмотры в публикациях, равно как и неудачный выбор названий для других криминологических организаций (особенно саратовского и московского кабинетов) повлекли за собой ложное толкование сущности криминологических исследований в Советском Союзе. Будучи социологом-криминологом, он сетовал:

Московский кабинет по изучению личности преступника и преступности, выдвинувший в своем наименовании на первое место изучение личности преступника, вызвал в иностранной печати обидные предположения, что он «является продолжением дела проф. Ломброзо», что для него на первом месте стоит психиатрическое исследование. <...> К сожалению, Московский кабинет еще больше дал пищи этим ошибочным предположениям, выпустив бро-

⁵⁵ Там же.

шюру, в заглавии которой слово «преступность» совсем исчезло, а осталось одно изучение личности преступника. Еще менее удачным было наименование аналогичного учреждения в Саратове «Кабинет криминальной антропологии». Оно говорит о сужении работы, которого в действительности не было [Гернет 1922: 33].

По мнению Гернета, неудачные названия первых советских криминологических кабинетов создали им на Западе репутацию, прямо противоположную их истинной сути, да и сути криминологических исследований в СССР — они якобы намекали на связь этих организаций с ломброзианским подходом, сосредоточенным прежде всего на личности преступника. Гернет подчеркивал, что Государственный институт, что явствует из его названия, напротив, делает акцент на изучении преступности, а не преступников. Тем самым он выполняет важнейшую функцию исправления международной репутации советской криминологии и ознакомления всего мира с советскими криминологическими принципами. То, что Гернет подчеркивал «правильность» позиции Государственного института, свидетельствует, помимо прочего, о разногласиях между центром и местными криминологическими организациями в вопросах оптимальных методов и направлений криминологических исследований (социологический в противоположность биопсихологическому), равно как и о непрекращающихся спорах по поводу сути «советской» криминологии.

В штат Государственного института приглашали сотрудников разных специальностей, из разных организаций, — важен был интерес к криминологии. Среди сотрудников было много специалистов, научная работа которых была связана с преступностью или преступниками. До революции они работали врачами, психиатрами, статистиками, социологами, юристами, антропологами, педологами, судебно-медицинскими экспертами. Часто совмещали работу с преподаванием или исследовательской деятельностью в университетах и специализированных вузах⁵⁶. В деятельности

⁵⁶ В их числе, помимо прочих, были А. Я. Эстрин, Ганнушкин, Н. Гедеонов, Гернет, В. Р. Якубсон, Исаев, Краснушкин. В. И. Куфаев, П. И. Люблинский, Оршанский, Петрова, Пионтковский, Д. П. Родин, Т. Е. Сегалов, Трайнин, С. Укше (ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 100).

Института участвовали студенты юридических факультетов, в итоге некоторые из них и сами стали ведущими сотрудниками. Были среди них также представители органов власти или институтов, непосредственно связанных с законодательной системой, заключенными и психиатрическими заболеваниями⁵⁷. Практическая ориентированность криминологии подталкивала даже неспециалистов к участию в деятельности Государственного института, а значимость Института для важных вопросов социальной политики обеспечивала участие многочисленных чиновников и юристов в обсуждении тенденций в сфере преступности. Эти люди не занимались научными исследованиями в области криминологии и вносили весомый вклад не столько в ее теоретическое развитие, сколько в практическое применение. Привлечение к работе специалистов самого разного толка, сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры свидетельствует о том, какое большое значение придавалось в 1920-е годы изучению преступности, равно как и о широте охвата этой дисциплины. Государственный институт, собравший под своей эгидой профессионалов и чиновников самого разного толка и опыта, стал форумом для профессионального и кадрового взаимодействия, причем у него имелся явственный потенциал к созданию поля для свободного обмена идеями.

⁵⁷ К таковым органам и учреждениям относились Верховный суд РСФСР и СССР, Прокуратура Верховного суда РСФСР и СССР, Центральная прокуратура, Московская губернская прокуратура, Московский губернский суд (Мосгубсуд), МУР, Московская милиция, Московская коллегия адвокатов, административный отдел Моссовета, Центральная тюремная администрация, представители московских тюрем — Таганской, Сокольников и Лефортова, Институт судебно-медицинской психиатрии имени Бехтерева, Институт судебно-медицинской психиатрии и неврологии имени Ленина в Ленинграде, Московский кабинет по изучению преступности и преступника, Биохимический институт, Невропсихиатрический диспансер, Антропологический институт, Государственный институт психиатрии, ленинградский Патолого-рефлексологический институт, московский Институт педагогики и дефектологии, кафедра психиатрии Московского государственного университета (ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 100-101). См. также [Спасокукоцкий 1929: 114; Гродзинский 1926: 773-774].

Государственный институт быстро превратился в главную советскую организацию по проведению исследований в области криминологии. В силу поддержки со стороны четырех важных комиссариатов, Институт имел значительные преимущества перед другими криминологическими организациями. Широкие полномочия позволяли его сотрудникам исследовать самые разные причины и факторы преступности с самых разных сторон, а его положение центральной организации позволяло расширять влияние и задействовать ресурсы по всей стране. Кроме того, поскольку в Институте поощряли различные подходы к криминологическим исследованиям, среди сотрудников сохранялась множественность методологических подходов, хотя и провозглашался «советский» подход к изучению преступности.

При этом научная деятельность и задачи Государственного института неизменно оставались в рамках советского государственного устройства. Институт полностью зависел от доброй воли советского руководства и от доброго расположения его комиссариатов. При том, что усилиями Государственного института и других криминологических организаций сложилось своего рода чувство профессиональной идентичности, практическая ориентированность криминологических исследований и разнообразие специалистов, занимавшихся исследованиями преступлений, препятствовали развитию криминологии как однородной дисциплины, в связи с чем только усиливалась ее зависимость от государственного патронажа — нужно было постоянно обосновывать необходимость ее существования, а кроме того, это делало ее особенно уязвимой к изменениям идеологических приоритетов государства. В итоге несовместимость разносторонних подходов к криминологии со сталинской идеологией, в совокупности с изменениями в составе комиссариатов и целей режима к концу 1920-х годов, сделало продолжение исследований в области криминологии — в том виде, в каком это замышлялось сотрудниками Государственного института, — невозможным.

Заключение — криминология и гражданское общество

Сделав криминологию частью центрального государственного аппарата, Государственный институт легитимировал изучение преступности и доказал его значимость. После этого профессионалы из разных городов начали создавать собственные криминологические организации. Например, в 1926 году специалисты из Казани подали просьбу в Совнарком о поддержке создания Татарского криминологического кабинета. Пользуясь теми же доводами, с помощью которых обосновывалась деятельность Государственного института, они подчеркивали важность изучения преступности как в центре, так и на местах. Признавая, что учреждение Государственного института стало важнейшим шагом в исследовании преступности, они отмечали, что уровень научной работы в области исследования преступности остается в Татарской республике неудовлетворительным. Кроме того, говорилось в просьбе, криминологический кабинет в Казани будет помогать государству, снимет с него часть финансового бремени по содержанию заключенных, поскольку будут выработаны более рациональные пенитенциарные и уголовные меры. Казанская группа пошла даже дальше — ее представители заявили, что НКВД Татарской республики совместно с НКЮ и представителями обоих комиссариатов, а также университетов, включая местного кримиолога Б. Н. Змиева, активно участвовавшего в деятельности Государственного института, уже создали в Казани криминологическую организацию. Авторы просьбы уточняли, что казанская организация уже ведет научную деятельность и финансирования из Совнаркома просит только для расширения уже существующих начинаний⁵⁸. НКВД РСФСР поддержал просьбу казанцев, подтвердив, что у Государственного института нет планов по открытию филиала в Казани, а кроме того, что, в связи со сложившимися в Татарской республике условиями, преступность там носит особый характер, борьба с ней

⁵⁸ Письмо № 7874 от 9 июля 1926 года из ЦИК Татарской ССР в СНК РСФСР (ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 80-81).

требует многогранного подхода, для ее изучения необходимо создание специализированных организаций и НКВД Татарской республики относится к этому плану с одобрением⁵⁹.

Хотя сведений о том, к чему привел этот запрос, не сохранилось, да и свидетельств о криминологической деятельности в Казани очень мало⁶⁰, но сами по себе попытки создания Татарского криминологического кабинета свидетельствуют о том, насколько важны были государственное одобрение и финансирование для криминологических организаций, а также говорят о стремлении криминологов найти заказчиков для создания подобных кабинетов. Приводя те же доводы, что и Государственный институт, и подчеркивая свое с ним единомыслие, казанские криминологи напрямую связывали свою деятельность с целями и задачами центральной организации. Более того, специалисты по преступности демонстрировали немалую ловкость во взаимодействии с советской бюрократией и в умении занять официальный участок, на котором они могли бы заниматься своей профессиональной деятельностью. В результате к середине 1920-х годов в крупных городах по всем республикам СССР были созданы новые криминологические организации, в том числе в Баку, Тбилиси, Киеве, Харькове, Одессе и Минске; они функционировали достаточно автономно от Государственного института, но при этом полностью зависели от финансировавших их государственных органов [Shelley 1977: 91]⁶¹.

⁵⁹ Письмо от 20 июля 1926 года, подписанное Белобородовым (наркомом внутренних дел) и Ширвиндтом (главой ГУМЗ) (ГАРФ. Ф. Р-4042. Оп. 10. Д. 7. Л. 78).

⁶⁰ Змиев преподавал юриспруденцию в Казани, опубликовал в татарских и московских журналах несколько работ по преступности в Татарской республике, подчеркивал взаимосвязь преступления и этнической принадлежности. См., напр., [Змиев 1929; Змиев 1927а; Змиев 1923а]. Если в Казани и занимались криминологическими исследованиями, психиатрическое направление там явно отсутствовало.

⁶¹ Шелли пишет, что «огромный объем исследований, проведенных в местных организациях, свидетельствует об активности и организованности криминологов в 1920-е годы. Разнообразие подходов и задач указывает на либерализм, процветавший в среде интеллигентов. Стремление ученых участвовать в разработке политики нового государства и вера в возможность влиять на

В целом в переходный период интересы и интеллектуальные симпатии криминологов не противоречили государственной политике и идеологическим директивам. К началу НЭПа советское государство успело выстроить свои отношения с интеллигенцией. При условии, что интеллигенты занимались общественно-полезным «умственным трудом», способствовавшим укреплению пролетарской диктатуры, им не препятствовали в их научной деятельности⁶². Некоторое время работа криминологов попадала в эту категорию. Их исследования были посвящены поискам объяснений преступной деятельности, а государству, занятому переустройством общества, эта задача представлялась приоритетной. Более того, криминология имела прикладное значение для выстраивания пенитенциарной политики и для судебной практики. Изучая преступность, специалисты-криминологи не только вели научные исследования, но и предлагали конкретные методы и решения, которые имели особое значение для государства и достижения его целей. В итоге криминология превратилась в более или менее автономную сферу, где профессионалы могли заниматься наукой и умственным трудом, одновременно удовлетворяя потребности и нужды государства. Мультидисциплинарный характер криминологии одновременно и способствовал многосторонности криминологических исследований, и препятствовал формированию однородной профессиональной идентичности среди тех, кто занимался этой наукой, поскольку разные специалисты применяли к своим исследованиям разные дисциплинарные подходы. Надо сказать, что нежелание следовать единой «советской» криминологической методологии облегчило криминологам возможность возврата к собственным научным дисциплинам — это произошло в конце

принятие решений способствовали выбросу творческой энергии, который наблюдался в криминологических организациях, раскиданных по всей стране» [Shelley 1977: 117]. О республиканских криминологических кабинетах см. [Слупский 1929: 149–151; Зиверт 1927: 838–839; Трахтеров 1927: 126–128; Даньшин 1980; Ильина 1981: 155].

⁶² См. [Finkel 2003].

декады, когда криминология, как и другие общественные науки, оказалась мишенью все более жесткой критики.

Криминологические кабинеты и институты, созданные в 1920-е годы, оказались легитимным публичным пространством, где специалисты могли заниматься исследованиями социальных проблем. Впрочем, эти организации отнюдь не являлись советскими аналогами добровольных сообществ, которые начали формироваться в поздний период существования Российской империи⁶³. Даже при том, что они создавались по инициативе отдельных криминологов, которые искали публичное пространство для своих исследований, возникали они только с одобрения государственных органов. Более того, их члены часто занимали высокие посты в рядах советской бюрократии, стремление и готовность удовлетворять потребности государства заставляли их охотно идти на то, что в итоге вылилось в кооптацию. Поскольку они вносили непосредственный вклад в работу уголовных судов и пенитенциарных органов, а значит, и в усилия государства по направлению советского общественного развития, и были с этими органами связаны напрямую, деятельность их некорректно считать доказательством существования советского «гражданского общества». Собственно говоря, в представлениях большевиков о гражданской или общественной деятельности вообще не было места независимым организациям, которые потенциально могли превратиться в альтернативу или оппозицию власти. Активное участие в общественной и социальной работе режим поощрял только в определенных рамках, то есть до тех пор, пока такая деятельность находилась в рамках предпринимавшихся в годы НЭПа попыток справиться с «отсталостью» населения и построить новое социалистическое общество⁶⁴.

По большому счету, открытие криминологических институтов и других организаций подразумевало не только легитимацию криминологии как полноправной общественной науки, но также

⁶³ См. [Bradley 1991].

⁶⁴ См. рецензию М. Дэвид-Фокса на «Общественные организации в России в 1920-е годы» И. Н. Ильиной [David-Fox 2002].

и кооптацию ее режимом. В этом смысле эволюция советской криминологии отражает одновременно и совместимость идеологии государства-модернизатора с интеллектуальными воззрениями либеральных ученых, занимавшихся общественными науками, и процесс, посредством которого советское государство пыталось все более жестко и централизованно контролировать все сферы общественной деятельности. Своим успехом в 1920-е годы криминологические кабинеты отчасти обязаны тому, что, хотя они и участвовали в изучении социальных проблем, полная зависимость от государства ограничивала сферу их деятельности, лишала их самостоятельности, не позволяла предложить по-настоящему альтернативный взгляд на советское общество. Действительно, их опора на государство с его стремлением к централизации и колонизации отражает все более жесткие ограничения, которые налагались в СССР на научные исследования уже в середине 1920-х годов. В то же время сам предмет криминологических исследований ставил под вопрос эффективность большевистской политики и способность режима выполнить свои обещания в области общественных реформ — в итоге криминология приобретала потенциально опасный и даже подрывной характер в глазах своего спонсора-государства.

Подчеркивая важность изучения общественно-экономических условий и прочих факторов, лежащих в основе преступлений, многие криминологи сосредотачивались в том числе и на личности отдельного преступника, ратуя за одновременное использование двух этих подходов. Интерес криминологов к психологическим и биологическим исследованиям личности преступника особенно ярко проявлялся в подходах к женской преступности. Сущность и структура криминологических организаций 1920-х годов способствовала тому, чтобы криминологи продолжали объяснять женскую преступность с позиций женской физиологии и сексуальности, тем самым подкрепляя традиционный взгляд на женскую преступность и подтверждая господствовавшие воззрения на положение женщин в советском обществе.

Часть вторая

АНАЛИЗ ЖЕНСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ

Глава третья

Сфера женщины

Роль сексуальности в женских правонарушениях

На раннем советском этапе криминологи уделяли значительное внимание женской преступности. При том что, по их мнению, после построения социализма должна была исчезнуть любая преступность, сохранение женской преступности в переходный период стало значимым фактором, отражавшим как незавершенность социалистической революции на этапе НЭПа, так и неспособность женщин полноценно влиться в советское общество. Криминологи полагали, что традиционная замкнутость женщин в бытовой сфере не дает им вступать в соприкосновение со сложными реалиями общественной жизни и наемного труда — с «борьбой за существование», как это называли специалисты¹.

¹ Понятие «борьба за существование» использовалось криминологами как в дореволюционный, так и в раннесветский период. Происхождением своим оно обязано теориям Ч. Дарвина (1809–1882), изложенным в его книге «Происхождение видов» (1859), Г. Спенсера (1820–1903) и Т. Р. Мальтуса (1766–1834): речь идет о внутри- и межвидовой конкуренции за ресурсы, которая приводит к выживанию и размножению или смерти и вымиранию. Российские философы, ученые и естествоиспытатели считали идеи Дарвина, а в особенности те их элементы, которые почерпнуты из Мальтуса, не соответствующими российским условиям (особенно в связи с обширностью географического пространства Сибири в сравнении с густонаселенностью тропических регионов, где проводил свои наблюдения Дарвин). В попытках приспособить Дарвина к российским реалиям, эти ученые делали акцент на индивидуальной борьбе за выживание, зачастую — в крайне тяжелых условиях, а не на межвидовой конкуренции за ресурсы. Упор на индивидуальные способности, а не на эволюционное превосходство, придал этому понятию в русском контексте более социологическую окраску — и криминологи использовали его именно в этом ключе. О дарвиновской «борьбе» в России см. [Todes 1989; Graham 1993].

Согласно их выводам, женщины в этой связи были плохо подготовлены к тому, чтобы взваливать на себя то или иное бремя и справляться со стрессовыми ситуациями — а таковых было много по причине тяжелой жизни в период войны и изменения юридической ситуации из-за политики большевиков: женщины вышли из дома и влились в ряды трудящихся. Кроме того, криминологи подчеркивали, что женщины продолжают придерживаться дореволюционных традиций, практик и нравственных устоев, что и обуславливает их отклики на житейские проблемы. Тем не менее, специалисты были убеждены, что, когда женщины на равных с мужчинами включатся в общественную жизнь и «борьбу за существование», когда улучшится их материальное положение и они усвоят новую социалистическую мораль советского государства — а все это произойдет при переходе к социализму, — женская преступность отомрет.

Одновременно с этим криминологи подчеркивали роль женской сексуальности в преступном поведении. Женскую сексуальность напрямую связывали с репродуктивной физиологией: специалисты исходили из того, что цикл беременности, родов, менструации и менопаузы ослабляет психику женщин и делает их более подверженными как влиянию «устаревших» взглядов, так и внешнему давлению. Специалисты даже выяснили, что на совершение женщинами определенных преступлений, таких как детоубийство и мужеубийство, влияют традиционные представления о «правильном» сексуальном и общем поведении женщин: женщины пытаются найти баланс между давлением общества и своим личным опытом. В контексте раннесоветского общества, где двигателем общественных реформ была вера в способность социализма, в силу его прогрессивности, преобразовать саму суть человеческого поведения, интерпретации женской преступности, основанные на физиологических факторах, по сути, и служили объяснением упорного антисоветского поведения определенных представительниц женского пола. Советские криминологи приспособили традиционную трактовку женской преступности, основанную на потенциально деструктивной сущности бесконтрольной женской сексуальности, к новым обстоятельствам

переходного периода, выдвинув общественно-экономические объяснения, включавшие в себя элементы биологического и психологического. При том что криминологи даже хотели, чтобы женская преступность сближалась с мужской по мере включения женщин в общественную сферу и «борьбу за существование», они по-прежнему стояли на том, что основным фактором женской преступности остается неспособность женщин контролировать свои поступки и чувства в моменты сильных физиологических потрясений, как правило, связанных с репродуктивными функциями женского организма. Профессионалы не высказывали предположения, что женщины-правонарушительницы предрасположены к совершению преступлений именно по причине своих биологических особенностей, а вместо этого утверждали, что влияние физиологии ослабляет сопротивляемость женщин и мешает им рационально реагировать на проблемы. Репродуктивная сущность женщин служила дополнением к понятию женской общественной «незрелости» — результату традиционной замкнутости в домашней сфере, — в итоге криминологи получали логичное объяснение того, почему «устаревшая» мораль, толкающая женщин на преступления, все еще существует, а также находили рациональную причину якобы проявлявшейся у женщин неспособности стать полноправными участницами советской общественной жизни. Тем самым женская сексуальность оставалась основополагающим фактором в объяснении женской преступности: она определяла суть этой девиации, равно как и поле соответствующих криминологических исследований.

В этой главе будет рассмотрено, как взаимоотношения между положением женщин в обществе и их сексуальностью трактуются в дореволюционной и советской криминологической литературе. Будет показано, каково было отношение к женской преступности, сексуальности и участию в общественной жизни до Октябрьской революции, а также прослежено, как криминологи оценивали женскую преступность и как эти оценки изменились после Октябрьской революции; взаимоотношения между женской преступностью, физиологией, сексуальностью и успешными социальными реформами будут проиллюстрированы дебатами

на тему женщин-рецидивистов и проституции. Ученые XIX века считали, что женщины, в силу своей замкнутости в домашней сфере, более остро реагируют на семейные проблемы, а значит, больше подвержены общественному давлению и влиянию физиологии. Ученые призывали к социальным реформам, которые искоренили бы обстоятельства, приводящие к сексуальным aberrациям и, как следствие, к преступности среди женщин. Советские криминологи, напротив, указывали не на отсутствие улучшений в положении женщин, а на характерное для женщин сопротивление переменам. Несмотря на то, что эмансипация открыла перед женщинами новые возможности, и на веру в то, что революция введет женщин в сферу общественной жизни и «борьбы за существование» на равных с мужчинами, в работах криминологов женские преступления по большому счету сохраняли свои дореволюционные суть и свойства. Криминологи объясняли это «консервативностью» общественного положения женщин, но при этом в качестве весомого аргумента включали в свои рассуждения физиологические объяснения женской преступности, которые по большей части были сосредоточены на взаимосвязи между правонарушением и женской сексуальностью и основывались на традиционных представлениях о женщинах. Такие взгляды оказывали сильное негативное влияние на способность профессионалов усмотреть реальные перемены в жизни и поступках женщин.

Сексуальные aberrации — ранние браки в поздний период существования Российской империи

В своем исследовании литературы, посвященной женской преступности на Западе, Д. Клейн пишет, что

специфические свойства, приписываемые женской природе, равно как и свойства, на которых зиждутся теории женской преступности, носят один и тот же *сексуальный* характер. Считается, что именно сексуальность лежит в корне женско-

го поведения и подталкивает женщину к преступлению. Женщины истолкованы как сексуальные существа, часто — как сексуальный капитал, в физиологическом, психологическом и социальном смыслах [Klein 1994: 267].

Представления о сексуальной природе женской преступности возникли в более широком контексте характерного для XIX века отношения к женщинам: положение женщин в обществе и их интеллектуальные способности все теснее связывались с их сексуальностью². Более того, европейские и американские интеллектуалы XIX века исходили из того, что «у мужчин преобладают интеллектуальные свойства мозга, тогда как женское сознание и мыслительные способности находятся во власти нервной системы и эмоций» [Rosenberg, Rosenberg 1973: 334]. Врачи проводили прямую связь между функционированием женской репродуктивной системы и состоянием нервной системы, приходя к выводу, что изменения в одной отражаются на другой и «дисбаланс» в репродуктивной системе толкает на преступное или патологическое поведение, которое может принимать формы истерии и иных психических aberrаций³. Соответственно, всех женщин они считали «пленницами циклического функционирования их тел, большого репродуктивного цикла, ограниченного пубертатом и менопаузой, а также более краткими, но при этом повторяющимися циклами вынашивания детей и менструаций». В рамках этого подхода, женская сексуальность определяется физиологическими циклами, она же определяет роль женщин

² Рост интереса к науке и медицине, изучение и анализ женского тела представляли «научное» обоснование мифов об исконной природе женщин и представлений о причастующей женщинам роли в обществе. См. [Jordanova 1989; Moscucci 1990; Groneman 1995].

³ Врачи видели в истерии, наряду с умственной дегенерацией, проявление женской сексуальности, способное подтолкнуть на преступные действия. Как отмечает, объясняя причины kleptomании, Э. Абельсон, «женская сексуальность превращалась в активную силу, слепо преследующую собственные цели, внешнюю по отношению к нормальным ритмам женского тела» [Abelson 1989: 199]. О связи истерии с преступлениями см. также [Harris R. 1988; Matlock 1994].

в обществе, их умственные способности, психическое и физическое здоровье [Rosenberg, Rosenberg 1973: 335–336].

В своих рассуждениях о женской преступности российские криминологи тоже подчеркивали роль физиологии и репродуктивной функции. Отталкиваясь от портрета женщин, нарисованного Ломброзо и его современниками-европейцами, российские исследователи видели в женщинах кормилиц и матерей, жизнь которых сосредоточена в домашней сфере, а природные материнские и моральные качества служат сдерживающим механизмом для потенциально патологической сексуальности. Как писал юрист и криминолог Фойницкий, женщина — это «наша мать, жена, сестра или дочь <...> производительница поколений, хранительница традиций, первая и главная воспитательница человека и лучшая его отрада» [Фойницкий 1893: № 2, 123]. В традиционной русской культуре подчеркивается важность брака и семьи в жизни женщины, тем самым ее роль и смысл жизни определяются через репродуктивные функции⁴. Совершаемые женщинами преступления, согласно ожиданиям криминологов, должны были происходить именно в этой сфере — как реакция на мучающие женщин бытовые проблемы. В то же время, особенно совершая тяжкие преступления в отношении родственников, женщины действовали вразрез с тем поведением, которое предписывалось им согласно идеалам материнства, и в этой связи действия их несли в себе угрозу дестабилизации общества. Соответственно, отношение к женским правонарушениям и к положению женщины в обществе оставалось внутренне противоречивым. Как это ни парадоксально, те же самые силы, которые должны были удерживать женщину в пределах «нормального», делали ее потенциальной преступницей. Женская сексуальность (точнее — способность к деторождению) являлась одновременно и стабилизатором нравственности, и катализатором преступности. Если посмотреть с этой точки зрения, традиционное положение женщины создавало специфические сложности, которые

⁴ См., в частности, [Engel 1995; Engel 2004; Engelstein 1992; Hutton 2001; Воробец 1991].

толкали ее на преступление, но при этом именно традиционное положение, то есть нравственные устои, сдерживали ее сексуальность, равно как и преступные наклонности.

По мнению криминологов XIX века, женщины легче и в большей степени, чем мужчины, подпадали под влияние собственной сексуальности именно потому, что были теснее связаны с бытом и семьей. Как отметил один исследователь,

У женщины, вследствие более тесного круга ее деятельности вообще, половое чувство и связанные с ним волнения и аффекты занимают гораздо большую часть ее внутреннего мира, чем у мужчины. <...> Все названные преступления в большей своей части вытекают из тех или других ненормальностей или осложнений половой, а также семейной жизни. Тяжесть этих осложнений или отклонений от обычного, нормального типа гораздо чувствительнее отзывается на женщине, как более зависимом сравнительно с мужчиной и менее способном к самостоятельности существе, что и увеличивает для женщины вероятность совершения столь тяжких преступлений, как детоубийство и убийство близких лиц, несмотря на то, что вообще преступность женщины значительно уступает преступности мужчины [Итоги 1899: 143–144].

Если посмотреть с такой точки зрения, то привязанность женщин к дому и определяющее влияние семьи способствуют усилению роли сексуальности в их жизни. В результате проблемы в этой сфере женщины переживают куда острее, чем мужчины, и более склонны остро на них реагировать. Реакции проистекают не из изначально патологического характера женской сексуальности, а из физиологических aberrаций, которые возникают как следствие привязанности женщин к дому. С одной стороны, женская сексуальность укрепляет нравственные устои женщин, с другой — aberrации в сексуальных и психологических функциях толкают женщин на преступление.

Поскольку женской сексуальности приписывалась важная роль в компенсации женских преступных наклонностей, в XIX веке разговоры о ее правильном развитии и совершенствовании

занимали важное место в рассуждениях о женской преступности. Многие специалисты в области медицины и юриспруденции полагали, что половая активность до наступления зрелости, то есть до пубертата, вредна и для мальчиков, и для девочек. И если мальчиков может затянуть такая вредоносная вещь, как онанизм, влияние преждевременной половой инициации на девочек потенциально даже опаснее⁵. Русские психиатры считали пубертат и менструацию «физическим, психологическим и нравственным проявлением», играющим важнейшую роль в становлении женской сексуальности. Они полагали, что в после достижения половой зрелости у женщин формируется мощный материнский инстинкт. Если женщина становится сексуально активной еще до пубертата, это, как им представлялось, может привести к катастрофическим результатам: разрушить ее здоровье и потенциально довести до временного умопомрачения и преступных действий [Brown 1986: 377–378].

Российские ученые усматривали прямую связь между ранним началом половой жизни и склонностью женщин к преступлениям. Например, врач и криминальный антрополог Тарновская сосредоточилась именно на этом в своем исследовании женщин-убийц [Тарновская 1898: 147–149]. Она указывает, что многие крестьянки, совершившие убийство, были выданы замуж в очень раннем возрасте — либо до наступления половой зрелости, либо по ходу полового созревания. Она отмечает, что, по крестьянским традициям, девушке положено вступать в брак в возрасте около шестнадцати, и подчеркивает, что как раз в это время у крестьянских девушек и начинается половое созревание, и поскольку взрослеют они медленно, то полной половой зрелости достигают только к девятнадцати или двадцати, а в некоторых случаях и к двадцати двум годам. По ее мнению, ранний брак негативно сказывался на сексуальном, психическом и духовном развитии

⁵ Особую озабоченность у российских сексологов вызывала мастурбация и ее негативные последствия с точки зрения сексуальной гигиены и здоровья, особенно у детей. Та же озабоченность сохранилась и в советский период. См. [Шмуклер 1897; Якобсон 1928; Озерецкий 1927; Bernstein 2007].

женщины, повышая вероятность того, что впоследствии она совершит убийство детей или мужа. Более того, Тарновская подчеркивала, что мужеубийства преимущественно совершают женщины, вступившие в брак до достижения половой зрелости. Для таких женщин — многих из них выдали замуж насильно — трудности семейной жизни и ощущение, что из сложной домашней ситуации нет выхода, зачастую заканчиваются тем, что они убивают своих супругов.

Тарновская отмечает, что девиации от «правильного развития полового чувства» чаще всего проявляются в мужеубийстве. Те, кто их совершает, чаще всего равнодушны к половому акту, и это равнодушие, даже если оно и носит временный характер, зачастую приводит к истерии и порождает склонность к насилию [Тарновская 1898: 133–137]⁶. По мнению Тарновской, такая женщина представляет собой «несчастное, недоразвитое существо, нередко с честными задатками, отзывчивое к добру и имеющее лишь один прирожденный недостаток — отсутствие полового чувства». Само по себе это не преступление, утверждала Тарновская. Такие женщины пусть и склонны к противоправным действиям, однако не стали бы совершать убийства, если бы у них не было нарушено сексуальное равновесие. Иными словами, не будь раннего брака и слишком ранней сексуальной инициации, их ничто не толкнуло бы на путь преступления [Тарновская 1898: 147–149].

Согласно рассуждениям Тарновской, корень женской преступности кроется именно в сексуальности. «Половое чувство в жизни каждого человека играет несомненно важную роль», — утверждает она, при этом полагая, что сексуальные самоограничения — «важное условие культуры и возвышения человеческой личности» [Тарновская 1898: 147]. Подчеркивая, что крестьянки достигают половой зрелости достаточно поздно (в сравнении с городскими жительницами, которые взрослеют быстрее, к четырнадцати-пятнадцати годам), Тарновская делает акцент на «примитивности» сельских жительниц, на том, что даже сексу-

⁶ Советские медработники продолжали считать ранний брак формой патологического сексуального поведения. См. [Bernstein 2007].

альные функции у них развиваются замедленно. «Примитивная» сексуальность крестьянок для нее — убедительное объяснение того, почему эти женщины часто совершают тяжкие преступления, отступая от «эталона» женского поведения. Поскольку, заключает она, крестьянок выдают замуж еще до достижения ими половой зрелости, склонность к насилию у них объясняется тем, что на их тело до срока возлагают слишком тяжелое сексуальное и физиологическое бремя. В итоге ответственность за совершение крестьянками тяжких преступлений полностью возлагается на их сексуальность, на «отсталый» обычай заключать ранние браки и на «примитивность» сельских жительниц.

Кроме того, Тарновская утверждает, что раннее начало половой жизни отрицательно сказывается на репродуктивных способностях женщин. Вступление женщин в брак и в половые отношения до половой зрелости не только несет в себе опасность детоубийств, совершенных молодыми матерями, но и ставит под удар здоровье будущих поколений. Основываясь на исследованиях из области биологии и зоологии, Тарновская проводит параллель между крестьянками и животными, отмечая, что в животном мире молодые самки рожают «слабое, хилое, малоустойчивое поколение» [Тарновская 1898: 133]⁷. Она обнаружила, что подобным же образом крестьянки, которые вступили в брак рано, до полного физиологического созревания, рождали более слабых детей и не имели сил должным образом за ними ухаживать. Это приводило к более высокому уровню детской смертности и более низкой рождаемости среди крестьян [Тарновская 1898: 133]⁸. Из работ биологов Тарновская почерпнула идею, что потомство полностью развитых, здоровых и сильных женщин способно скомпенсировать любые биологические (или генетические) пороки, имеющиеся у отцов; при этом ранние браки и недоразвитие женщин в половом смысле всегда будут сказываться на детях

⁷ Интерес к зоологии и сравнения животного мира с человеческим сохранились и после революции. См. обсуждение эндокринологии и евгеники в [Bernstein 2007: 43–59, 171–175].

⁸ Тарновская отмечает, что в среднем около 27 % детей в России не доживали до одного года; в приютах для подкидышей эта цифра достигала 70–90 %.

крестьян [Тарновская 1898: 134]. Получается, что ранние браки не только вредны для женщин, так как заставляют их начинать половую жизнь до наступления зрелости, но и вызывают генетическую деградацию последующих поколений. Тем самым Тарновская подчеркивает ту жизненно важную роль, которую женщины играют в прогрессивном развитии человечества от поколения к поколению. Она убеждена, что необходимо изменить подход к браку в крестьянской среде, чтобы искоренить раннюю половую жизнь у женщин и тем самым обеспечить здоровье и жизнестойкость потомства⁹.

В своих работах на ту же тему политэконом и преподаватель И. Х. Озеров использовал более выраженный социологический подход к проблеме ранних браков и женской преступности. В отличие от Тарновской, которую прежде всего интересовало половое развитие крестьянок, Озеров занимался социальным окружением, в котором оказывались после вступления в брак молодые женщины. Согласно его рассуждениям, женщины часто совершали тяжкие преступления в отношении членов семьи — мужей, детей и родственников, — поскольку жертвы в нужный момент оказывались под рукой и именно на них можно было сорвать свое раздражение. Озеров считал, что жесткую реакцию, направленную против членов семьи, порождают определенные «отклонения» в положении этих женщин после замужества, и, подобно Тарновской, особо указывал на широко распространенную практику насильственной выдачи молодых девушек замуж [Озеров 1896: 59–60]¹⁰. Он подчеркивал, что эта практика не

⁹ Упор на здоровье и силу крестьянства, возможно, обусловлен убеждениями российских интеллигентов XIX века, в особенности народников, о неспорченности крестьян и важности этого класса для будущего русской нации. Хотя более раннее половое развитие рабочих может говорить об их более передовой и современной сущности, озабоченность дегенерацией городского рабочего класса отрицала любые положительные толкования этого феномена и отражала в себе ощущение того, что нужно сосредоточить все усилия на сохранении здоровья крестьян.

¹⁰ Н. Пушкарева отмечает, что молодых женщин часто склоняли к несчастным бракам ради повышения общественного и экономического статуса. См. [Pushkareva 1997: 235].

только деморализует женщин, но и отрицательно сказывается на «моральных инстинктах» будущих поколений. Чтобы этого избежать, нужно с особым вниманием подойти к «сфере женщины» с целью искоренить «ненормальные условия брака и семьи» [Озеров 1896: 59–60]. Первопричину женских преступлений против членов семьи Озеров усматривал не в степени их половой зрелости, а в уровне нравственного развития, того, насколько они способны исполнять «естественную» материнскую роль. Если условия жизни в семье и браке препятствуют нравственному развитию женщины, это ведет к дестабилизации как семьи, так и общества. Соответственно, подчёркивал Озеров, необходимы реформы, которые позволят сохранить нравственное здоровье женщины и улучшить ее положение в семье.

Более того, Озеров считал, что брак создает для женщины определенные границы, удерживающие ее в рамках дома и сужающие диапазон преступных намерений. Например, женщина, вступив в брак, достигает экономической стабильности, и это лишает ее стимулов совершать имущественные преступления. При этом стабильность

покупается слишком дорогой ценой для женщины — такими тяжелыми условиями новой семейной жизни <...> преступная энергия замужней женщины уменьшается <...> но не пропадает совсем, а частично, благодаря ненормальным общественным условиям, в более сконцентрированной форме сосредоточивается на членах нового ее брачного союза, где и разряжается убийством, отравлением и т. д. [Озеров 1896: 66].

Брак улучшает положение женщины, обеспечивая ей социальную и экономическую стабильность, однако он же заставляет ее еще сильнее сосредоточиться на домашней сфере, создавая ситуации, в которых потенциально патологическая женская сексуальность способна толкнуть на тяжкие преступления.

При том что Тарновская и Озеров подходили к вопросу с разных сторон, оба делали акцент на положении женщин в быту, указывая, что реформированию подлежат скорее традиции и законы, свя-

занные с браком, чем место и роль женщины в обществе. Как пишет Клейн, подобный взгляд на женскую преступность «отражает и закрепляет экономическое положение женщин как производительниц и домашней прислуги» [Klein 1994: 267]. Женщины сексуальны: их задача — рожать детей. Если нечто — например, слишком раннее начало половой жизни — мешает нормальному исполнению этой роли, женская сексуальность способна, потенциальным образом, подтолкнуть женщину к насилию. Подобные трактовки женской сексуальности мешали исследователям взглянуть на женщин как на людей, способных рационально реагировать на ситуацию, в которой они оказались, и подтверждали, что «правильное» место женщины в обществе — у домашнего очага.

Примечательно, что из рассуждений как Тарновской, так и Озерова вытекает настоятельная необходимость общественных реформ с целью улучшить положение женщины в семье и искоренить те факторы (несчастливый и слишком ранний брак), которые создают ситуации, подталкивающие женщин к насилию. С точки зрения обоих исследователей, причиной женских преступлений является не женская сексуальность сама по себе, а, скорее, те правовые и социальные условия, которые способствовали формированию ненормальной сексуальности. Соответственно, эти исследования женской преступности можно считать попыткой инициировать общественную дискуссию по вопросу о положении женщин в российском обществе, равно как и призывом к социальным реформам. В исследованиях подчеркиваются важнейшее место семьи и традиционная роль женщин как просветительниц следующего поколения и одновременно делается акцент на специфических условиях домашнего быта, которые толкают женщин на уголовные преступления. Отсюда вытекает необходимость перемен, даже перечисляются определенные преимущества, которые можно будет извлечь из повышения статуса женщин, но при этом не подвергается сомнению традиционная роль женщин в обществе и то, что женская физиология и «отсталость», скорее всего, послужат ограничивающими факторами в процессе модернизации. Исследователи ратуют за реформы, но при этом не призывают к революции в области гендерных ролей, скорее дела-

ют упор на то, что следует изменить правовые и брачные практики и тем самым дать женщинам возможность лучше исполнять свои исконные роли в семье и обществе.

Борьба за существование

Призывы к социальным реформам и отказу от ранних браков служили отражением растущего интереса к «женскому вопросу» в России конца XIX века. В борьбе за равные права точки соприкосновения находили женщины как либеральных, так и радикальных убеждений. Все большее число образованных женщин проявляли себя в медицине и преподавании — областях, которые представлялись совместимыми с традиционной ролью женщины-матери, но одновременно заставляли женщину более тесно контактировать с публичной сферой и расширяли ее общественные связи. Кроме того, индустриализация и урбанизация ставили под вопрос традиционное понимание подходящих занятий для женщин: все больше представительниц рабочего класса зарабатывали за пределами дома и в результате делались все более заметными для исследователей¹¹. Озабоченность женской преступностью стала откликом на эти тенденции и на явственный рост присутствия женщин в публичной сфере¹².

Российские криминологи единодушно ожидали того, что в результате более активного вовлечения женщин в жизнь общества и в «борьбу за существование» женская преступность станет более разнообразной. Они полагали, что с ростом числа открывающихся женщинам возможностей возрастет и вариативность женских преступлений. Криминологи усматривали в диверсификации женской преступности положительные черты, поскольку

¹¹ См. [Engel 1995; Engelstein 1988; Frieden 1981; Ruane 1991; Stites 1990]. В 1914 году женщины составляли около 32 % от всех рабочих, и в годы войны соотношение продолжало расти. К 1920 году женщины составляли до 46 % рабочих на крупных промышленных предприятиях (см. [Wood 1997: 27, 44]).

¹² О реакции на этот явственный рост вовлеченности женщин в общественную жизнь и озабоченности участием женщин в преступной деятельности см. [Frank 1996: 541–566]. Озабоченность эта существовала не только в России. О ней же в европейском контексте см. [Johnson 1985; Shapiro 1996; Walkowitz 1992].

она приблизит женщин к уровню мужчин и к типам мужских преступлений, а тем самым — к прогрессу и современности. При этом результаты исследований свидетельствовали о том, что женская преступность все же откровенно оставалась в традиционной сфере. В своем анализе криминологи по большей части сосредотачивались на тех преступлениях, которые считали типично женскими, то есть связанных с женской сексуальностью и происходивших в домашней сфере — именно такие преступления женщины и совершали чаще всего. Приверженность криминологов традиционным представлениям о границах женской преступности до определенной степени ставила под вопрос потенциальный прогресс, которого они ожидали в связи с все более активным присутствием женщин в публичной сфере, и укрепляла представление о том, что место женщины — дома.

Таблица 1. Преступления, совершенные женщинами, в процентах от общего числа, 1874–1913

Год	Процент	Год	Процент
1874–1878	8,7	1902	11,7
1889–1893	12,0	1903	10,4
1894–1896	—	1904	9,6
1897	14,3	1905–1910	—
1898	13,9	1911	6,6
1899	13,9	1912	6,6
1900	13,7	1913	6,5
1901	14,0		

Источники: Итоги русской уголовной статистики за 20 лет. С. 136; Трайнин А. Н. Преступность города и деревни в России // Русская мысль. № 7. 1909. С. 10; Вишерский Н. Распределение заключенных по полу и преступлениям // Современная преступность. С. 15. За 1894–1896 и 1905–1910 годы сведения отсутствуют¹³.

¹³ Примечание: рост женской преступности в 1880-е и 1890-е годы в процентном отношении мог быть вызван активным участием женщин в революционной и оппозиционной деятельности.

Уголовная статистика указывала исследователям на то, что участие женщин в преступной деятельности остается весьма незначительным. Действительно, в последние десятилетия XIX и первые десятилетия XX века доля женских преступлений в общем числе никогда не превышала 14 % (см. Таблицу 1). Криминологи подчеркивали, что одним из факторов, объяснявшим более низкий уровень преступности среди женщин, чем среди мужчин, является их замкнутость в домашней сфере. Они утверждали, что традиционное положение женщин в доме сужало сферу их деятельности, не позволяло активно участвовать в общественной жизни — внимание женщин было в основном сосредоточено в «сфере интимных отношений» [Озеров 1896: 59]. Более высокая нравственность и религиозность, роль матерей и кормилиц заточали женщин и их потенциально опасную сексуальность в пределах домашнего круга и заставляли их сосредоточиться прежде всего на бытовых проблемах. Более того, как отметил один из исследователей, «привязанность женщины к домашнему очагу и сравнительно малая ее подвижность вследствие меньшей физической силы и энергии проявляется в слабом ее участии» в преступлениях, поскольку это требует вовлеченности в общественную жизнь [Итоги 1899: 143]¹⁴. Ученые считали, что замкнутость женщин в домашнем кругу сокращает масштаб и диапазон женской преступности, при том что изменения общественно-экономических условий заставляли предположить, что женская преступность может вырасти.

Кроме того, криминологи считали, что концентрация женской преступности в рамках домашней сферы делает женщин менее подверженными криминальному влиянию. Например, женщина «имеет меньше поводов к яростным вспышкам, чем мужчина», поскольку изоляция не позволяет им выработать в себе решительность и осмотрительность, свойственные мужчинам [Тар-

¹⁴ Фойницкий также отмечал, что более низкий уровень женской преступности объясняется привязкой к дому и хозяйству. См. [Фойницкий 1893: № 2, 134].

новский 1886)¹⁵. Озеров даже отмечал: «чтобы совершать тяжелые преступления, надо иметь более силы воли, надо более участвовать в жизни, чтобы борьба за существование ставила человека в неизбежные условия разрешать жизненные затруднения путем преступления» [Озеров 1896: 51]. Поскольку женщины не принимали полноценного участия в общественной жизни, опасность подпасть под криминальное влияние для них была меньше. «Женщина, — продолжал Озеров, — менее участвуя в активной жизни, реже имея нужду бороться за кусок хлеба, лучше сохранила свои нравственные качества, и преступные инстинкты не нашли в ней такой благоприятной почвы для развития, как в мужчине» [Озеров 1896: 83].

Однако изоляция женщин приводила к тому, что когда они все-таки начинали участвовать в общественной жизни, то куда легче ломались под ее давлением. Женщины, утверждали криминологи, как правило, куда хуже подготовлены к участию в «борьбе за существование». При том, что жизненные трудности и материальные потребности влияли на уровень как женской, так и мужской преступности, традиционная замкнутость женщин в домашней сфере приводила к тому, что внешние обстоятельства оказывали на них куда более сильное воздействие. Озеров подчеркивал, что это

объясняется меньшей устойчивостью женщины, меньшей ее закаленностью: в характере женщины много еще есть детского, юношеского, она скоро поддается всем внешним влияниям, как благоприятным, так и неблагоприятным, и не в состоянии их взвесить. На нее впечатления действуют подобно вихрю или бурливой реке, с стремительным течением которой у ней нет сил справиться, и она как утлый челн быстро несется по ветру волнами общественной жизни; нет течения — и она останавливается. <...> Итак, мы видим, что женщина есть существо с особым психическим складом, и грубая действительность нашей экономической

¹⁵ Цит. по: [Фойницкий 1893: № 2, 134].

жизни и крайняя ненормальность семейных условий ее жизни действуют на нее так же губительно, как наши осенние заморозки на летний цветок [Озеров 1896: 81].

Соответственно, при том что традиционное положение женщин служило своего рода щитом, защищавшим их от криминального влияния, оно же усиливало их слабость и уязвимость со стороны тягот «борьбы за существование», равно как и связанных с этим искушений преступного характера.

При этом криминологи полагали, что женщины рано или поздно преодолеют эти слабости и тогда их преступная деятельность сблизится с мужской. Фойницкий, например, отмечал, что «чем шире круг жизни и деятельности женщины, чем больше и разнообразнее сумма потребностей материальных и духовных <...> тем выше ее преступность, тем более и в этом отношении она приближается к мужчине» [Фойницкий 1893: № 3, 111]. Криминолог Гернет также считал, что «чем более жизнь женщины приближается по своим условиям к жизни мужчины, тем более приближается и ее преступность своими размерами к мужской» [Гернет 1974а: 253–254]. На той же позиции стоял и Озеров: «езде, где мы видели более активное участие женщины в жизни, мы видели и повышение ее преступности» [Озеров 1896: 82]. Более того, он отмечал, что «преступность женщин под влиянием развития промышленной жизни сильнее повышается, чем мужская» [Озеров 1896: 51]. Соответственно, криминологи сходились в том, что, вступив в «борьбу за существование», женщины выйдут за пределы традиционной домашней изоляции, станут более активно участвовать в общественной жизни и, соответственно, их преступное поведение будет все больше напоминать мужское¹⁶.

¹⁶ Российские и советские специалисты не только были озабочены ростом уровня женской преступности по мере того, как женщины вступали в общественную сферу, но и опасались, что в силу участия в публичной жизни повысится вовлеченность женщин в разные формы девиантного поведения, такого как лесбиянство, онанизм и самоубийство — в этом они видели нежелательное следствие «прогресса». См. [Healey 2001: 143–144; Pinnow 1998: 178–195]. Об истории самоубийств в России см. [Morrissey 2007; Паперно 1999].

Обоснованными ли были представления криминологов о предполагаемых изменениях в женской преступности? Что примечательно, корреляция между возросшими экономическими возможностями и женской преступностью постоянно встречается в криминологической литературе, посвященной женским правонарушениям¹⁷. Например, теории преступности, отталкивающиеся от модернизации, подчеркивают связь между индустриализацией и ростом уровня преступности¹⁸. При этом фактические данные свидетельствуют о том, что рост доступных женщинам возможностей не всегда служит адекватным объяснением роста женской преступности и не обязательно приводит к ее всплеску. В исследовании преступности в Германии XIX века Эрик Джонсон пишет, что, когда, в результате индустриализации и урбанизации, женщины стали активнее участвовать в общественной жизни, уровень их преступности увеличивался далеко не всегда, а вот вероятность стать жертвой преступления неизменно повышалась. Он предполагает, что, вероятно, более активное участие женщин в деятельности вне дома воспринималось как угроза сложившемуся мужскому миропорядку, и мужчины агрессивно реагировали на подобный «выпад» против их доминирования [Johnson 1985: 171]. Аналогичным образом в исследовании Х. Борич и Д. Хейгана, в котором рассматривается преступность в Торонто на рубеже веков, говорится, что вступление женщин в ряды наемных работников совсем не обязательно вело к значимому росту женской преступности, однако могло вызвать изме-

¹⁷ Эта теория оказалась в криминологии чрезвычайно живучей и в XX веке. Например, в исследованиях женщин-правонарушительниц в США в 1970-е годы изменения в уровне женской преступности связываются с движением за освобождение женщин. См. [Chesley-Lind 1986: 79]. См. также [Hartnagel 1982]: автор проводит связь между модернизацией и уровнем женской преступности и обнаруживает, что, вопреки ожиданиям, модернизация не вызывает видимого роста женской преступности.

¹⁸ Криминологи XIX века проводили такие связи, поскольку видели угрозу правопорядку со стороны растущего рабочего класса в промышленных городах. Некоторые исследователи отмечают корреляцию между модернизацией и уровнем преступности, однако подобные теории нередко подвергались критике. См. [Zehr 1976; Johnson 1995].

нения в числе арестов и судебных разбирательств, отсюда — якобы рост женской преступности. Обстоятельства, превращавшие женщин в наемных работников, создавали, по мнению Борич и Хейгана, «стимул для изменения официального государственного контроля за женщинами, а также для создания полномасштабной системы неофициального общественного контроля» [Boritch, Hagan 1990: 595]¹⁹. С. Фрэнк подтверждает, что схожая ситуация имела место и в России — он пишет, что «изменение в структуре занятости женщин и всплеск патерналистской и нравственной озабоченности такими изменениями явственно повлияли на то, за какие преступления женщин судили и осуждали» [Frank 1996: 542]²⁰. Соответственно, хотя женщины в России, видимо, действительно совершали правонарушения самого разного рода, их наиболее последовательно и часто обвиняли в традиционных «женских» преступлениях — то есть поступках, которые наиболее отчетливо шли вразрез с общепризнанной предписанной ролью женщин как матерей.

Вне зависимости от потенциального воздействия «модернизации» на женскую преступность, статистика, собранная российскими криминологами, лишней раз убеждала в традиционном характере женской преступности. Согласно данным с 1874 по 1878 год, только 8,7 % от общего числа преступников составляли женщины. К 1889–1893 годам произошло увеличение до 12 % [Итоги 1899: 136]²¹. Несмотря на достаточно значительный рост, типы преступлений, за которые женщин отдавали под суд, оста-

¹⁹ Борич и Хейган также отмечают, что рост числа женских преступлений против собственности служит отражением маргинализации женщин, а не улучшения их экономических перспектив [Boritch and Hagen 1990: 569].

²⁰ О взаимоотношениях между женской преступностью и модерностью в поздний период существования Российской империи см. также [Engelstein 1992].

²¹ По данным, приведенным Озеровым, с 1879 по 1885 год женщины составляли до 12,9 % всех преступников, то есть их было в 7,7 раз меньше, чем мужчин. Данные за 1897–1904 годы, приведенные Трайниным, указывают, что женщины составляли 12,7 % всех преступников. Гернет отмечает, что между 1903 и 1906 годами только 9,3 % правонарушителей составляли женщины, при этом среди осужденных местными судами женщин было 13,6 % [Озеров 1896: 48; Трайнин 1909: 10; Трайнин 1910: 464; Гернет 1974а: 250].

вались неизменными. С 1876 по 1886 год именно женщины были признаны виновными в 98,6 % детоубийств, 69,7 % отравлений, 41,6 % случаев убийства супруга и 17 % домашних краж, и при этом — только в 5,5 % подлогов и 2,9 % ограблений. К 1890-м женщины составляли 98,5 % осужденных за детоубийство, 68,7 % осужденных за отравление, 45 % — за убийство супруга, 2,4 % за подлог и 3,3 % за ограбление²². Статистика свидетельствует о том, что следователи и криминологи продолжали опираться на традиционные определения «женских» преступлений. Более того, рост уровня женской преступности, при том что типы совершенных женщинами преступлений оставались неизменными, свидетельствует о том, что женщин наиболее часто арестовывали и судили за традиционные женские преступления (детоубийство, аборт, мужеубийство и так далее) — за те самые правонарушения, которые несли прямую угрозу общественной стабильности, поскольку ставили под вопрос роль женщин как матерей и кормилиц. Эти цифры далеко не обязательно отражают истинный объем женской преступной деятельности, скорее по ним можно судить о представлениях полиции и судов о сущности женских преступлений и о том, каким родом деятельности женщины занимаются²³.

²² [Озеров 1896:57–58; Фойницкий 1893: № 2, 132; Гернет 1922а: 137] — во всех этих источниках указано, что в 1911 году на долю женщин приходилось до 98,9 % всех дел по оставлению ребенка. Кроме того, хотя женщины совершали лишь 3,4 % из общего числа убийств, они были повинны в 27,9 % убийств родственников. Мужчины, напротив, совершали почти все преступления, связанные с неправомерным использованием природных ресурсов, покушением на женскую честь, конокрадством и скотокрадством, кражей оружия, нанесением смертельных увечий, подделками, подлогами, почти все преступления против собственности и пр. Гернет отмечает, что мужчины чаще женщин совершали правонарушения, требующие применения физической силы, равно как и подразумевающие контакт с общественной и политической сферой, женские же преступления сохраняли замкнутость в домашней сфере.

²³ Фрэнк приводит статистику по росту числа тяжких уголовных преступлений с 1874 по 1913 год. Почти во всех случаях рост среди женщин был выше, чем среди мужчин, включая разбой (9,1 % у женщин в сравнении с 3,9 % у мужчин), сбыт краденого (18,9 в сравнении с 12,0), нарушения правил торговли спиртным и контрабанду (29,8 в сравнении с 12,4) и кражу церковного

Проведенный Фойницким уровень анализа преступности среди женщин-работниц подтверждает, что общественное положение оставалось самым значимым фактором для понимания криминологами женской преступности. По его мнению, традиционная замкнутость женщин в домашнем кругу приводит к более острой неудовлетворенности и заставляет острее переживать бытовые проблемы, что в итоге и толкает женщин на убийство. При этом Фойницкий полагает, что наемный труд способен снизить уровень женской преступности: «Домашний очаг, таким образом, отнюдь не ограждает женщину от преступлений, лучшим средством против которых, по крайней мере при современных условиях нашей жизни, оказывается для нее именно труд» [Фойницкий 1883: № 2, 142]. Он даже установил, что женщины, работающие на предприятиях, совершают преступления реже, чем домохозяйки. Некоторые историки утверждают, что труд на фабриках спасал женщин от уголовных преступлений, поскольку у них появлялась своего рода социальная поддержка²⁴. Фойницкий, напротив, судя по всему, полагает, что женщина, которая ушла из дома и отказалась от своего традиционного положения в обществе, будет реже совершать традиционные «женские» преступления, напрямую связанные с домашней сферой: в результате создается иллюзия уменьшения числа женских преступлений. Для Фойницкого расширение диапазона преступности среди женщин-работниц служило отражением процессов, которые делали женщин более современными, заставляли более активно участвовать в «борьбе за существование» — и, соответственно, сближали их с мужчинами в их преступных побуждениях.

имущества (66,2 в сравнении с 5,3). Цифры свидетельствуют о значительных изменениях в женской преступности на селе в результате общественно-экономических перемен, которые не отражены в работах криминологов [Frank 1987: 74].

²⁴ О том, что рабочая солидарность, взаимовыручка, независимость и финансовая стабильность служили противовесом женской противоправной деятельности, см. [Bernstein 1995: 116–117]. То же наблюдение сделано в [Engel 1995].

Кроме того, Фойницкий считал уровень образованности женщин ключевым фактором для понимания их склонности к преступлениям. Он выяснил, что более 90 % женщин-преступниц были неграмотны — уровень куда более высокий, чем среди преступников-мужчин, равно как и в целом среди населения²⁵. Помимо этого, он отмечал, что уровень преступности выше среди малообразованных женщин и ниже среди более образованных [Фойницкий 1883: № 3, 125–126]. По мнению Фойницкого, образование служило для женщин цивилизующей силой, поскольку расширяло их представления, раскрывало новые жизненные возможности, давало новые силы. Кроме того, оно удерживало женщин от преступлений, поскольку делало их более «гуманными» — учило ценности жизни и поднимало культурный уровень [Фойницкий 1883: № 3, 128]. Соответственно, образование способствовало вступлению женщин в общественную жизнь, помогая им осознать, в каком окружении они живут, и лучше подготавливая их к «борьбе за существование». Теоретически, лучшее понимание первопричин их проблем должно было удерживать женщин от того, чтобы традиционным агрессивным образом реагировать на невзгоды семейной жизни.

Однако, хотя перед женщинами открывались новые возможности и они активнее участвовали в «борьбе за существование», криминологические описания женской преступности продолжали подчеркивать ее ограниченность. Вот что пишет историк Фрэнк:

Русские исследователи, изучавшие судебную статистику, получали готовые подтверждения того, что женская преступность носит статичный и вневременной характер, — неизменное отражение гендерных, а вовсе не экономических и не социальных факторов, устройства судов и юриспруденции или иных параметров, которые определяют или куль-

²⁵ В 1897 году читать умело около 28,4 % жителей России, мужская грамотность составляла 40,3 %, а женская — 16,6 %. Уровни были разными в городе и на селе — в городах уровень грамотности был выше (57 % в сравнении с 23,8 % в сельской местности) [Mironov 1991: 243]. О грамотности в Российской империи см. [Brooks 1985; Eklof 1987].

турно обуславливают преступление. <...> Соответственно, эти источники поставляли «научные» подтверждения мифического портрета женщины-преступницы, тем самым придавая конкретную форму нарративу, ответственному за создание этого мифа [Frank 1996: 565].

Хотя российские криминологи верили в прогрессивный потенциал вступления женщин в «борьбу за существование», их понимание природы женской преступности и представления о женщинах-правонарушительницах неизменно зиждились на традиционном взгляде на принадлежность женщины к домашней сфере.

Война, революция и НЭП

Годы Первой мировой войны, революций и Гражданской войны (1914–1921) вроде бы создали идеальный контекст и обстоятельства для того, чтобы женская преступность выбилась из привычных рамок. Условия военного времени предсказуемым образом заставили большее число женщин включиться в «борьбу за существование» — и чтобы сводить концы с концами, и чтобы заполнить рабочие места, покинутые мужчинами, которых отправили на фронт. Кроме того, Февральская и Октябрьская революции радикальным образом изменили юридическое и политическое положение женщин в российском обществе через расширение их прав и внедрение новой политики в вопросах семьи и социального обеспечения. Криминологи были единодушны в том, что эти перемены должны отразиться на женской преступности, и ждали роста как числа, так и разнообразия преступлений, совершаемых женщинами, поскольку теперь жизненные обстоятельства вынуждали их участвовать, подобно мужчинам, в «борьбе за существование», а законодательство к этому подталкивало. В годы войны уровень женской преступности действительно вырос, но к середине 1920-х годов уже был сопоставим с дореволюционным периодом. Более того, доступная криминологам статистика не отражала того расширения типологии женского криминального поведения, которое они предска-

звали в связи с более широким участием женщин в общественной жизни. Тем не менее, женская преступность продолжала занимать советских криминологов раннего периода, возможно, потому, что она не изменилась так, как они этого ожидали; на попытки это понять были направлены значительные усилия. Ученые подчеркивали, что физиологические и репродуктивные свойства женщины, равно как и ее более тесная связь с семьей, препятствуют тому, чтобы она использовала вновь открывшиеся ей возможности. Криминологи видели в этом незавершенность революционного процесса в 1920-е годы.

В военные годы серьезные криминологические исследования стали, по сути, невозможными, а советская криминологическая наука всерьез сложилась только по ходу создания криминологических организаций в начале 1920-х годов, после введения НЭПа²⁶. Соответственно, именно НЭП определял контекст для криминологических дискуссий по поводу военного периода и современного общества. НЭП не только вызывал у некоторых коммунистов озабоченность судьбой революции, но и подпитывал страхи и усиливал тревоги по поводу сексуальности. Многих волновало нравственное состояние молодежи, и на эту озабоченность влияла новая политика, которая, как представлялось, содействовала сексуальной распушенности. В качестве меры противодействия, молодых коммунистов побуждали смирять половые аппетиты и трансформировать сексуальные позы в труд на благо строительству социализма [Bernstein 2007: 132; Fitzpatrick 1978a]²⁷. Другие усматривали декаданс и разложение

²⁶ По сведениям Гернета [Гернет 1922а: 37], уголовная статистика до 1914 года не собиралась, а в 1915–1917 годах собиралась и публиковалась лишь частично; процесс полностью прекратился после Октябрьской революции. Сбор уголовной статистики оставался разрозненным вплоть до создания Центрального статистического управления и Отдела моральной статистики в его составе в 1922 году. О статистических данных по раннесоветскому периоду см. [Родин 1927: 105–106; Pinnow 1998].

²⁷ В последнее время историки сосредоточились на этом ощущении тревоги в период НЭПа, особенно в том, что касалось сексуальности и сексуального поведения. См., в частности, [Bernstein 2006; Carleton 2000; Naiman 1997].

в капиталистической составляющей НЭПа [Naiman 1997: 182]. По словам одного очевидца,

до времен новой экономической политики улица большого города носила характер строгости и труда, но в последние годы она тоже порядком загрязнилась. Всякого рода рестораны и кафе, кабаре и азартные клубы, витрины роскошных магазинов и нарядные автомобили, кинематографы и пивные притягивают к себе завистливые и жадные взгляды неустойчивых юношей и девушек. Их ослепляет кажущийся блеск и великолепие улицы, и более слабые неустойчивые натуры готовы на все, лишь бы и самим участвовать в этом блеске [Василевский 1926: 19].

В данном случае в НЭПе усматривается этакое минное поле нравственного разложения и искусов — все это облегчает молодой женщине путь к порокам и преступлению. Подобные образы НЭПа подчеркивали как «опасности» капитализма, так и разлагающее влияние НЭПа на женщин: невинные, ничего не подозревающие девушки подпадают под соблазн буржуазных излишеств, в результате создаются условия, не соответствующие целям и идеалам построения советского общества.

В первые годы НЭПа криминологи, оглядываясь на годы войны и революций, подчеркивали, что этот период способствовал значительным изменениям как роли женщины в общественной жизни, так и женской преступности²⁸. Собранный ими материал свидетельствовал о том, что в нестабильной социальной и политической обстановке наблюдаются изменения в структуре женской преступности. Криминологи обнаружили, что особенно разрушительное действие на женщин оказывает война: она толкает их на более частые и разнообразные преступления. По

²⁸ Криминологи посвятили множество книг и статей влиянию войны и революции на уровень преступности. Акцент на военный период как важнейший фактор формирования картины преступности сохранялся до конца 1920-х годов, когда, в силу протекшего времени, аргументация эта стала менее убедительной. См., в частности, [Гернет 1927б; Герцензон 1926; Тарновский 1918; Родин 1926б].

словам Гернета, до войны женская преступность никогда не превышала 20 % от общего числа правонарушений, однако в 1915 году она достигла цифры в 28,6 %, а к 1916 году выросла до 33,4 %. Напротив, уровень мужской преступности в 1916 году упал на 53 % [Гернет 1926: 85]²⁹. Статистик Д. П. Родин с этим соглашался, отмечая, что, в сравнении с 1913 годом, уровень женской преступности к 1915-му вырос на 13 %, а к 1916-му — на 79 % [Родин 1926б: 176]³⁰. В этих статистических данных явственно отражается динамика жизни военного периода. Собственно, криминологи и ожидали снижения уровня мужской преступности по ходу войны. Как отмечал Гернет,

призыв в войска значительного процента работоспособного населения, находящегося в возрасте, особенно склонном к преступлению, должен был привести к уменьшению преступлений, свойственных мужчинам этого возраста. Уменьшение интенсивности промышленной жизни и вообще торгового оборота, призыв в армию людей, занятых в промышленности и торговле, должны были повлечь уменьшение также числа преступлений, свойственных мужчинам [Гернет 1974а: 309]³¹.

Поскольку общая численность мужчин-гражданских сократилась, соответственно, выросло относительное число преступлений, совершаемых женщинами. Кроме того, женщинам пришлось выполнять многие виды традиционно «мужской» работы, а это, в соответствии с логикой «борьбы за существование», оставляло их один на один с ситуациями, способствующими совершению

²⁹ Значительное снижение числа совершенных мужчинами преступлений было особенно заметным в категории преступлений против личности. Вишерский отмечал, что уровень женской преступности вырос с 17 % в 1912 году до 24 % в 1916-м. Различие можно объяснить и тем, что авторы использовали разные статистические источники. Тем не менее, общая картина остается неизменной. См. [Вишерский 1927: 11].

³⁰ Родин отмечает, что в основном речь идет о мелких правонарушениях, связанных с военными условиями. В [А. Г. 1927: 369, 371] указано, что в 1917 году уровень преступности был в четыре раза выше, чем в начале века.

³¹ См. также [Родин 1926б: 176].

преступлений: они попросту пытались свести концы с концами. По словам Гернета, мировая война

предъявила спрос на женщину-работницу даже и в таких отраслях занятий, о каких за год перед тем не думали и самые горячие поборники женского равноправия, и женщина оказалась и на посту блюстителя порядка на площади города, и вагоновожатой трамвая, и шофером, и пожарным. <...> Новые сферы труда открыли и новые возможности правонарушений. Заменяв призванных в войска мужчин, женщина интенсивно вступила в борьбу за существование, становившаяся с каждым годом труднее, и, вместе с тем, стала заменять мужчину в преступности [Гернет 1927б: 120]³².

Что касается преступных действий, годы войны освободили женщин из пределов домашней сферы и традиционных типов правонарушений. Более того, вследствие демобилизации после Гражданской войны среди женщин возник высокий уровень безработицы. Эти факторы способствовали постоянному росту женской преступности, насильственным путем бросая женщин на ту самую «борьбу за существование», о необходимости которой давно говорили дореволюционные криминологи.

Кроме того, криминологи предсказывали, что затеянные большевиками радикальные перемены, целью которых было превращение России в социалистическое государство, дополнительно расширят рамки женской преступной деятельности. «Октябрьская революция, — писал юрист В. Д. Меньшагин, — поставила женщину на равное место с мужчиной» [Меньшагин 1928: 60]. Психиатр Ю. В. Ходаков отмечал:

Революция, с раскрепощением и приобщением ею женщины к общественной жизни, с ее колоссальным переустройством юридических и моральных норм, господствовавших в жизни прежней женщины, казалось бы, должна была разорвать этот заколдованный круг, и это, в первую очередь, должно было отразиться на женской преступности [Ходаков 1923: 87].

³² См. также [Родин 1926б: 186–187], где приведен список различных преступлений, совершенных женщинами во время войны.

Действительно, как объяснял Гернет, с окончанием Гражданской войны и сдвигом к социалистическому строительству и НЭПу был принят целый корпус законов, которые не просто «реформировали», но «революционизировали» положение женщин. Отмечая, что «женщина тем более походит по своей преступности на мужчину, чем больше походит на него по своему социальному положению», Гернет высказывал уверенность в том, что женщины, по достижении социального равенства, будут совершать преступления куда более широкого спектра [Гернет 1927б: 134]:

Эти возрастающие проценты женской преступности нико-го не должны ни смущать, ни пугать. Это такой же неизбежный и неминуемый этап в развитии преступности женщины, какой был в свое время и в преступности мужчины, когда она, в соответствии с самим укладом общественной жизни, теряла свой примитивный однообразный характер и становилась с каждым днем все разнообразнее и «богаче» своим содержанием [Гернет 1927б: 136–137]³³.

Криминологи усматривали в большем разнообразии женской преступной деятельности положительную, прогрессивную тенденцию, проявление того, что женщины активнее взаимодействуют с внешним миром, становятся более «цивилизованными», расширяют свои горизонты — и нестрашно, что при этом возрастает уровень их преступности и возникают новые типы криминального поведения. Гернет отмечал, что «постепенное завоевание женщиной прав и расширение области применения ее труда приводят к увеличению ее преступности. Но было бы совершенно неправильно выдвигать это возрастание преступности как довод против равноправности женщины и мужчины» [Гернет 1906: 142]. Тем самым он хотел сказать, что, подталкивая женщин к более активному участию в общественной жизни и, соответственно, к более разнообразной и богатой преступной деятельности, большевики, средствами своей эмансипации, сумеют тем самым свести на нет женские физиологические препо-

³³ См. также [Гернет 1931: 135–136].

ны и домашнюю изоляцию — женщины в итоге превратятся в современных советских гражданок. Соответственно, женская преступность служила маркером, позволявшим криминологам измерять темпы движения женщин к социализму.

Анализируя тенденции в женской преступности, о которых писали криминологи 1920-х годов, Шелли отмечает, что рост числа женских правонарушений стал результатом «непреднамеренных криминологических следствий войны и революции <...> в совокупности с действиями советских властей, которые сознательно вторгались в пределы того, что оставалось традиционной ролью женщины в российском обществе» [Shelley 1982: 266]. Согласно выводам Шелли, женщины оказались не подготовлены к волне насилия и к хаосу, которые им пришлось пережить в годы войны, равно как и к финансовому бремени, которое их вынудило на себя взвалить. Это, в сочетании с новообретенным пониманием того, что они имеют право самостоятельно распоряжаться своей жизнью (результат большевистской эмансипации), заставило женщин взять дело в свои руки — в результате выросло число совершаемых ими убийств и прочих преступлений. Шелли полагает, что преступления стали для женщин своего рода отдушиной: некоторые преступали закон, поскольку видели в этом «единственный выход из невыносимой экономической и психологической ситуации»; некоторые использовали преступления как возможность «дать выход накопившемуся раздражению после многолетнего давления со стороны мужчин» [Shelley 1982: 284].

Из проведенного Шелли анализа женской преступности в первые послереволюционные годы видно, какое воздействие оказали на жизнь женщин суровость и нестабильность революционного периода, равно как и изменения в нравственной и социальной политике, инициированные большевиками. Шелли подчеркивает влияние открывшихся женщинам новых возможностей в общественной, экономической и политической жизни на структуру женской преступности, воспроизводит предсказания советских криминологов касательно ожидавшихся изменений в женском криминальном поведении. Кроме этого, в качестве фундаментального фактора, позволяющего объяснить рост женской преступно-

сти после революции, она отмечает интерес нового режима к женским вопросам. При том, что большевики инициировали целый ряд мер, которые значительным образом изменили роль и статус женщины в российском обществе, эти их действия находились скорее в русле общей социалистической идеологии, чем в струе сознательного стремления решить «женский вопрос»³⁴. Переселения военного периода, финансовая нестабильность и перемены в общественной жизни, безусловно, оказывали влияние на уровень женской преступности. Однако, сосредоточившись в своей научной работе на традиционных «женских» преступлениях в домашней сфере, криминологи тем самым подчеркивали неизменный характер женской противоправной деятельности, демонстрируя свои понятия об общественной роли женщины и свое понимание воздействия революции на женскую преступность.

В криминологическом анализе преступности в период после революции семейная и домашняя сфера оставались центральными факторами, толкавшими женщин на преступление и определявшими типы совершаемых женщинами преступлений — тем самым устанавливалась прямая взаимосвязь между женской преступностью и женской сексуальностью. Гернет, к примеру, отмечал, что по ходу и после войны значительно возросло число женщин, которым были вынесены приговоры за особо тяжкие преступления. Он обнаружил, что, хотя женщины составляли всего 15 % от общего числа осужденных за преступления против личности, между 1922 и 1924 годом число женщин, приговоренных за такие преступления, выросло более чем на 59 % в сравнении с куда более скромным — но при этом достаточно значительным — ростом на 15,5 % среди мужчин [Гернет 1927б: 127]³⁵. Гернет подчеркивал, что, несмотря на расширение контактов женщин с общественной сферой в военные и послевоенные годы, особо тяжкие женские преступления сохраняли довоенные свойства: аборты, детоубийства и пренебрежение материнскими

³⁴ О «женском вопросе» и большевиках см. [Stites 1990; Wood 1997].

³⁵ Согласно приведенной Гернетом статистике, женщины совершали до 15,4 % особо тяжких преступлений в 1922 году и 16,6 % в 1924-м.

обязанностями оставались основными преступлениями против личности, которые совершались женщинами [Гернет 1927б: 129]³⁶. Уровень преступности убеждал криминологов в том, что «проживание лишь в семейном кругу и ограничение интересов половою сферой определяет свойство женской преступности, уменьшая ее количественно и суживая рамки ее качественных различий» [Гернет 1922а: 136]. Соответственно, поскольку женщины продолжали существовать в рамках домашней сферы, женская преступность оставалась прочно укорененной в сексуальности — женщинами руководили их физиология и репродуктивные циклы. Как отметил один исследователь, «ее физические особенности и социальные условия предreshают ее меньшее участие в преступлениях вообще и в наиболее серьезных в особенности» [Якубсон 1927: 33].

Для объяснения преобладания традиционных «женских» форм преступности среди правонарушительниц в послереволюционные годы, многие исследователи прибегали к биологическому анализу женской физиологии. Эндокринолог А. В. Немилев в своей довольно спорной работе «Биологическая трагедия женщины» указывает, что биологические различия между мужчиной и женщиной препятствуют серьезным изменениям в статусе женщины, несмотря на попытки достижения равенства между полами, а также что «понять жизнь женщины и женскую душу можно, только исходя из названной биологической базы» [Немилев 1927: 47]³⁷. Соответственно, объяснения женской преступности следу-

³⁶ Хотя в 1920 году аборт были легализованы, под действие закона попадали только аборты, одобренные комиссией и проведенные врачом в медицинском учреждении. Все остальные случаи искусственного прерывания беременности подвергались уголовному преследованию. Об абортах и детоубийствах см. Главу 5.

³⁷ Согласно Немилеву, «биологическая трагедия» женщины была следствием из ее физиологических особенностей, которые, по словам Бернштейн, представляли собой «сложное научное обоснование женского неравенства и интеллектуальной неполноценности» [Bernstein 2007: 55]. Найман утверждает, что Немилев связывал женскую сексуальность с неспособностью женского тела, унаследованного от прошлого, к изменениям: оно якобы сопротивлялось попыткам большевиков полностью преобразовать реальность [Naiman 1997: 192-194].

ет искать не только в общественно-экономической сфере, но также в контексте влияния женских физиологических функций на женское поведение. Как отмечает юрист Жижиленко,

вообще же следует заметить, что все явления, тесно связанные с половой жизнью женщин, отражаются на ее преступности. Период беременности, роды, послеродовой период, период их прекращения, так назыв. климактерический — все это должно быть принято во внимание при анализе женской преступности [Жижиленко 1922: 26].

С ним согласен В. Л. Санчов: «Уже давно доказано, что некоторые моменты половой жизни (в особенности у женщин — регулы, беременность, роды и климактерический период) специфически влияют на психику индивида и толкают его на преступные деяния» [Санчов 1924: 34]. Немиллов добавляет, что если некоторых женщин менструация толкает на капризы, у других ее влияние принимает более паталогические формы, вызывая временное умопомрачение, толкая на совершенно иррациональные преступления и даже на самоубийство [Немиллов 1927: 90]. Во всех этих рассуждениях физиология выступает центральным фактором объяснения женской преступности, поскольку, хотя женские сексуальные функции исследованы хуже, чем мужские, переживания женщин отличаются большей эмоциональностью, а значит, теснее связаны с женской психологией, на которую оказывают влияние репродуктивные циклы [Сегалов 1910: 808–809].

Проблема, которая возникла в 1920-е годы с биологической теорией женской преступности, заключалась в детерминизме этой теории. Если вину за женскую преступность можно возложить за женскую сексуальность, значит, противоправное поведение нельзя ни скорректировать, ни искоренить, поскольку оно является органической частью женской физиологии. Это до опасного близко подводило криминологов к ломброзианским представлениям о прирожденных преступниках: получалось, что каждая женщина — потенциальная правонарушительница. Подобное толкование женской преступности в советском контексте являлось неприемлемым именно в силу того, что преступность,

как порождение определенных общественно-экономических условий, должна была исчезнуть после построения социализма. Кроме того, советская пенитенциарная система ставила перед собой задачу исправления преступников через труд и просвещение. Полностью биологический взгляд на женскую преступность подрывал основные принципы советского проекта, делая исправление женщин-преступниц невозможным.

При этом биологический подход очень нравился большинству специалистов по преступности, в особенности — врачам и психиатрам: это явствует из того, как были организованы криминологические учреждения (см. Главу 2). До определенной степени, биологический подход отражал в себе озабоченность по поводу НЭПа. Страх перед потенциальным провалом советского эксперимента сосредоточился на женщинах как представительницах устаревшего образа жизни, в силу своей биологии не способных перековаться в советских гражданок³⁸. Впрочем, достаточно часто криминологи усматривали в физиологии сопутствующий фактор преступных наклонностей и неотъемлемую составную часть толкований преступности. А. С. Звоницкая, например, утверждала, что понимание физиологической природы правонарушителя совершенно необходимо для понимания социологических причин преступления, и наоборот [Звоницкая 1924: 92]. Жижиленко добавлял: «Мы, тем не менее, не можем отрицать <...> что в определенных случаях [причиной] выступает пол, как фактор индивидуальный» [Жижиленко 1922: 27]. По мнению специалистов, истолковать женскую преступность можно было только с учетом и физиологических, и общественно-экономических предпосылок.

Исследования особо тяжких преступлений, совершенных женщинами, позволяли криминологам дополнительно акцентировать ту органическую связь, которую они усматривали между женскими физиологическими реакциями и общественно-материальным положением женщин, которое толкало их на противо-

³⁸ В [Naiman 1997: 181–207] сделан упор на положение женщин в идеологии НЭПа.

правные действия против самых близких людей — родственников. С точки зрения криминологов, тяжкие преступления против членов семьи являлись особенно типичными правонарушениями, совершаемыми женщинами. По их мнению, женские биологические и физиологические циклы способствовали противоправным действиям, поскольку обостряли эмоциональные реакции и толкали женщин к агрессии по отношению к окружающим. Согласно статистике, собранной криминологом С. А. Укше, в 1923-м году женщины составляли лишь около 15,5 % всех заключенных московских тюрем, при этом убийц — 36,3 % [Укше 1924: 44]³⁹. Укше подчеркивала, что убийство, особенно мужей и родственников, женщины, замкнутые в своем семейном кругу, совершают чаще любых других особо тяжких преступлений, кроме криминальных действий против детей [Укше 1926: № 2–3, 101].

В исследовании случаев мужеубийства, выполненном в 1926 году, Укше подчеркивает психологическую составляющую женской преступности и роль брака и ревности в таких правонарушениях. В частности, Укше рассматривает случай Д., двадцатилетней женщины из семьи образованных петербургских банкиров. После смерти матери и эмиграции отца Д. осталась без родственников, переехала в Псков, вступила там в комсомол, познакомилась с партийцем из рабочих и вышла за него замуж. Через год после свадьбы Д. обнаружила, что у мужа есть любовница. Через полгода муж бросил ее, заявив, что им нужно развестись — семейная жизнь отвлекает его от партийной работы. Д. на тот момент была на четвертом месяце беременности. Она по-прежнему любила мужа, стала после работы подкарауливать его возле его дома и особенно воспылала ревностью, когда квартирная хозяйка показала ей нежную записку его любовницы. Потом Д. купила пистолет. 12 апреля 1924 года Д. пришла к мужу и выдвинула ему ультиматум: либо он к ней возвращается, либо она покончит с собой. После долгого разговора, во время которого она просила как минимум дать ей денег на жизнь — на это он предложил

³⁹ Эта статистика основана на небольшой выборке из 22 мужчин и 8 женщин-убийц.

ей продать пальто — она взяла пистолет и застрелила его [Укше 1926: № 4–5, 103–105]⁴⁰.

Анализируя это преступление, Укше подчеркивает, что в момент убийства Д. находилась под влиянием физиологических и эмоциональных факторов:

Преступление совершено в состоянии сильного аффекта, вызванного постепенным нарастанием раздражения против мужа, ревностью, бессонной ночью и ясно выраженным желанием мужа покинуть ее в тот момент, когда она особенно нуждалась в его поддержке и внимании. Несомненно, что на силе аффекта должна была отразиться ее беременность [Укше 1926: № 4–5, 105].

Нельзя исключать, что на крайность Д. толкнули тяжелые материальные обстоятельства, однако, согласно рассуждениям Укше, она совершила преступление под прямым влиянием своего эмоционального состояния, усугубленного физиологическим воздействием беременности. Укше заключает, что мужеубийство следует объяснять «не столько социальными причинами, сколько душевным волнением, вызванным изменой любимого человека» [Укше 1926: № 4–5, 106].

То, что при трактовке совершенных женщинами особо тяжких преступлений, связанных с домашней сферой, криминологи опирались на доводы физиологического и психологического характера, соответствует их пониманию женской природы и тесной связи женщины с семейным кругом. Куда более удивительно то, что упор на физиологию они делали даже в тех случаях, когда женщины совершали типично «мужские» преступления. Поскольку женщины якобы становились более похожи на мужчин в силу своего более активного участия в общественной жизни и «борьбе за существование», упор на женскую физиологию при объяснении не типичных для женщин преступлений — например, растрат — свидетельствует о том, что среди профессионалов

⁴⁰ Д. осудили на восемь лет за предумышленное убийство, потом сократили срок до трех лет.

по-прежнему преобладали традиционные взгляды. Согласно теориям криминологов, рост участия женщин в таких преступлениях, как растрата, следовало трактовать как постепенное расширение диапазона женской преступности. Общее число обвинений в растрате выросло с 29,2 % от всех должностных преступлений в 1924 году до 49,1 % в 1925-м [Герцензон 1928: 79]. Криминологи выяснили, что в 1924 году женщины составляли 16,8 % от всех растратчиков — незначительный рост в сравнении с 12,6 % в 1922-м [Гернет 1927б: 135]. В целом число должностных преступлений в 1926-м почти утроилось в сравнении с 1922-м, при этом число растрат увеличилось четырехкратно, так что к середине 1920-х установление практических причин и сущности растраты превратилось в один из приоритетов криминологических исследований [Герцензон 1929: 26]⁴¹.

В своих объяснениях поступков женщин-растратчиц криминологи сосредотачивались не на материальной нужде, уровне образования или новообретенной вовлеченности в общественную жизнь, но на женской физиологии, сексуальности и патологических импульсах. Вот красноречивый пример, о котором пишет психиатр А. Н. Терентьева: пятидесятилетнюю С. признали виновной в растрате средств, принадлежавших ее нанимателю — деньги она проиграла в казино. Как сообщает Терентьева, на момент ареста С. работала секретаршей в московском представительстве Чеченской республики, в обязанности ее, в частности, входило хранение наличности. Поскольку помещение не

⁴¹ В 1926 году в Государственном институте по изучению преступности и преступника был опубликован сборник статей, где анализировались растрата и растратчики. См. [Растраты 1926]. О растратчиках и борьбе с растратами см. также [Чалисов 1927; Полянский 1926; Стельмахович 1925]. В 1925 и 1926 годах ряд статей о растратах был также опубликован в журнале «Пролетарский суд». Отчасти рост числа растрат мог быть связан с усилением преследований за это преступление в связи с попытками поставить под надзор и контроль разрастающийся советский бюрократический аппарат (преступлению было дано новое определение, расширившее его рамки), а также в связи со стремлением государства сосредоточить в своих руках все экономические ресурсы. Об экономических преступлениях в период НЭПа см. [Борисова 2003; Борисова 2006].

охранялось, С. часто брала деньги домой. В октябре 1925 года она получила зарплату в размере 200 рублей, а также взяла домой 1500 рублей из кассы. В тот день, сразу после работы, она отправилась в казино играть в карты. Свои 200 рублей она проиграла быстро, а потом, понемногу, и все деньги работодателя. Она вышла из казино и вернулась домой в состоянии паники: рвала на себе волосы, билась головой о стену. Однако через некоторое время все прочие чувства вытеснило одно желание — и дальше играть в карты и забыть обо всем остальном. Ее «неприятное чувство страха, ужаса как-то быстро переходило в половое возбуждение», и пока она ехала на трамвае, легкие толчки вызвали сильнейшую физиологическую реакцию, которая завершилась оргазмом. С. никому не сказала, что проиграла деньги, и после этого стала проводить в казино все вечера. Утратила стыд, честь и самоуважение, продала все свои вещи, бралась за любую работу, а все деньги проигрывала. Из-за своей пагубной страсти начала красть. Пока начальник был в отъезде, украла с работы еще 8500 рублей и спустила их в казино. В итоге она была арестована и приговорена к трехлетнему тюремному сроку.

По мнению Терентьевой, у С. был шизофренический темперамент с элементами импульсивной психопатии, а также патологический половой инстинкт с элементами садизма. Исследовательница полагала, что ряд жизненных невзгод, в том числе — смерть любимого мужа и длительная болезнь, ослабили организм С. и сделали ее избыточно импульсивной. При этом основную роль в усугублении ее состояния сыграла сексуальность, поскольку «чем больше росла страсть к карточной игре, тем больше увеличивалась и половая патологически-повышенная возбудимость». Терентьева пришла к заключению, что причиной преступления стала развившаяся до степени патологии сексуальность, а также то, что «конец климакса, а он у 50-летней женщины не за горами, будет обозначать конец ее влечений и общественную безопасность» [Терентьева 1927]. Соответственно, С. может встать на путь исправления, но только после того, как утратит способность к деторождению. Выступая на суде, Терентьева подчеркнула па-

тологические черты личности обвиняемой. При этом в отчете о судебном заседании, опубликованном в журнале для судебных работников «Пролетарский суд», особый упор сделан на виновности работодателя С., взявшего на работу женщину, с которой познакомился в казино, и потом часто оставлявшего ее без надзора [Кандинский 1926: 12]⁴². В обоих описаниях этого преступления первопричиной его выступает женская сексуальность, а на первый план выдвигается сексуальная патология женщины, приобщившейся к общественной жизни, но оставленной без присмотра. Даже когда женщины совершали преступления, которые не смогли бы совершить, не получив более свободного доступа к «борьбе за существование», криминологи по-прежнему предлагали объяснения женской преступности, которые снимали с женщин обвинения, перекладывая вину на их физиологическую и сексуальную сущность и неукротимые страсти, которые и толкают на противоправные действия.

Женщины-рецидивистки

Уровень женского рецидивизма служил для криминологов красноречивым подтверждением взаимосвязи между женской преступностью, женской физиологией и вовлеченностью женщин в «борьбу за существование». Плохое знакомство с реалиями общественной жизни и замкнутость в домашней сфере мешали женщинам участвовать в преступной деятельности с той же активностью, что и мужчины; при этом если женщины все-таки попадали в преступный мир, им, по наблюдениям криминологов, труднее было вернуться к честной жизни. В итоге статистика показывала, что число повторных преступлений среди женщин было в относительном выражении выше, чем среди мужчин —

⁴² Кандинский отмечает, что через полгосда С. сама пришла в милицию и была приговорена к шести годам изоляции с поражением в правах, впоследствии срок был сокращен до одного года. Каким был приговор в действительности, проверить невозможно.

для криминологов это служило доказательством того, что женская «более слабая» природа, «врожденные» преступные наклонности, равно как и общественное положение, делали задачу перевоспитания преступниц и полноценного включения женщин в жизнь советского общества куда более сложной.

Рецидивизм оставался для криминологов и судов серьезной проблемой на протяжении всех 1920-х годов, поскольку служил показателем неспособности советской пенитенциарной системы успешно перевоспитывать всех заключенных. Советская пенитенциарная система, построенная на принципах прогрессивизма, пыталась возвращать правонарушителей к нормальной жизни через исправительный труд и приобщение к культуре⁴³. Уровень рецидивизма отражал в себе недостатки пенитенциарной системы, а также сложности, связанные с превращением преступников в честных граждан. Однако в то же время уровень рецидивизма говорил о том, что определенные правонарушители несут в себе большую «общественную опасность», чем другие, а значит, заслуживают более жесткого наказания. Согласно криминологической статистике, хотя подавляющее большинство преступников в ранний период существования советского общества нарушили закон впервые, от 10 до 20 % заключенных попали за решетку не в первый раз. Около 25 % от этого числа имели за плечами две и более судимостей [Тарновский 1925: 53]⁴⁴. Рецидивисты, как правило, редко получали короткие сроки, чаще — длительные

⁴³ О советской пенитенциарной теории и системе см. [Adams 1996; Solomon 1980; Wimberg 1996]. Соломон отмечает, что прогрессивный советский подход к пенитенциарной политике «опирался на снисхождение и дифференциацию. Снисхождение отражалось в выборе, во всех допускающих это случаях, наказаний, не предполагающих лишения свободы <...> использования коротких тюремных сроков <...> и ориентации тюремного режима на реабилитацию, а не на наказание и ограничения. Дифференциация предполагала жесткое разграничение разных типов преступников» [Solomon 1980: 196].

⁴⁴ Тарновский выяснил, что приблизительно 10 % преступников из сельской местности и почти 20 % городских преступников были, по данным статистики за 1924 год, рецидивистами. К концу 1924 года уровень рецидивизма определялся в 9,9 %: 9,3 % у мужчин и 13,1 % у женщин [СОД 1925: 55].

(см. Таблицу 2). При этом разница в наказании для рецидивистов и лиц, совершивших преступление впервые, оставалась минимальной. Например, что касается убийц, на счету у которых уже был ряд преступлений, разница в сроке заключения становится очевидной, только если речь идет о самых суровых наказаниях: около 25 % получали срок в 8–10 лет, при том что в случае первого преступления цифра эта была менее 10 % (см. Таблицу 3).

Таблица 2. Длительность тюремного срока, разбивка по числу приговоров и половой принадлежности, 1926

МУЖЧИНЫ				ЖЕНЩИНЫ		
	Первая судимость	Одна предшествующая судимость	Несколько судимостей	Первая судимость	Одна предшествующая судимость	Несколько судимостей
До полугода	35,0	26,3	20,0	45,1	34,3	26,6
От полугода до года	15,6	18,8	23,1	19,2	29,2	30,7
1–2 года	13,9	18,8	22,8	11,0	17,8	22,3
2–3 года	11,5	11,1	11,8	8,4	9,3	9,5
3–5 лет	11,2	11,1	9,8	7,3	3,9	4,4
5–8 лет	6,4	7,2	6,1	4,6	1,4	1,6
8–10 лет	4,2	5,0	5,5	1,8	2,1	1,6
неизвестно	2,2	1,7	0,9	2,6	2,0	3,3

Источник: М. Кесслер. Имущественные преступления по данным переписи 1926 г. // Современная преступность. С. 54.

Таблица 3. Тюремные сроки за убийство, разбивка по рецидивизму и половой принадлежности, 1926

	Первое правонарушение		Повторное правонарушение	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
3 месяца	0,3	0,9	0,4	1,8
3–6 месяцев	0,8	4,9	0,5	—
От полугода до года	3,6	9,0	1,2	3,6
1–2 года	9,8	15,0	3,2	10,9
2–3 года	19,2	14,1	15,8	10,9
3–5 лет	26,8	26,1	19,4	23,6
5–8 лет	30,6	23,3	36,1	25,6
8–10 лет	8,9	6,7	23,2	23,6

Источник: А. Шестакова. Преступления против личности // Современная преступность. С. 64–65.

Некоторые криминологи приписывали высокий уровень рецидивизма большому количеству коротких сроков, назначенных судом. По мнению пенолога Б. С. Утевского, короткий срок заключения лишь нарушает течение жизни правонарушителя, не давая ему или ей времени исправиться под воздействием тюремного режима. Данные тюремной переписи за 1926 год показывают, что свыше 50 % заключенных проводили в тюрьме меньше года (5,3 % проводили меньше месяца) — Утевский считал, что за этот период они успевают разве что лишиться работы, что, разумеется, способствует совершению новых преступлений, но этого недостаточно, чтобы превратить их в сознательных советских граждан. Он рекомендовал более активно прибегать к штрафам и альтернативным методам наказания, замещая ими короткие сроки заключения [Утевский 1928: 42; Утевский 1927: 1281]. Это совпадало с общими целями тех, кто отвечал за пенитенциарную политику — внедрять более прогрессивные принципы наказания, — а также с растущей заинтересованностью в исполь-

зовании принудительного труда, штрафов и иных альтернативных административных санкций вместо тюремного заключения⁴⁵. Несмотря на желание сократить число правонарушителей, приговоренных к реальному тюремному сроку, криминологи все же видели определенное положительное воздействие исправительных мер, применявшихся в тюрьмах, особенно в части повышения грамотности, в частности среди рецидивистов. Утевский отметил, что в 1926 году 83 % заключенных были грамотными — куда более высокий процент, чем в целом среди населения, а среди рецидивистов грамотность достигла 86 %, а в некоторых группах преступников доходила до 95,4 % [Утевский 1930: 85–85].

Однако еще сильнее, чем высокий уровень грамотности среди рецидивистов, криминологов занимал вопрос женского рецидивизма. При том что в целом процент женщин-преступниц остался после революции достаточно невелик в сравнении с числом преступников-мужчин, криминологи выяснили, что женщины получали повторный срок куда чаще, чем мужчины. Действительно, в 1924 году процент женщин, которые были осуждены дважды или более, в относительном значении был выше, чем мужчин, а в 1926 году уровень рецидивизма среди женщин был выше, чем у мужчин почти во всех категориях (см. Таблицу 4) [Тарновский 1925: 53; Утевский 1927а]. Более того, из рецидивисток, попавших в тюрьму в 1926 году, 61 % имели предыдущие судимости, 23 % — три предшествующих ареста, а 14 % уже сидели в тюрьме четыре раза и более: достаточно заметные значения для такой небольшой, в процентном отношении, группы заключенных (в Таблице 5 даны схожие значения на 1924 год) [Утевский 1927а: 42]⁴⁶. В попытке интерпретировать эти данные, криминологи не ограничивались рассмотрением сложных общественно-экономических обстоятельств, в которых женщины оказались в пе-

⁴⁵ См. [Solomon 1980; Wimberg 1996]. Кроме прочего, к использованию административных санкций подталкивала колоссальная переполненность советских тюрем — результат устаревания материальной базы и периодических кампаний против определенных видов правонарушений (например — самогонарения), в результате которых число заключенных увеличивалось.

⁴⁶ В 1926 году женщины составляли до 5,9 % от общего числа заключенных.

реходный период, а также возможных недочетов в функционировании системы исправительного просвещения в тюрьме, — они искали объяснение женскому рецидивизму с точки зрения врожденной склонности женщин к преступной деятельности, возникающей по причине их общественного положения и физиологии.

Таблица 4. Уровень рецидивизма у мужчин и женщин, 1922 и 1926

	1922		1926	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Контрреволюция	—	—	9,6	11,4
Должностные преступления	—	—	9,6	12,2
Преступления против личности	—	—	12,4	13,1
Преступления против административного порядка	—	—	19,4	31,8
Имущественные преступления	—	—	40,5	43,2
Для отдельных видов преступлений				
Убийство	25,9	9,0	6,7	7,7
Ограбление	34,0	23,5	7,5	16,0
Растрата	—	—	11,0	6,6
Подлог	36,1	0,0	15,9	27,1
Самогоноварение	18,3	26,6	47,6	69,0
Кража	41,3	48,7	71,9	67,5

Источник: Утевский Б. С. Современная преступность по данным реписи мест заключения // Административный вестник. 1928. № 1. С. 41; Утевский Б. С. Преступность и рецидив // Современная преступность. 1927. С. 42; Утевский Б. С. Возраст и грамотность рецидивистов // Современная преступность. Т. 2. 1930. С. 83; Куфаев В. И. Рецидивисты (повторно-обвиняемые) // Преступный мир Москвы. С. 106.

**Таблица 5. Число рецидивистов,
1924 (в процентах)**

	В сельской местности		В городах	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Без предыдущих судимостей	80,2	78,8	68,1	72,3
С предыдущими судимостями	9,7	11,1	19,5	18,8
Неизвестно	10,1	10,1	12,4	8,9
Из лиц с предыдущими судимостями				
Одна предыдущая судимость	82,4	74,4	76,9	73,3
2–3 предыдущие судимости	15,3	25,6	20,0	25,2
4 или более предыдущих судимостей	2,3	—	3,1	1,5

Источник: Тарновский Е. Н. Основные черты современной преступности // Административный вестник. 1925. № 4. С. 53.

Данные тюремной переписи женщин-рецидивисток за 1926 год Утевский рассматривает в двух статьях, опубликованных в 1927-м и 1928-м, подчеркивая, что «женщина скорее делается привычной преступницей» [Утевский 1927а: 42]. По его мнению, более высокий уровень рецидивизма среди женщин указывает на то, что женщине, ставшей частью преступного мира, покинуть его сложнее, чем мужчине [Утевский 1928: 41]. М. Кесслер указывает на ту же тенденцию, отмечая: уже давно установлено, что «деклассированным» женщинам сложнее вернуться к честной жизни [Кесслер 1927: 53]. Утевский также пишет, что женщины с легкостью привыкают к уголовному образу жизни и, практически не имея иных возможностей после выхода на свободу, быст-

ро возвращаются к старому. Именно поэтому, подчеркивал он, женщины нуждаются в более масштабных исправительных мерах по ходу заключения и в более объемной поддержке после освобождения [Утевский 1927а: 42]⁴⁷. С этим согласен и еще один исследователь, он подчеркивает влияние женской физиологии на женскую преступность и утверждает, что женщины, как и дети, нуждаются в отцовской опеке:

При настоящих условиях женщине, раз попавшей на путь преступности, труднее расклассироваться, чем мужчине. Если прибавить к этому тысячелетиями выработывавшуюся пассивность женской психики и высокий процент среди женщин преступниц <...> задерживающие центры которых расшатаны алкоголизмом и ненормальной половой жизнью, то станет ясно, что стремление к автоматическому сокращению сроков исправительно-трудового воздействия в отношении женщин так же не рационально, как и в отношении несовершеннолетних [С. Б. 1928: 114].

Хотя криминологи и понимали, что женщины, получившие судимости, оказывались в крайне тяжелых социально-экономических условиях, женский рецидивизм они напрямую связывали с психологическими и физиологическими особенностями женщин, полагая, что женщины-правонарушительницы органически не способны к исправлению. Например, говоря о количестве рецидивистов среди бандитов и грабителей, Утевский отмечает, что если среди мужчин число повторных правонарушений составляло 45,9 %, то среди женщин цифра была совершенно невероятная — 55,8 %. Ошеломленный этим Утевский писал:

Даже при разбое и грабеже, этом, казалось бы, чисто мужском преступлении, где нужны сила и риск, бесстрашие и жестокость, умение владеть оружием и спокойно проливать чужую кровь, женщина впереди мужчин. <...> Поисти-

⁴⁷ Эффективность деятельности советской тюремной системы по реабилитации как после первого, так и после повторного правонарушения пока не изучена.

не причудливая игра женской психологии, совмещающей крайнюю мягкость с крайней жестокостью и беспощадностью [Утевский 1927а: 47].

Он приходит к следующему выводу:

З то время как участие женщин в преступности во много раз меньше, чем у мужчин, склонность к повторной преступности у них значительно выше. Причину этого справедливо усматривают в двух моментах: в особенности женской психики, с одной стороны, и в окружающей среде, — с другой. Женщина труднее вступает на путь преступления, но однажды вступив на него, ей труднее сойти с этого пути. Сила привычки, консервативность психики более свойственны женщине, чем мужчине. К тому же дурные влияния находят в мягкой пассивной женской психике более благодарную почву. С другой стороны, женщине, совершившей преступление и побывавшей в тюрьме, труднее реклассироваться, труднее получить возможность честного заработка. Косность и предрассудки обывателей с большей силой клеймят побывавшую в тюрьме женщину, чем мужчину <...> — мужчина может бросать вызов общественному мнению, женщина принуждена ему подчиняться [Утевский 1927а: 41].

С точки зрения криминологов, высокий уровень рецидивизма среди женщин в сравнении с мужчинами свидетельствовал о неспособности женщин полностью принять новый образ жизни, предлагаемый советской системой. Как выяснили криминологи, традиционная замкнутость женщин в домашней сфере и сильнейшее влияние женской физиологии мешали женщинам адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и к более активному участию в «борьбе за существование», в силу чего женщины с большей легкостью втягивались в преступный образ жизни, а исправление их протекало сложнее. Хотя криминологи знали, какие социальные и финансовые препоны стоят на пути бывших заключенных, причем их усугубляли еще и общие труд-

ности переходного периода, в своем анализе женского рецидивизма они, тем не менее, подчеркивали слабости женской природы и женские физиологические недостатки. Такие объяснения отражали и сохраняли в криминологическом дискурсе традиционные представления о положении женщин в обществе и необходимость патерналистского контроля, подкрепляя мнение криминологов касательно «отсталости» женщин.

Проститутки как преступницы

Если женский рецидивизм якобы отражал в себе закоснелость женщин, проституция являла собой наиболее явственную и публичную связь между преступностью и женской сексуальностью. Как для криминологов, так и для всех общественных деятелей проституция воплощала в себе «примитивность», с которой у них ассоциировались женщины. Ее связь с женской сексуальностью как бы сама по себе свидетельствовала о склонности к проституции, что подкрепляло представление о врожденной отсталости женщин. Кроме того, проституция воплощала в себе пережиток прошлого внутри советского общества, а также элемент буржуазной эксплуатации, который расцвел во время НЭПа пышным цветом. Для многих коммунистов и ученых проституция и связанное с ней публичное проявление женской сексуальности служили отражением самых неприглядных черт Новой экономической политики. Проституция, лежавшая на пересечении сексуальности, капитализма и преступности, обнажала перед советскими социологами и недостатки НЭПа как эксперимента, и явственную неспособность женщин преодолеть свою физиологическую ограниченность.

В раннесоветском обществе проституция являлась своего рода аномалией. Придя к власти, большевики отменили систему, регулировавшую занятия проституцией при царизме. В конце XIX века этот режим регулирования подвергался серьезной критике. Многие общественные деятели, в том числе и специалисты, возмущались изначально двойными стандартами, зало-

женными в имперскую систему регламентации. Внешне она была нацелена на сохранение общественного здоровья, поэтому проститутки — но не их клиенты — должны были регулярно проходить медицинский осмотр: в этой связи система слабо препятствовала распространению венерических заболеваний⁴⁸. Помимо этого, многие критики клеймили систему регламентации еще и за то, что она поощряла безнравственность. Например, общественная деятельница М. И. Покровская утверждала, что условия, в которых проживают проститутки, превращают женщин в алкоголичек. В борделях молодых женщин держали в узде, спаивая, при этом женщины и сами тянулись к бутылке из-за тягот своего существования и из-за унижений, которым они подвергались в ходе медицинских освидетельствований. Кроме того, Покровская связывала проституцию с безнравственностью мужчин, заявляя, что, напоив клиента, проститутки выманивают у него больше денег. Вывод ее сводится к тому, что подобное пособничество системе торговли невежественными и беззащитными молодыми женщинами намеренно не замечает самых низменных инстинктов населения, способствует распространению алкоголизма, калечит нравственность молодежи и губит

⁴⁸ Система надзора над проститутками была создана в 1843 году по прообразу европейских. Историк Бернштейн утверждает, что регламентация проституции в России возникла как способ сохранения патриархальной структуры общества через надзор над женщинами, которые существуют вне этой структуры. Женщины, занимавшиеся проституцией, получали «желтый билет», попадали под надзор полиции и регулярно проходили медицинские осмотры. Бернштейн пишет, что желтый билет, по сути, привел к созданию новой общественной категории — «публичной женщины». При том что он оберегал проститутку от домогательств со стороны полиции, они, по сути, оказывались полностью подконтрольны полиции. Кроме того, именно из-за желтого билета женщине было чрезвычайно трудно оставить это ремесло ради какой-то другой работы. После 1861 года желтый билет и система надзора стали способом надзора за всеми женщинами из рабочего класса. Полиция часто проводила облавы на женщин в общественных местах, их всех регистрировали как проститутку, тем самым, по сути, толкая их на этот путь. См. [Bernstein L. 1995: 17–18, 22, 28–29, 33–38, 40]. О проституции в поздний период существования Российской империи см. [Engel 1989; Engelstein 1988; Лебина, Шкаровский 1994; Stites 1983].

будущее страны. Борьбу с проституцией, добавляет она, можно будет начать только после отмены системы регламентации [Покровская 2002: 361]. Общественные деятели самых разных политических убеждений, от либералов до радикалов, сходились в том, что система регламентации проституции нуждается в серьезном реформировании. То есть решение большевиков упразднить эту систему пользовалось широкой поддержкой⁴⁹.

Тем не менее, придя к власти, большевики не спешили выпускать новые законы, регулирующие, легализующие или упраздняющие проституцию. Они объявили, что проституция, подобно государству, законодательству и преступности, отомрет после построения социализма. Тем не менее, проституция оставалась серьезной проблемой, и в 1919 году Народный комиссариат социального обеспечения инициировал создание Межведомственной комиссии по борьбе с проституцией, которая и должна была заняться этим вопросом. Члены комиссии, в зависимости от юрисдикции своих организаций и их приоритетов, предлагали разные подходы, от задержания проституток и тюремного срока до диспансеризации всего населения и создания «образцовых домов» для молодежи. Решения проблемы проституции комиссия так и не предложила, однако пришла к выводу, что проституток надлежит не наказывать, а исправлять и приучать к трудовой жизни [Wood 1997: 112–114]⁵⁰. Благодаря работе комиссии сформировались взгляды на проституцию в эпоху НЭПа, она же определила, как именно милиция и суды справлялись с этой проблемой.

Для большинства общественников и соратников большевиков проституция в период НЭПа представляла собой устаревшую систему капиталистической эксплуатации, которой нет места в новом социалистическом обществе. То, что проституция все еще существует, вызывало беспокойство по поводу революционного преобразования отношений между полами, служило непосредственным подтверждением декадентского характера НЭПа и указывало на сохраняющееся присутствие капиталисти-

⁴⁹ См. [Bernstein L. 1995: 267–273].

⁵⁰ О Межведомственной комиссии см. также [Левина, Шкаровский 1994].

ческих элементов и классовых врагов в советском обществе. Действительно, как утверждал один из руководителей Петросовета Б. Г. Каплун, профессиональной проституции нет места в коммунистическом мышлении. Представления о проституции как о роде занятий просто не существует. Соответственно, заключал он, «нет борьбы с проституцией, а есть борьба с женщинами, у которых нет определенных занятий» [Лебина 1999: 84]. Кроме того, большевики верили в то, что эмансипация, провозглашенная революцией, даст женщинам новые экономические возможности и у них исчезнет надобность заниматься этим родом деятельности. В логике этих рассуждений, существование проституции в период НЭПа свидетельствовало о том, что у многих людей еще сохраняется «буржуазное» мировоззрение, а материальные условия жизни еще не улучшились настолько, чтобы отвадить женщин от этого рода занятий. Наконец, криминологи связывали «паразитическую», «капиталистическую» и сексуальную сущность проституции с женской преступностью, подчеркивая взаимосвязь между женской криминальной «примитивностью», сексуальностью и проституцией.

Не следует удивляться тому, что советские криминологи связывали проституцию с преступностью. Взаимоотношения проституции с преступным миром, как в Европе, так и в дореволюционной России, были рассмотрены достаточно подробно⁵¹. Более того, некоторые криминологи XIX века, в том числе и Ломброзо, особо подчеркивали взаимосвязь между женской преступностью и проституцией⁵². Российские специалисты в целом не соглашались с трактовкой женской сексуальной девиантности, из которой следовало, что проституция является для женщин естественной деятельностью, даже одной из основных. Тем не менее, в прости-

⁵¹ См., напр., [Frank 1996; Forgacs 1992; Matlock 1994; Shapiro 1996; Walkowitz 1980].

⁵² Ломброзо отмечал: «Примитивная женщина редко становилась убийцей, но всегда оказывалась проституткой» [Lombroso, Ferrero 1895: 111]. Об отношении к проституткам и женской сексуальной девиантности в России XIX века см. [Engelstein 1992: 128–144].

туции и ее связи с криминальным миром они видели воплощение той двойственности, которая лежала в основе их понимания женской преступности как таковой. Э. Уотерс утверждает, что взгляды раннесоветских исследователей на проституцию менялись с течением времени. В годы Гражданской войны и Первой пятилетки проститутки считали вредительницами, паразитками и классовыми врагами, не желавшими участвовать в строительстве социализма. Политэкономическая ситуация НЭПа заставила исследователей прийти к противоположному выводу: что проститутки — угнетаемые и эксплуатируемые «жертвы» обстоятельств [Waters 1992: 161]⁵³. При этом, хотя в эпоху НЭПа проститутка и считалась жертвой, внимание криминологов было сосредоточено на вредоносно-преступном поведении, проистекающем из этого рода занятий: они подчеркивали несовместимость проституции с подобающим советским поведением и социалистической моралью. Подобный двойственный взгляд «жертва-злодейка» позволял криминологам видеть в проститутках одновременно и неисправимо-криминальный элемент, заслуживавший наказания, и беспомощную жертву социальных обстоятельств и упадка нравственности в период НЭПа.

Для советских криминологов и социологов проституция и проститутки служили ярким напоминанием о том, что при НЭПе старый образ жизни не отмер и даже процветает. Советские исследователи усматривали многочисленные связи между проституцией и тем, что с их точки зрения являлось «буржуазным», клеймили проституцию как паразитизм и общественную аномалию, пережиток прошлого [Лебина 1999: 82]. Считалось, что капитализм создает благоприятные условия для проституции; как отметил один исследователь, «только социальное неравенство с его эксплуатацией человека человеком, с его неравномерным распределением материальных ценностей, с его правовым неравенством полов <...> могло породить такое ужасное явление, как торговлю своим телом — проституцию» [Левин 1926: 29]. Про-

⁵³ Уотерс отмечает, что высокий уровень безработицы в период НЭПа делал малоосмысленным обвинение в том, что проститутки бегают от работы.

ституция, как утверждали криминологи, является прямым следствием общественно-экономических условий капитализма и связанного с ними морального упадка, а в советском обществе продолжает существовать в силу невысоких темпов социалистического строительства. Эти исследователи называли безработицу основным общественно-экономическим фактором, провоцирующим проституцию [Учеватов 1928: 51]⁵⁴, и одновременно подчеркивали, что искоренить эту профессию позволит только внедрение социалистических принципов. Криминолог и правовед П. И. Люблинский писал:

Правильное сексуальное воспитание, раскрепощение женщины и открытие ей свободного применения ее труда для производительных целей, свобода брака, поднятие личного достоинства в каждом человеке — должны в результате привести к отмиранию проституции в той ее безобразной форме, в какой она сложилась в эпоху капитализма и какой она отчасти сохраняется еще теперь. <...> необходимо подходить к проституции не с лозунгом полной свободы ее, а с мерами социальной политики, направленной как на устранение всего того, что способствует проституции, так и на поднятие ответственности в самом лице, занимающемся проституцией, за ту опасность, которую он причиняет обществу [Люблинский 1925: 78].

Эта самая опасность проистекала именно из выключенности проститутки из процесса производства, равно как и из ее сексуальности и криминальности. С ним согласен и еще один исследователь:

Проституция как профессия является <...> бесспорно преступлением, так как такая профессия, не создавая реальных экономических ценностей и не содействуя этому, не является общественно-ценным, общественно-полезным трудом. <...> Такая профессия есть преступление против этих [большевистских] идеалов и всего общественного строя и как таковое, как преступление, проституция при советской власти не может не быть наказуема [Эратов 1922: 5].

⁵⁴ См. также [Goldman 1993].

Для этих авторов проституция не просто порок, но еще и явное свидетельство существования пережитков капитализма и классовых врагов в обществе периода НЭПа.

Хотя криминологи и сознавали, что условия, продолжающие втягивать женщин в проституцию, созданы именно НЭПом и пока сохранившимися пережитками прошлого, они подчеркивали и то, что представительницы этой профессии — жертвы обстоятельств и заслуживают не наказания, а сочувствия. Так, криминолог Жижиленко отмечал: «Проституция признается промыслом безнравственным, но проститутка не подлежит наказанию за одно лишь занятие этим промыслом» [Жижиленко 1922: 24–25]. Социолог Л. М. Василевский придерживался той же точки зрения, поясняя, что «наш закон не карает уже по одному тому, что было бы крайне несправедливо карать ее за занятие развратом, а мужчину, который ее покупает, оставлять безнаказанным» [Василевский 1926: 76]. Вместо этого советский закон призывал к преследованиям тех, кто пользуется бесправным положением женщин, способствуя распространению проституции. Так, органы правопорядка прицельно занимались держателями борделей, которые, как утверждали криминологи, зарабатывали на эксплуатации чужого труда. Как отмечал один юрист,

закон, считая проституцию тяжелым социальным злом, отказывается от борьбы с ней путем применения мер репрессии к самим лицам, занимающимся проституцией. Все же лица, которые по мотивам корыстной заинтересованности в той или иной мере содействуют проституции, подвергаются всей тяжести уголовной репрессии за преступления [Строгович 1925: 1214].

Так в условиях НЭПа содержатели борделей превратились в «капиталистических» эксплуататоров, врагов социализма, в представителей устаревших типов поведения и пособников публичного разврата — именно их карали за проституцию по всей строгости закона⁵⁵. Тем самым ответственность за прости-

⁵⁵ Соответственно, «общественная опасность» содержателей притонов требовала строгих репрессивных мер. В одной выборке из 155 содержателей притонов 80 % получили тюремные сроки в три года, 58 % были высланы

туцию снималась как с женщин, которые ею занимались, так и с мужчин, пользовавшихся услугами проституток.

Впрочем, даже снимая с проституток вину за их деятельность, равно как и уголовную ответственность, криминологи все же считали женщин, занимающихся проституцией, ущербными. Василевский, например, отмечал, что проститутка является общественным паразитом и тлетворным элементом [Василевский 1926: 76]. Проституция, заявляли криминологи, заставляет женщину тесно контактировать с преступными элементами и ввергает ее в разврат. Отмечая, что «проституция является в этом отношении своего рода отдушиной для порочности женщины», Жижиленко писал:

[Проституция] ...притупляет в женщине моральное чувство и ведет ее постепенно к нравственному вырождению <...> Эта опасная близость профессии проститутки к профессии вора несомненно делает проститутку укрывательницей чужих преступлений, а вместе с тем нередко и соучастницей в них. Наконец, не следует упускать из виду, что сама профессия проститутки открывает ей легкий путь к имущественным преступлениям, в особенности к кражам [Жижиленко 1922: 24–25, 46]⁵⁶.

Для Жижиленко и других граница между проституткой как жертвой обстоятельств и как преступницей, заслуживающей общественного порицания, была крайне расплывчата. Как утверждал еще один криминолог, «нет профессии более темной и социально опасной, как продажа женского тела» [Геденов 1924: 28].

Особенно отчетливо взаимоотношения между проституцией, преступностью и сексуальностью обрисованы в рассуждениях криминологов о хулиганстве. Хулиганство как явление привле-

туда, где не имели возможности далее заниматься подобной деятельностью. См. [Меньшагин 1927: 178]. Меньшагин приводит такие цифры по срокам, назначенным содержателям притонов: до полугода — 4 человека, от полугода до года — 4, 1–2 года — 4, 2–3 года — 125, 3–4 года — 8, 4–5 лет — 10. См. также [Cassidy, Rouhi 1999]. Кроме того, через содержателей притонов в 1920-е годы преследовали и за гомосексуализм. См. [Healy 2001: 128–129].

⁵⁶ См. также [Геденов 1924: 28].

кало особое внимание криминологов, особенно в поздние годы НЭПа. Отчасти это было связано с озабоченностью поведением мужчин в общественных местах, особенно усилившейся после так называемого Чубаровского дела 1926 года, когда большая группа пьяных рабочих совершила групповое изнасилование молодой женщины рядом с одной из центральных улиц Ленинграда⁵⁷. Для специалистов в области социологии это нашумевшее дело ярко отразило в себе как дегенеративный характер НЭПа, так и сохранение пережитков прошлого в советском обществе. Как отмечал психиатр Оршанский, «современный мужчина далек от высоких идеалов революции» [Оршанский 1927: 60].

При этом женское хулиганство, в отличие от мужского, само по себе оставляло криминологов равнодушными. В одном из немногих исследований, посвященных женскому хулиганству, А. М. Рапопорт и А. Г. Харламова утверждают, что женщины-хулиганки не представляют собой решительно никакой общественной опасности, подчеркивая, что большинство нарушительниц общественного порядка действуют не так, как мужчины-хулиганы, то есть не организованным образом и не под воздействием алкоголя. Женское «хулиганство» чаще проявляется в форме оскорблений и драк, связанных с домашними конфликтами, ревностью, мстительностью, попытками избежать ареста, истерией и пр. Женское хулиганство напрямую связано с традиционным общественным положением женщины и ее замкнутостью в домашней сфере, а значит, не представляет той же угрозы общественному порядку, как мужское хулиганство, — озабоченность оно вызывает только тогда, когда частные конфликты выплескиваются в общественных местах. При этом Рапопорт и Харламова заходят несколько дальше и приравнивают женское хулиганство к проституции. Из 75 женщин-хулиганок, рассмотренных в их

⁵⁷ О Чубаровском деле см. [Naiman 1990]. О хулиганстве в России см. [Neuberger 1993; Weissman 1978]. Озабоченность хулиганством ощущается в донесении по поводу хулиганства и борьбы с ним, представленном в Совнарком 22 сентября 1926 года сотрудниками НКВД Белобородовым и Сергиевским. См.: ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 116. Д. 823. Л. 89–94 об. Хулиганство в раннесоветский период по-прежнему изучено очень мало.

исследовании, 20, или 26,7 %, были проститутками — эта «профессия» оказалась самой распространенной [Рапопорт, Харламова 1927: 143]⁵⁸. Более того, авторы считают, что по большей части именно женщины, уже так или иначе связанные с преступным миром, совершают хулиганские поступки, причем таких криминальных элементов среди женщин-хулиганок куда больше, чем среди мужчин. Согласно статистическим данным, 26,7 % женщин-хулиганок раньше уже имели судимость за хулиганство, 22,7 % совершали хулиганские поступки и иные правонарушения, 12 % совершали только другие преступления, а у 28,7 % не было предыдущих судимостей [Рапопорт, Харламова 1927: 145]. В сравнении со статистикой мужского хулиганства, у женщин-хулиганок чаще имелась предыстория арестов и судимостей, как за хулиганство, так и за другие преступления. Мужское хулиганство Рапопорт и Харламова считали преходящей проблемой, связанной с распитием спиртных напитков, а вот женское хулиганство представлялось им своего рода жизненным выбором, непосредственным образом связанным с проституцией. Женщины-хулиганки, по их мнению, как правило, имели связи с преступным миром [Рапопорт, Харламова 1927: 145]⁵⁹. В таком разрезе хули-

⁵⁸ В этом исследовании рассмотрены 75 дел московских хулиганок за период 1925–1926 годов. Помимо других указанных профессий, 12 (16 %) из них оказались торговками, 11 (14,7 %) — без определенных занятий, 8 (10,7 %) — безработные без образования, 6 (8 %) — ремесленницы, 5 (6,7 %) — прислуга, 4 (5,3 %) — безработные с образованием, 4 (5,3 %) — преступницы (воровки), 2 (2,7 %) — работницы, 2 (2,7 %) — работники умственного труда, про одну (1,3 %) ничего не известно. Укше [Укше 1929: 147–149] пишет, что в выборке из 46 хулиганок 15 (32,6 %) были проститутками. Из этих 15 шесть уже привлекались за хулиганство, 11 совершили правонарушение в состоянии алкогольного опьянения.

⁵⁹ Авторы отмечают, что среди хулиганов-мужчин 62 % ранее не подвергались аресту. Другие исследования подтверждают эту разницу. Утевский, рассматривая выборку преступников-рецидивистов, обнаружил, что 35,3 % хулиганок уже привлекались к ответственности неоднократно, среди мужчин таких было только 17 %. См. [Утевский 1927а: 47]. Д. П. Родин также отмечает, что при исследовании 121 проститутки в 1927 году выяснилось, что 13 привлекались за хулиганство, 11 — за кражу. См. [Родин 1927: 64–65]. В Уголовном кодексе хулиганство трактовалось одновременно и как расстройство пове-

ганство предстало ожидаемым поведением проституток, «постоянным и неизбежным спутником их жалкой жизни, пропитанной водкой, кокаином, руганью, скандалами, драками». «Проститутки, — заключали Рапопорт и Харламова, — не могут вести себя образцово» [Рапопорт, Харламова 1927: 149]. Для этих криминологов между проституцией и преступностью существовала неразрывная связь, проституция естественным, логичным и неизбежным путем вела женщин к преступлению.

То, что между женским хулиганством, преступностью и проституцией усматривалась прямая связь, объединяло общественно-экономические объяснения женских преступных наклонностей с женской сексуальностью. Эти объяснения содержали непроверяемые доказательства того, что в обществе эпохи НЭПа наличествуют пережитки прошлого, но они же указывали, что сами женщины по-прежнему не способны и не желают встраиваться в новый общественный порядок. С точки зрения криминологов, женская противоправная деятельность обнажала и отражала традиционное положение женщины с центром в домашней сфере, обусловленное женской сексуальностью. В своем исследовании гендерной ситуации в межвоенной Франции М.-Л. Робертс говорит о том, что в новом послевоенном контексте исследователи, пытаясь обосновать свою озабоченность появлением «современных женщин», подчеркивали традиционные женские свойства — домовитость и материнство [Roberts 1994]. В своих попытках истолковать и осмыслить радикальные перемены, которыми сопровождалась революция, советские криминологи также опирались на модели традиционных женских ролей, пытаясь тем самым сгладить свои тревоги по поводу женской сек-

дения, и как преступная деятельность. В Уголовном кодексе 1926 года этому правонарушению была посвящена статья 74, по которой за первичное правонарушение мог быть назначен срок заключения до трех месяцев. При этом за повторные правонарушения и в случае, если хулиган был повинен в нарушении общественного порядка, наказание могло составить до двух лет заключения. См.: Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 г. М.: Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1926.

суальности и действий государства в период НЭПа. Большевистская эмансипация (теоретически) создала для женщин новые, весьма заманчивые возможности участия в общественной жизни. При этом, подчеркивая взаимосвязь проституции и преступности, криминологи заявляли, что женская склонность к преступности осталась сексуально-обоснованной и сосредоточенной в домашней сфере. В силу их упора на «традиционную» природу женской криминальной и сексуальной девиантности, предлагаемые криминологами толкования женской преступности и проституции служили тому, чтобы развеять тревоги по поводу женской эмансипации: они гласили, что женщины остаются «отсталыми», привязанными к домашнему очагу, отданными во власть собственной сексуальности — а значит, не способными участвовать на равных в жизни нового социалистического общества.

Помимо того, что женская преступная деятельность очерчивала границы роли женщины в советском обществе, и сам по себе НЭП давал материал для толкования криминологами проституции и женских правонарушений не как общественных проблем, для которых нужно искать решения, а как побочных продуктов незавершенного революционного процесса, пока еще не искорененных пережитков старого образа жизни. Тревоги, которые вызывал переход к НЭПу, успешное строительство социализма и сохранявшиеся пережитки буржуазного капитализма делали взаимосвязь между проституцией и преступностью куда более злостной, вредоносной, угрожающей социалистическому порядку. Проституция и преступность служили мерилami расстояния, которое советскому обществу предстояло пройти до достижения идеалов революции, и ставили под вопрос успех или потенциальный успех социалистического эксперимента. Объединяя в себе бесконтрольную женскую сексуальность и антисоциалистические рыночные силы, проституция служила воплощением тревог и страхов, которые высказывали советские специалисты по поводу будущего социалистического общества.

Заключение

В обзоре литературы, посвященной женской преступности на Западе, Д. Клейн приходит к выводу, что «биологические объяснения преобладали всегда; не было автора, который не рассуждал бы об анатомии как о судьбоносном факторе» [Klein 1994: 287]. Что касается российских и советских криминологов, их понимание места женщины в российском обществе определялось представлениями о том, что ведущую роль в женской преступности играет женская физиология. Дуализм «жертвы-злодейки», который исследователи приписывали проституткам эпохи НЭПа, отражал в себе отношение к женской преступности и в более широком смысле. С точки зрения специалистов, женская сексуальность одновременно и снимала с женщин ответственность за их действия, и подспудно влияла на их поведение и реакцию на внешние события. В смысле преступных наклонностей, женщины оставались жертвами своего социального положения и вывертов своей сексуальности. При этом криминологи пришли к выводу, что та самая физиология, которая, по идее, должна оберегать женскую нравственность и удерживать женщин от преступных действий, на деле облегчает им вхождение в преступный мир и затрудняет путь обратно.

Хотя криминологи видели позитивную тенденцию в росте уровня женской преступности — это говорило о более активном участии женщин в «борьбе за существование», — они так и не обнаружили никаких значительных изменений в сути женской преступности. В своих рассуждениях специалисты исходили из того, что «борьба за существование» потенциально способна стереть различия между мужчинами и женщинами — по крайней мере в том, что касается преступности. Более того, исследователи были убеждены, что социализм рано или поздно искоренит «буржуазный образ жизни» — под этим они имели в виду, что общественно-экономические факторы возьмут верх над биологическими. Однако женщины, с их точки зрения, оказались совершенно не подготовлены к участию в этой борьбе. А кроме того, возникшая в эпоху НЭПа обеспокоенность сексуальностью

и судьбами революции подталкивала исследователей к поиску физиологических объяснений женской преступности, что дополнительно подкреплялось склонностью к анализу личности отдельного преступника. Все 1920-е годы криминологи придерживались представлений о том, что женская преступность сосредоточена в домашней сфере и обусловлена женской физиологией. Даже когда женщины вырывались из традиционных рамок, специалисты продолжали трактовать их поступки как следствия их сексуальности. Тем самым криминологи обобщали женский опыт, принимая общественное положение женщины за естественное явление, напрямую связанное с ее репродуктивными функциями. Это и подкрепляло, и обуславливало представления криминологов о положении женщины и сути женской преступности, ограничивая их понимание всей полноты воздействия большевистской революции на жизнь женщин. С точки зрения криминологов, если война и революция и изменили взаимоотношения женщин с преступностью, эмансипация далеко не обязательно привела к усилению или диверсификации женской преступной деятельности.

Глава четвертая

География преступлений

Город, деревня и тенденции в женской преступности

Во введении к сборнику «Преступный мир Москвы» за 1924 год ведущий криминолог и правовед Гернет с живостью описывает свойства городской атмосферы, которые способствуют росту преступности:

Именно здесь, на просторе шумных улиц, людных площадей, многоэтажных зданий, переполненных театров, кино, бегов, скачек, ресторанов <...> [преступность] показывает свой многоликий образ. <...> Переполненные народом улицы, набитые посетителями магазины, театры, сутолока у мест посадки на трамваи, omnibusы, пароходы, подземные и круговые железнодорожные вагоны — все это создает благоприятные условия для совершения карманных краж. Развитой торговый оборот больших городов с их биржами, колоссами-магазинами и безостановочным уличным торгом и всякими рынками создают ту атмосферу спекуляции, которая способствует процветанию мошенничества. <...> Сосредоточивая в себе многочисленные административные учреждения со многими тысячами служащих, крупные города являются вместе с тем и местами наибольшей преступности по службе. Наконец, они же благоприятствуют увеличению половой преступности: масса пришлого и наезжего элемента, скученные квартиры бедноты, проституция, открытая и замаскированная, пресыщенность издевавших все виды порока кутил и прожигателей жизни — все это неизбежно повышает половую преступность города, современного Вавилона, Содомы и Гоморры [Гернет 1924а: i, v–vi]¹.

¹ См. также [Гернет 1922а: 190–191].

Криминологи 1920-х годов усматривали в городской преступности тревожное явление, напрямую связанное со стремительной урбанизацией, начавшейся в поздние годы существования Российской империи и заставившей жителей массово переселяться в города в поисках работы. Анонимность, которую гарантировал большой город, подталкивала к совершению преступлений, одновременно затрудняя их раскрытие. Один исследователь отметил, «что повсюду главными очагами преступности являются крупные города, обладающие особенной притягательной силой для преступников: в городах им легче после совершенного преступления скрыться и сбыть свою добычу, легче найти соучастников для краж, грабежей и мошеннических проделок» [Маннс 1927: 25]. Поскольку уровень преступности в городе был более чем в два с половиной раза выше, чем в сельской местности, озабоченность криминологов обстановкой в городах выглядела обоснованной. В то же время специалисты отмечали, что преступления определенных типов чаще совершаются в городах — такие преступления являются «городскими» по самой своей природе. Специфическими видами городских преступлений криминологи называли, помимо прочего, мошенничество, подлог и растрату — которые исследователям представлялись особо профессиональными, специализированными, требующими особых навыков и при этом не связанными с насилием — это отражало веру исследователей в прогрессивность и более высокий «культурный уровень» советских городов. Сельские преступления, напротив, оставались сопряженными с насильственными действиями, основанными на выплеске эмоций, связанными с «примитивными» порывами человеческой природы — на них толкало то, что криминологи считали «отсталостью и невежеством» крестьянства.

Дихотомия «город—деревня» особенно отчетливо прослеживалась в области женской преступности. В этой связи криминологи указывали на полный разрыв между городским и сельским, напрямую связывая женскую преступность с крестьянским укладом и сельской местностью. Они отмечали, что типично «женские» преступления — например, дето- и мужеубийство, домашние кражи, самогоноварение — воплощают в себе сущность

«сельской» преступности, где преступление — это способ дать выход «примитивным» крестьянским порывам, источник которых — устаревшие традиции. Даже когда женщины совершали преступления на городской территории, криминалисты неизменно подчеркивали сельский характер их поступков. Уравнивая «женское» с «сельским» и «крестьянским», криминологи воспроизводили иерархические классовые и половые различия в советском обществе, подчеркивая, что по природе своей женщины остаются отсталыми и невежественными, приверженными пережиткам прошлого, недостаточно подготовленными к тому, чтобы взять на себя права и обязанности советских граждан.

В этой главе понятие «география преступлений» используется для рассмотрения того, в каком именно ключе криминологи 1920-х годов трактовали женскую преступность как «сельскую» и «примитивную». С самого момента возникновения криминологии в начале XIX века криминологи и обществоведы по всему миру ссылались, при объяснении уровней преступности, на разницу между городом и деревней. В последнее время географы и криминологи стали использовать термин «география преступлений» для изучения преступности в пространственном контексте — различия в уровне преступности они объясняют, отталкиваясь от места, а также от того, как место влияет на деятельность правоохранительных органов². Что касается советского случая, криминолог Шелли рассмотрела влияние паспортной системы на географию распределения преступности в СССР после Второй мировой войны, придя к выводу, что ограничение миграций в крупные города значительно повлияло на динамику советской преступности, сместив ее в сторону недавно возникших периферических городов [Shelley 1980]³. В рамках подобного анализа

² См. [Herbert 1982; Evans, Herbert 1989; Harries 1974; Goldsmith, McGuire, Mollenkopf, Ross 2000].

³ Характер преступления мог быть также обусловлен географическими факторами, как это было в случае с созданием закрытых городов в 1930-е годы, что еще сильнее затруднило и даже криминализовало перемещения населения. Как пишет Кейт Браун [Brown 2007: 97, 78], «зонирование пространства криминализовало желание и необходимую для его удовлетворения мобиль-

именно социальные факторы, равно как и сопряженные с ними изменения общественной обстановки и государственной политики, используются для объяснения изменений в уровне преступности в разных частях страны.

Подойдя к проводившимся в 1920-е годы исследованиям женской преступности в пространственном ключе, мы получим аналитическую основу для рассмотрения того, как криминологи выстраивали классификацию преступной деятельности. В данном случае география и пол играли свою роль в процессе формирования идентичности и гражданской сознательности, поскольку сущность совершенных преступлений отражала классовое сознание правонарушителей и определяла их классовую принадлежность⁴. В силу представлений криминологов о том, что такое модернизация и прогресс, физическое место совершения уголовного деяния зачастую имело меньше значения, чем концептуальная категоризация преступления как «городского» или «сельского». В этом контексте классовая и половая принадлежность рассматривались как маркеры городского и сельского, а следовательно — прогрессивности или отсталости. Относя женскую противоправную деятельность в разряд «сельского», криминологи маркировали географические различия и идентичность правонарушителей не через физическую локацию, а по признаку поведения. В то же время криминальное поведение служило признаком классовой принадлежности и уровня классового сознания. Так, женская преступность считалась сельской, «сельские» преступники признавались отсталыми, а «отсталые»

ность». Более того, широкое использование тюрем и высылки как способов контроля над народонаселением также усиливало географическую привязку преступности в СССР. Браун считает, что сталинский ГУЛАГ «находился в континууме пространства за решеткой», которое определяло и формировало сталинское общество; понимание пространственных практик, особенно связанных с лишением свободы, представляется ей особенно важным.

⁴ Среди недавно появившихся работ, где рассматриваются вопросы идентичности, гражданской сознательности и классовой сознательности в СССР: [Alexopoulos 2003; Halfn 2000; Krylova 2003], а также номер журнала «Kritika» (Vol. 7, № 3, Summer 2006), посвященный «подданству и гражданству, часть 2, от Александра II до Брежнева».

преступники не осознавали своих прав и обязанностей советского гражданина. Соответственно, география женской преступности позволяет осмыслить сложные и изменчивые взаимоотношения между классовой и половой принадлежностью, отражая влияние как социалистической идеологии, так и традиционных представлений о женской преступности на базовые представления криминологов о месте женщин в обществе, «передовом» характере городов и развитии социализма в переходный период.

В дальнейших рассуждениях обрисованы взгляды криминологов на различия между городской и сельской преступностью и на место женщин внутри этой географии. При рассмотрении влияния урбанизации и «модернизации» на представления о женской преступности в этой главе будет показано, что криминологи не отказывались от своих взглядов на женскую отсталость и «провинциальность», хотя осознавали потенциально прогрессивное влияние городов. Особый упор будет сделан на то, как представления криминологов о разнице между городской и сельской преступностью влияли на атрибуцию классовой принадлежности и назначение наказаний. Также речь пойдет о том, какое важное значение криминологи придавали образованию и просвещению в борьбе за искоренение преступности, особенно когда дело касалось крестьянок, и как в процессе вскрывались нестыковки между якобы врожденной отсталостью сельских жительниц и потенциальным модернизирующим и прогрессивным влиянием большевистской революции. Наконец, на примере кампании по борьбе с самогоноварением в годы НЭПа будет показано, как совокупность места, класса и пола способствовала сохранению у криминологов представлений о провинциальности, отсталости, невежестве и примитивности женщин.

Деление на «городское» и «сельское»

Именно классификацией преступлений по принципу «городское» или «сельское» и определялись представления криминологов о сущности города и деревни. Город криминологам представ-

лялся этакой «благодатной почвой» для преступности: местом, полным пороков, обманов и опасностей, при этом он же виделся им бастионом современности и прогресса. Деревня, напротив, оставалась чистой, не запятнанной реалиями современной жизни. Это означало, что в сравнении с более «продвинутыми» городскими преступлениями, требовавшими хитроумия и изворотливости, преступления, совершавшиеся в сельской местности, отличались «примитивностью» и простотой — в силу того, что у крестьян преобладали эмоциональные реакции. Криминологи 1920-х унаследовали от своих предшественников — дореволюционных интеллигентов — романтический взгляд на деревню и крестьянство. Российские элиты XIX века воспринимали крестьян как людей простых и неиспорченных, отмечая при этом их примитивность, невежество и склонность к агрессии⁵. После революции понятия профессионалов о преступных наклонностях формировались под влиянием тех же взглядов. Для криминологов преступность в Советской России сохраняла отчетливо «сельскую» природу — это вытекало из того факта, что 85 % населения проживало в сельской местности⁶. Криминологи часто делали упор на сельскую преступность, что нашло отражение и в рассуждениях о женской преступности: женщины воплощали в себе невежество, преобладавшее на селе, совершавшиеся ими преступления были крестьянского типа — и это несмотря на изменения в жизни общества, которые, по мнению криминологов, должны были бы расширить женский криминальный репертуар.

Если говорить об абсолютных цифрах, то три четверти преступлений, совершенных в СССР в 1924 году, пришлось на сельскую местность [Статистика осужденных 1927]. При этом уровень преступности в городах оставался выше. Небольшая выборка, проанализированная статистиком Тарновским, показывает: при

⁵ См.: [Frierson 1993]. К. Годен [Gaudir. 2007] отмечает, что представления об отсталости крестьянства были особенно распространены среди интеллигенции конца XIX века. См. также [Энгельгардт 1882].

⁶ См.: [Тарновский 1926: 675]. О демографических тенденциях в СССР см. [Lorimer 1946].

том что 69 % преступлений было совершено на селе и только 31 % — в городе, в связи с малым процентом городского населения (в марте 1924 года он составил 15,4 % от общего числа жителей) уровень преступности в городе был в два с лишнем раза выше, чем на селе [Тарновский 1925: 28]⁷. Показатели женской преступности были сопоставимы с общими: 34,1 % преступлений, совершенных женщинами, приходились на города, 64,9 % — на сельскую местность (см. Таблицу 6) [Гернет 1927б: 160].

Таблица 6. Сопоставление уровня преступности в городе и на селе, для мужчин и женщин, 1922–1924

	1922		1923		1924	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
В городе	16,5	33,4	28,8	41,4	20,9	34,1
На селе	82,0	64,8	67,1	54,9	77,7	64,9
Неизвестно	1,5	1,8	4,1	3,7	1,4	1,0

Источник: Маннс Г. Деревенские убийства и убийцы // Проблемы преступности. 1927. Вып. 2. С. 27; Гернет М. Н.; Родин Д. П. Статистика осужденных в 1922 г. и статистика самоубийств в 1922–1923 гг. // Бюллетень Центрального Статистического Управления. 1924. № 84. С. 117; Гернет М. Н. Статистика городской и сельской преступности // Проблемы преступности. 1927. № 2. С. 18.

По мнению криминологов, более высокий уровень преступности в городах объяснялся сущностью городской жизни, ее анонимностью — в сельской местности люди ближе были знакомы со своими соседями. «В действительности, — отмечал Гернет, — преступность в городе еще выше, чем это показывают наши цифры, так как условия городской жизни и особенно крупного

⁷ См. также [Тарновский 1926: 675; Ю. Б. 1925: 24].

города облегчают возможность преступнику остаться необнаруженным» [Гернет 1922а: 191]. Городскому преступнику «чаще удается скрыться, уничтожить следы преступления и пр., чем неопытным деревенским новичкам преступного мира» [Статистический обзор 1925: 27]. В деревнях, отмечал Гернет, напротив,

преступление становится <...> событием, приковывающим к себе общественное внимание. Убийце здесь нет достаточно укромного места, чтобы смыть кровь с своих рук. Вор не находит здесь верного сбыта украденного и лишен возможности пользоваться сам плодами своего преступления [Гернет 1922а: 191].

По мнению Гернета, в городах не только было проще совершать преступления, а вероятность попасться была меньше, но городские преступники были изощреннее сельских, что указывало на более прогрессивную природу городов в сравнении с деревней.

Кроме того, криминологи установили, что в городах чаще совершаются определенные виды преступлений. Города криминологи называли центрами краж, мошенничества и спекуляции, а сельскую местность — местом, где совершалось насилие. Как подчеркивал криминолог Г. Ю. Маннс,

Если преступность городов характеризуется преобладанием мошенничеств, краж (исключая конокрадство) и преступлений против порядка управления, то нанесение телесных повреждений, убийства (особенно детоубийство) и поджоги являются наиболее частыми преступлениями деревни [Маннс 1927: 26]⁸.

О преобладании тяжких преступлений в сельской местности говорит и Гернет:

город изобилует преступлениями против собственности, а деревня богата преступлениями против личности. В городе рука преступника скрытно и незаметно теми или

⁸ См. также [Родин 1926: 95].

иными способами изъе­млет собствен­ность другого. В деревне она по большей части открыто лишает другого жизни [Гернет 1927б: 163; Гернет 1927в: 19].

Действительно, статистика за 1924–1925 годы показывает, что почти 50 % городских преступлений составляли кражи (но не конокрадство), мошенничество, подлог и растрата, в сельской местности доля таких преступлений составляла от 25 до 30 %. А вот что касается злоупотреблений должностными полномочиями, самогоноварения и торговли самогоном, убийств, нанесения тяжких телесных повреждений, бандитизма, грабежа, конокрадства, поджогов и вымогательства, эти преступления составляли 40 с лишним процентов на селе, но только 20 — в городе [Тарновский 1926: 675]⁹.

В своих рассуждениях криминологи подчеркивали, что городские преступления являются прежде всего социально-опасными, а сельские — скорее лично-опасными [Езерский 1928: 222]. С точки зрения большевиков, в категорию «социально-опасной» попадала любая деятельность, угрожавшая экономическому и политическому благополучию советского государства. К ней, помимо прочего, относились контрреволюционная деятельность, спекуляция, злоупотребление должностными полномочиями, недолжное использование природных ресурсов и рецидивизм. При этом зачастую основным фактором, определяющим потенциальную опасность конкретного человека, становился его умысел: нужно было, чтобы человек хоть до какой-то степени сознавал опасность собственных действий. Так, к примеру, лица, привлекавшиеся повторно, считались более общественно опасными, поскольку упорствовали в своем антиобщественном поведении и отказывались исправляться: в связи с этим рецидиви-

⁹ В [Гернет 1927в: 18] указано, что в 1924 году в сельской местности было совершено 34,8 % воинских преступлений, 52,4 % преступлений против собственности, 54,6 % злоупотреблений властью, 67,3 % преступлений против государства, 79,2 % преступлений против личности и 84,4 % преступлений против порядка управления.

стам часто назначалось более тяжелое наказание за повторные правонарушения.

Основное различие между сущностью городских и сельских преступлений связывалось с уровнем сознательности преступника или его осознанием той «опасности», которую его действия представляют для стабильности советского общества. Криминологи утверждали, что более высокий уровень тяжких преступлений в сельской местности объясняется «темнотой и отсталостью деревни <...> или пережитками родового быта» [Езерский 1928: 222]. Они подчеркивали, что отсталость и бескультурье сельских жителей, равно как и их приверженность старинному жизненному укладу, усиливает в них склонность реагировать на проблемы насильственными действиями — в отличие от горожанина, который уже давно перестал быть «примитивно импульсивным в своих действиях» [Гернет 1927в: 15–16; Гернет 1927в: 158–159]. Как подчеркивал статистик Д. П. Родин, «если городская преступность направлена против собственности и объясняется <...> общественно-экономическими условиями, сельская преступность направлена против личности и объясняется грубостью и темнотой деревни» [Родин 1926: 95]¹⁰. Гернет к этому добавлял, что «убийство — скорее деревенское преступление, чем городское, и находится в обратном соотношении со степенью культурного развития» [Гернет 1924а: xxiii]. Криминологи подчеркивали: по мере того как на селе будет внедряться новый жизненный уклад, будет искореняться и применение насилия. Соответственно, насилие останется поведенческой нормой в деревнях и в сельской местности, пока культурный уровень на селе не сравняется с городским.

Преступления, которые криминологи характеризовали как типично сельские, кроме прочего, представляли собой меньшую общественную опасность, поскольку совершали их люди отсталые, невежественные, не способные понять противоправность

¹⁰ Для криминологов к «сельской местности» относились территории за пределами крупных и провинциальных городов, включая сюда уездные города и поселки.

своих поступков, причем действия их, как правило, были направлены против конкретного лица. Например, ленинградский психолог Оршанский рассуждал так:

Деревенский убийца, отставший от современности и часто по-детски жестокий и простой, редко носит в себе черты действительной социальной опасности. <...> Деревенский убийца — человек обычно еще не начавший современной культурной жизни. Городской убийца — уже отживающий или совсем отживший человек [Оршанский 1928: 126–129].

Даже средства совершения преступлений на селе оставались более «примитивными» — на это указывает Маннс:

Если в городе орудием убийства обычно являются револьвер и кинжал, то в деревне на первом месте стоит топор, т. е. предмет, который в крестьянском обиходе имеется всегда под рукой. За топором идут в качестве обычных орудий деревенских убийств: полено, кирпич и тяжелый камень, кол из изгороди, нож [Маннс 1927: 38].

Отмечая «примитивность» сельских преступников, криминологи подчеркивали их удаленность от современности и проводили резкую черту между городом и деревней. Различия между городской и сельской преступностью показывали криминологам, что деревня по-прежнему погружена в болото прошлого, тогда как город стал более современным и прогрессивным. Соответственно, городская и сельская преступность определялись не столько географической территорией, сколько сущностью и методом преступных действий.

Урбанизация, модернизация и преступность

Стремительная урбанизация, которой сопровождалась индустриализация по всей Европе в конце XIX — начале XX века, равно как и увеличение рабочего населения городов вызывали

озабоченность по поводу роста городской преступности. Эта тенденция вызывала и тревогу, и заинтересованность у европейских общественных деятелей, которые зачастую связывали растущий уровень преступности с ростом численности рабочего класса¹¹. Таким исследователям импонировала «модернизационная» теория преступности, которая гласит о том, что с ходом общественного прогресса, в частности — за счет индустриализации и сопровождающей ее урбанизации, растет число имущественных преступлений и сокращается число особо тяжких. Проведенные в последнее время исследования взаимосвязи уровня преступности и урбанизации свидетельствуют о том, что это не всегда так. Э. Джонсон и Д. Коэн, например, полагают, что сам по себе рост городов и населения не ведет к преступлениям, если не считать косвенного вклада этого процесса в развитие иных общественно-экономических факторов, таких как бедность и безработица, которые более тесно связаны с преступностью¹². При том что важно учитывать воздействие урбанизации на уровень преступности, важны и соответствующие взгляды общественных деятелей, которые красноречиво показывают, каким было их понимание окружающего мира и процесса модернизации. В этом ключе различия между городской и сельской преступностью обретают особенно важный смысл, поскольку помогают выявить и отследить уровень урбанизации и, соответственно, успехи модернизации и революции.

Ученые, занимавшиеся историей урбанизации в России, подчеркивали характерную для нее смазанность границ между селом и городом. Многие из переехавших в города сохраняли тесную связь с родной деревней — это замедляло процесс ассимиляции

¹¹ См., напр., [Walkowitz 1922]. См. также [Ratcliffe 1992].

¹² Джонсон, который в основном изучает урбанизацию и преступность в Германии рубежа веков, выступает против «модернизационных» теорий преступности, в которых постулируется рост преступлений против собственности и сопровождающее его сокращение числа особо тяжких преступлений по ходу возникновения современных обществ. См. также [Johnson 1982; Johnson 1992; Johnson 1996; Frank 1999: 58–66; Hufton 1984; Lodhi, Tilly 1973; Shelley 1981; Zehr 1975].

и формирования городской идентичности у переселенцев¹³. Кроме того, многие крестьяне приезжали в города на поиск временного трудоустройства и периодически возвращались в деревню, чтобы помочь семье с уборкой урожая и другими сельскохозяйственными работами. Кроме того, мигранты в городах часто не могли найти там постоянную работу, жили в антисанитарии, в перенаселенных помещениях — именно эти условия порождали у исследователей вроде Гернета ощущение, что город — это «благодатная почва» для преступности. Размытость границ между городом и деревней усложняла анализ преступности, заставляя классифицировать преступления не только по месту, но и по классовому и половому признакам. С точки зрения криминологов, у каждого преступления были определенные признаки, позволявшие отнести его к «сельским» или «городским» — вне зависимости от того, кем и где оно было совершено.

В Советской России разница между городской и сельской преступностью стала, помимо прочего, мерилom темпов модернизации и продвижения к социализму. Большевистская доктрина гласила, что преступность отомрет и исчезнет после построения социализма. Соответственно, тенденции в преступности отражали то, в какой мере партия преуспела в построении социалистической системы и до какой степени население усвоило новые социалистические ценности¹⁴. Криминологи обнаружили, что теории модернизации, предложенные их западными коллегами, дополняют их собственные представления об общественном прогрессе и прекрасно вписываются в большевистскую идеологию. Они утверждали, что города, как центры революционной сознательности, естественным образом являются более прогрессивными, чем сельская местность, соответственно, и преступления там должны быть более «современными» и «прогрессивными». По мере роста городов и повышения сознательности их населения в криминальных тенденциях проявится отход от ти-

¹³ См. [Bradley 1985; Engel 1994; Johnson 1979].

¹⁴ О ликвидации преступности с построением социализма см., напр., [Sharlet 1978].

пично «сельских» преступлений, они приобретут более «городской» характер. Статистик М. Ф. Заменгоф полагал, что тенденция эта возникла еще до революции — он писал:

чем больше город, тем меньше в нем осужденных за убийства и телесные повреждения. Увеличивая преступность городского характера, рост городов само собой уменьшает преступность деревенского характера — тяжелые формы преступлений против личности [Заменгоф 1913: 64].

Криминологи подчеркивали, что городские жители, в отличие от сельских, вовлечены в «борьбу за существование», и полагали, что именно эта борьба приводит к более высокому уровню преступности в городах. Как отмечал Маннс, атмосфера города создавала искушения «для людей неустойчивых и слабовольных, толкая их на путь преступлений, в первую очередь — на совершение разнообразных имущественных преступлений (краж, мошенничеств), при помощи которых они рассчитывают добыть необходимые им средства» [Маннс 1927: 25]. Маленький заработок, высокий уровень безработицы, стесненные и скудные условия жизни и периодические проблемы с продуктами питания вносили свой вклад в более высокий уровень городской преступности. Что же до сельских жителей, они имели доступ к природным ресурсам, у них было меньше оснований идти на нарушение закона. Как отметил один исследователь, в деревне, «где каждый житель обеспечен в удовлетворении самых насущных нужд, где почти каждый крестьянин имеет свой дом, свой огород и полевой участок земли, там, естественно, условия борьбы за существование не встают в такой остроте, как в городе» [Ю. Б. 1925: 24]. На взгляд криминологов — не исключено, что сильно идеализированный, — жизнь на селе была проще и прямолинейнее городской, что и обуславливало ее большую «примитивность». Даже если городская атмосфера и способствовала более высокому уровню преступности, природа преступлений в городах, а именно более непосредственная взаимосвязь преступности с экономикой, делала их «прогрессивнее» преступлений на селе.

Когда речь заходила о женской преступности, различие между городским и сельским криминологи помещали внутри дихотомии «публичное — частное». Для них традиционной сферой женского влияния была семья, где «домашняя хозяйка, жена и мать оказывались иногда как будто прикованными цепями к очагу и люльке» [Гернет 1927б: 120]. Понятно, что женщине было свойственно более остро реагировать на семейные проблемы — гнев и раздражение она изливала на тех, кто находился в пределах досягаемости. Статистика вроде как подтверждает такие выводы: до Первой мировой войны женщины совершали всего 3,4 % всех убийств, при этом 27,9 % убийств супругов и родственников [Гернет 1922а: 137]¹⁵. Как было отмечено выше, криминологи пришли к выводу, что замкнутость женщины внутри семьи минимизировала уровень женской преступности и сужала круг совершаемых женщинами правонарушений. Древние патриархальные традиции, дававшие мужу полную власть над женой, дополнительно ограничивали участие женщин в общественной жизни и, соответственно, диапазон их преступной деятельности [Меньшагин 1928: 60]¹⁶. Соответственно, в том, что касается склонности к правонарушениям, женщина оставалась замкнутой в частной сфере, а значит, преступность ее носила «сельский» характер.

Криминологи ожидали, что после революции круг женских преступлений расширится в силу более активного участия женщин в общественной жизни и «борьбе за существование» [Ю. Б. 1925: 24; Тарновский 1925: 28; Гернет 1927б: 160]. Именно этим они объясняли кратковременный рост уровня женской городской преступности во время войны: женщины влились

¹⁵ Статистические данные за 1911 год.

¹⁶ Меньшагин отмечает, что подобная идеология превращает женщин в убиенных жертв своих ревнивых мужей. См. также [Engelstein 1992: 72–74]. В [Frank 1996: 545] отмечено, что в XIX веке криминологи связывали более низкий уровень преступности среди женщин с социальными ограничениями, налагавшимися на женщин: снятие этих ограничений тут же повысило участие женщин в городской преступности.

в ряды рабочего класса, заменив мужчин, ушедших на фронт¹⁷. Как писал Гернет, во время войны женщины освоили множество новых профессий: помимо прочего, они патрулировали улицы, водили трамваи и тушили пожары. Эти новые виды деятельности «открыли и новые возможности правонарушений» [Гернет 1927б: 120]¹⁸. Криминологи считали, что, по мере расширения ее вовлеченности в городской рынок труда и в общественную сферу женщина будет «принуждена чаще сталкиваться с законом» [Родин 1926: 99]. Та же динамика отражена и в уголовной статистике: в 1922 году 33,4 % женщин-осужденных в СССР совершили преступления в городах, а к 1923 году показатель вырос до 41,4 % [Маннс 1927: 27; Гернет, Родин 1924: 117]. Рост уровня женской городской преступности наводил на мысль, что участие женщин в «борьбе за существование» придаст женской преступности более «городской» и современный характер.

Хотя криминологи и полагали, что в городах женская преступность станет более «прогрессивной», собранная ими статистика говорила о том, что женская преступность остается «сельской» и домашней. Как отметил один криминолог,

основной сферой преступной деятельности современной русской женщины, поскольку она все еще оторвана от широкой общественной работы, являются такие преступления, которые тесно связаны с жизнью в тесном семейном кругу: самогон, преступления против личности (драки, ссора и т. д.), поджоги и общееопасное истребление имущества на почве ревности [Ю. Б. 1925: 27–28].

Общего у этих «женских» преступлений были их примитивные «сельские» свойства, их обусловленность агрессией, эмоциями, отсутствием специальных навыков. К 1928 году, по прошествии

¹⁷ В целом женская преступность выросла с 6,5 % в 1912 году до 15,5 % в 1916-м, вновь снизилась до 12,7 % в 1922-м. Процент убийств среди женщин изменялся куда показательнее и вырос с 5,5 % в 1913-м до пикового значения в 33,4 % в 1916-м, а потом снизился до 14,8 % в 1924-м [Гернет 1927б: 125; Гернет 1926: 84–85; Герцензон, Лапшина 1928: 358].

¹⁸ См. также [Укше 1924: 42–43].

десяти с лишним лет после революции, которая ликвидировала юридическое неравенство между полами, криминологи по-прежнему видели, что женщины отстают от мужчин на криминальном поприще; как недвусмысленно заявил пенолог Утевский, «женщина до сих пор в огромном большинстве — домашняя хозяйка, не принимающая непосредственного участия в борьбе за существование, не участвующая в равной с мужчиной мере ни в хозяйственной, ни в общественной жизни» [Утевский 1928: 39]. Женщины продолжали совершать типично «женские» и «сельские» преступления, упрямо цепляясь, вопреки ходу прогресса, за свою отсталость. Несмотря на ожидания криминологов, что эмансипация повлияет на женскую преступность, придаст ей более «современный» и «городской» характер, их внимание было почти полностью сосредоточено на примитивной, «сельской» сущности женской преступности. Получалось, что эмансипация, которую принесла женщинам революция, по большому счету не сумела «урбанизировать» и, соответственно, «модернизировать» женскую преступность.

Представление криминологов о женской преступности как «сельской», а о женщинах как «отсталых» отрицало всяческое влияние на женщин «борьбы за существование» в городах. Тем не менее, женщины все-таки участвовали в «борьбе за существование», несмотря на то, что женская преступность не спешила принимать новые формы — те, которых от нее ожидали специалисты. Преобладание «традиционных» преступлений, связанных с домашней сферой, могло навести на мысль, что революция и НЭП, по сути, не открыли перед женщинами новых возможностей на равных взаимодействовать с мужчинами в общественной жизни. Однако не исключено, что этот факт просто отражает нежелание специалистов выйти за рамки устоявшихся представлений о природе женских правонарушений. В любом случае, стремясь увидеть в низкой диверсифицированности женской преступности не провал эмансипации и достижения равенства, а проявление сохранившейся отсталости и примитивности женщин, криминологи напрямую связывали преступления, совершенные женщинами в городе, с «сельской преступностью»

и тем самым только укрепляли представления о женщинах как о существах отсталых, изолированных от общественной жизни, привязанных к домашней сфере и оторванных от современного советского общества.

Приверженность специалистов подобному взгляду на женщин-преступниц способствовала поддержанию социальных иерархий городского и сельского, мужского и женского, рабочего и крестьянского. Хотя криминологи и считали процесс превращения женской преступности в более «городскую» положительным фактором социалистического прогресса, постоянные отсылки к образу «сельской» женщины-преступницы отражают в себе обеспокоенность тем, что женщина способна играть в советском обществе более заметную роль, равно как и то, что женщинам далеко не всегда удавалось воспользоваться новыми предоставленными им возможностями — в силу особенностей жизни переходного периода. Подчеркивая, что женская преступность носит «сельский» характер, криминологи в своих толкованиях смещали акцент с конкретных общественно-экономических факторов на абстрактное и вневременное представление о женской преступности, что искажало образ той реальности, перед лицом которой оказались женщины в послевоенные годы.

Классовая принадлежность преступлений

Историк Ш. Фицпатрик считает, что большевики создали «виртуальное классовое общество» — отраженное в статистике разделение общества на классы, к которым граждане приписывались на основании их происхождения. По крайней мере в период НЭПа и до повторного введения внутренних паспортов в 1932 году границы этих категорий и отнесение к одной из них оставались размытыми и изменчивыми, они в той или иной степени зависели от классового происхождения родителей, дореволюционной деятельности и текущего рода занятий [Fitzpatrick 1993]. Навешивание географических ярлыков на преступную деятельность стало частью процесса разделения общества на классы. Если

следовать теории «виртуального классового общества», категории «городское» и «сельское» можно применять для причисления к определенному классу и определения соответствующего наказания для правонарушителей. То, что конкретные виды преступлений относились к «городским» или «сельским», предполагало, что совершаются эти преступления людьми определенного типа. Для крестьян, например, характерна «сельская» преступная деятельность, а значит, «сельские» преступления совершаются крестьянами. Более того, тип преступления отражает уровень сознательности преступника и тем самым задает его или ее положение в классовой иерархии. Опять же, «сельские» преступления свидетельствуют о более низком уровне сознательности, чем «городские». Своими выкладками криминологи содействовали формированию определения классов, основанному не только на общественно-экономических категориях, но и на поведении, политической идентичности и приоритетах государства.

Одной из областей, где классовую принадлежность определяло поведение, стали задержания женщин и суды над ними за преступления против порядка управления. В эту категорию входили все правонарушения, ставившие под угрозу строительство социалистического будущего, но не заслуживавшие смертной казни, такие как, в частности, нарушение общественного порядка, антисоветская агитация, уклонение от уплаты налогов, подлог, фальсификация, уклонение от воинской повинности, хулиганство, незаконное использование природных ресурсов, самосуд, отказ от сотрудничества с милицией, спекуляции недвижимостью, изготовление и продажа самогона и наркотиков¹⁹. Преступления против порядка управления подразумевали преднамеренное антисоветское, а не антиобщественное поведение.

По данным официальной уголовной статистики за 1923 и 1924 год, преступлений против порядка управления женщины совершали больше, чем любых других видов уголовных преступ-

¹⁹ См.: Уголовный кодекс РСФСР. М., 1922; а также его редакцию 1926 года: Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 г. М., 1926. В редакции 1926 года контрреволюционные преступления (они карались смертной казнью) отделены от преступлений против порядка управления.

плений²⁰. Внутри этой категории природа женских преступлений оставалась по преимуществу сельской: а именно, криминологи выяснили, что преступления в основном совершают жительницы сельской местности, и даже когда подобные нарушения закона имеют место в городах, совершают их по большей части женщины непролетарского происхождения. Более того, криминологи подчеркивали, что большая часть совершенных женщинами преступлений по своему характеру относится к сельским: как правило, речь идет об эмоциональном отклике и действиях, не требующих специальных навыков. Например, в 1923 году почти четверть всех женщин, арестованных в городах за неуплату налогов, составляли крестьянки, а в сельской местности таких было свыше 80 %. Подобным же образом, хотя только около половины женщин, осужденных за оскорбление власти, проживали в сельской местности, четыре пятых арестованных по этой статье оказались крестьянками. И, напротив, если не считать минимального участия в производстве и продаже самогона, городские заводские работницы почти никогда не совершали преступлений против порядка управления [Статистика осужденных 1927: 58–61, 74–77]²¹.

Такое соотношение сельского и городского подчеркивает классовую природу преступлений и наказаний в СССР первых лет его существования. Милиция и суды с большей готовностью преследовали за антисоветское поведение людей определенной (нежелательной) классовой принадлежности и чаще выносили таким людям обвинительные приговоры, чем более «сознательным» пролетариям (которых, кстати, и по численности было меньше). Более того, высокий процент женщин, виновных в антисоветских

²⁰ Историки показали, что крестьянки часто организовывали антиправительственные выступления или играли в них важную роль. Поскольку представители власти не верили в способность женщин выйти на первые роли, «бабы» могли использовать формы протеста, которые не могли использовать мужчины. См. [Viola 1996].

²¹ В статистике множество женщин объединено в категории «другое» или «неизвестно» в отношении их социального статуса — в итоге точно определить уровень преступности в зависимости от социального происхождения очень сложно.

преступлениях, отражал представления юристов о том, что женщины, и в особенности крестьянки, медленнее реагируют на перемены, которые принесла Октябрьская революция.

Сам факт совершения определенных преступлений свидетельствовал о классовой принадлежности правонарушителя. Например, сельские преступления могли совершать только крестьяне. Тем самым социальное происхождение и место жительства (равно как и пол в случае женщин-преступниц) переплетались, поскольку криминальное поведение становилось способом определения классовой принадлежности. В ходе вынесения приговоров правонарушителей как бы приписывали к определенному классу. При определении строгости наказания суд придавал очень большое значение месту совершения преступления и полу преступника. Крестьяне и в особенности крестьянки часто отделялись более мягким наказанием, в силу своей низкой «сознательности» — считалось, что они в меньшей мере отвечают за свои действия. Увязывая наказание с представлениями о том, насколько правонарушитель сознает, какой именно вред его действия наносят стабильности советского социалистического государства, суды помогали формировать представления о классах на основании поведения: по типу совершенного преступления определялась «сознательность», которая, в свою очередь, позволяла установить классовую принадлежность. Соответственно, практики вынесения приговоров определяли и подкрепляли представления криминологов о различиях между городской и сельской преступностью и о сущности обеих.

Различия в статистике приговоров, вынесенных в городе и на селе, также говорят о том, как в судах понимали уровень сознательности женщин — и, соответственно, степень их ответственности перед законом. По данным официальной статистики, в 1923 году 40,2 % преступлений, совершенных женщинами, пришлось на города, 58,4 % — на село. В 1924 году цифры изменились до 34,1 % в городах и 64,9 % на селе [Статистика осужденных 1927: 58–61, 74–77, 95]²². В 1923 году 34,6 % правонаруши-

²² Место совершения преступления оставалось неизвестным в 1,4 % случаев в 1923 году и в 1 % случаев в 1924-м.

тельниц были приговорены к тюремному сроку, к 1924 году процент снизился до 32,8. При этом в 1923 году только 17,4 % (свыше 50 % от общего числа приговоренных) и 13,2 % в 1924-м (только около 40 % от общего числа) всех женщин-преступниц действительно отбывали тюремный срок (см. Таблицу 7). Большинство женщин получало условные сроки — 49,6 % в 1923 году и 59,7 % в 1924-м. Для сравнения: в 1923 году из мужчин-преступников только около 32 % получили условные сроки, а к 1924-му увеличился до 42 % [Статистика осужденных 1927: 58–61, 74–77, 32–33, 122–123]²³.

Таблица 7. Типы наказаний для мужчин и женщин по месту пребывания, 1923–1924 (в процентах)

	1923				1924			
	В городе		На селе		В городе		На селе	
Условный срок	15,1	21,5	7,1	14,2	19,6	24,0	10,4	17,3
Тюремное заключение	30,9	23,4	15,1	13,3	31,8	20,4	13,3	9,4
Принудительные работы	17,1	19,0	21,7	23,0	11,5	9,9	15,4	10,8
Конфискация имущества	22,8	24,6	37,7	34,0	29,4	36,4	52,2	52,8
Иные наказания	14,1	11,5	18,4	15,5	7,7	9,3	8,7	9,7

Источник: [Статистика осужденных 1927: 32–33, 122–123].

Кроме того, жительницы городов оказывались в тюрьме чаще, чем жительницы сельской местности. В 1923 году 54 % женщин-заключенных проживали в городах, 44,6 % — в деревнях (1,4 % не-

²³ Согласно данным, 17,7 % женщин, которым были в 1922 году вынесены приговоры, оказались в тюрьме (а мужчин — 22,2 %, что в целом составляет 21,7 % от всех приговоренных). См. СЕ. Ч. 2. С. 74.

известно); к 1924 году цифры несколько изменились: 52,6 % в городах и 46,4 % в деревнях (1,0 % неизвестно). При этом сроки заключения у женщин вообще были короткими, а для сельских жительниц и того короче. Например, в 1923 году 40,3 % сельских жительниц, приговоренных к тюремному сроку, отсидели менее полугода — среди горожанок таких было только 34,6 %. Кроме того, женщинам давали более короткие сроки, чем мужчинам: например, только 1,2 % преступниц из города провели за решеткой более пяти лет, тогда как среди преступников-мужчин таких было 4 % [Статистика осужденных 1927: 32–33, 122–123]. Получается, что приговоры женщинам выносили мягче, с меньшими сроками, причем сельские жительницы оставались в тюрьме более короткое время, чем горожанки. Как отмечал Родин,

условное лишение свободы, выговоры и т. п. легкие виды репрессии чаще применяются к женщине, чем мужчине при том же преступлении и месте совершения его (город, уезд). Наоборот, к расстрелу, строгой изоляции чаще приговариваются, по тем же данным об осужденных, мужчины [Родин 1927: 12].

Таблица 8. Длительность срока, разбивка по половой принадлежности, 1924 и 1926 (в процентах)

	Октябрь-декабрь 1924		1926	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
До полугода	19,9	26,6	68,9	75,9
От полугода до года	21,8	32,7	13,9	13,0
1–2 года	18,6	17,1	8,0	6,2
2–3 года	13,4	11,5	4,1	2,6
3–5 лет	13,3	7,3	3,0	1,4
5–10 лет	13,0	4,8	2,1	0,9

Источник: Статистический обзор деятельности местных административных органов НКВД РСФСР. М.: Издательство НКВД, 1925. С. 55; [Статистика осужденных 1930: 55].

Более мягкое наказание для женщин, особенно из сельской местности, говорит о том, что суды зачастую находили женщин менее «общественно-опасными» и, соответственно, в меньшей степени ответственными за свои проступки, чем мужчин. Снисходительное отношение к женщинам по большей части было следствием того, что женщины реже принимали участие в серьезных преступлениях, а если принимали — то в качестве сообщниц; впрочем, существовавшая в судах тенденция приговаривать женщин к более коротким срокам также отражает представление о том, что совершавшиеся женщинами преступления, да и сами преступницы представляли меньшую опасность для общества, чем аналогичные у мужчин²⁴. Пенолог В. Р. Якубсон отмечал: одна из причин, почему женщины получают более короткие сроки, состоит в том, что наблюдается «более мягкое отношение со стороны суда к женщине» [Якубсон 1927: 33]. В целом, это «более мягкое отношение» проистекало из традиционного взгляда на женщин как более слабых и менее склонных к преступности; впрочем, частично оно вытекало из представлений, что женщины остаются отсталыми и темными, не понимают своих прав советских гражданок — и, соответственно, не могут нести всю полноту ответственности за свои действия.

Кроме того, как утверждал Якубсон, тюремное заключение не оказывает на женщин того же исправительного воздействия, что и на мужчин, и может даже оказаться вредоносным как для них, так и для целей советской пенитенциарной политики. Якубсон выяснил, что, в силу более тесных связей с семьей, женщины тяжелее переносят заключение, а значит, даже короткие сроки отражаются на них сильнее, чем на мужчинах. Якубсон полагал, что различие это сотрется после более полного включения жен-

²⁴ Например, по данным о преступлениях против собственности за 1922 год, 38,3 % мужчин были задержаны на срок менее пятнадцати суток, среди женщин таких было 52,2 %. Для сравнения: 0,4 % мужчин и только 0,2 % женщин получили срок более одного года за эти преступления. См.: СЕ. 1925. С. 74.

щин в общественную жизнь и достижения большего равенства с мужчинами, но при этом подчеркивал, что на данный момент тюремный срок является для женщин менее эффективным способом отлучения от преступной деятельности, по причине их «социального положения, более тесной связи с семьей, меньшей социальной приспособленности к перемене места жительства» [Статистика осужденных 1930: 43, 57].

Советские суды следовали этим советам, женщины часто получали условные сроки, использовались также и альтернативные методы наказания, не связанные с лишением свободы, такие как принудительные работы и конфискация имущества. Из всех женщин, которым в 1923 году были вынесены судебные приговоры, в заключении оказалось только 17,4 %, около 17 % получили условные сроки, 21,4 % были направлены на принудительные работы, более чем у 30 % была проведена конфискация имущества. (Среди мужчин принудительные работы выполняли 20,5 %, имущество было конфисковано у 33,7 %, тюремные сроки получили 19,3 %, а вот условные — лишь несколько более 9 %). В 1924 году принудительные работы составляли до 10,5 % всех наказаний у женщин, при этом конфискация имущества возросла до 47 % (в Таблице 9 приведены аналогичные цифры на 1926 год). В сельской местности 52,8 % вынесенных женщинам приговоров подразумевали конфискацию имущества, в городе цифра была ниже — 36,4 % [Статистика осужденных 1927: 32–33, 122–123]. Разница в наказании женщин-преступниц в городе и на селе, возможно, отражала не только общественное, но и экономическое положение женщин. У городских жительниц, как правило, было меньше имущества, которое можно было конфисковать. При этом заметная разница в уровне условных сроков для мужчин и женщин указывает на то, что за женские преступления наказывали менее строго, а суды придерживались убеждения, что для женщин тюрьма служит менее эффективной исправительной мерой, чем просвещение и приобщение к культуре.

Таблица 9. *Процентное соотношение наказаний, с разницей между полами, 1926*

	Всего	Мужчины	Женщины
Смертная казнь	0,1	0,1	0,005
Условный срок	14,4	12,5	25,5
Реальный срок	39,0	41,7	28,4
Принудительные работы	13,9	14,4	15,3
Конфискация имущества	—	29,0	27,0
Выговор	—	1,2	3,1
Другое	32,6	1,1	0,7

Источник: [Статистика осужденных 1930: 55; Герцензон 1929: 104].

Большой процент альтернативных наказаний свидетельствует о нескольких тенденциях начала 1920-х годов. Во-первых, в тюрьмах остро не хватало места. Большевики унаследовали царскую тюремную систему, многие здания устарели, износились, были переполнены. К 1924 году суды, по сути, оказались заинтересованы в альтернативных приговорах. Это нашло отражение в сокращении числа тюремных приговоров, в коротких сроках, растущем числе условных сроков и широком применении штрафов и принудительных работ. Во-вторых, большое число конфискаций имущества к 1924 году отражало сдвиг в работе милиции и суда — они сосредоточились на борьбе с самогоноварением (речь об этом пойдет ниже). В ходе этой кампании на скамье подсудимых и в тюрьме оказалось огромное число людей, как мужчин, так и женщин, что вынудило систему правосудия обратиться к альтернативным мерам «защиты общества» перед лицом стремительного роста числа преступников. И, наконец, — возможно, для большевиков этот фактор оказался основным — решения судов в пользу альтернативных наказаний позволяли испытать на практике прогрессивные пени-

тенциарные теории, в которых подчеркивалось, что заключения и подавления в чистом виде недостаточно для того, чтобы отвести от преступной деятельности, более эффективными орудиями в борьбе с преступностью могут служить образование и просвещение²⁵.

Преобладание условных и коротких сроков, равно как и альтернативных видов наказания в 1920-е годы, стало отражением ситуации, сложившейся в период НЭПа, а также нехватки у советского государства ресурсов для того, чтобы превратить тюремное заключение в эффективный инструмент социалистического перевоспитания²⁶. Криминологи, исходившие из того, что преступники зачастую идут на нарушение закона в силу тяжелых материальных обстоятельств, признавали, что тюремный срок зачастую лишь способен усугубить и без того тяжелое экономическое положение правонарушителей и тем самым поспособствовать росту рецидивизма. При том что оценить реальную эффективность воздействия альтернативных наказаний на правонарушителей достаточно сложно, такие меры, как конфискация имущества, наверняка особенно осложняли жизнь преступникам из числа крестьян и при этом являлись для государства действенным способом перераспределения имущества (по крайней мере, изъятия его из рук тех, кого государство считало кулаками или буржуазией). Тем не менее, высокий процент альтернативных приговоров свидетельствует о том, что большевики понимали:

²⁵ О советской пенитенциарной теории и практике см. [Wimberg 1996; Solomon 1980].

²⁶ В середине 1920-х годов в составе Государственного института по изучению преступности и преступника (центрального криминологического органа 1920-х) был создан Экспериментальный пенитенциарный институт, в задачи которого входило исследование новых методов перевоспитания заключенных. При том что экспериментальные тюрьмы добились определенных успехов, они могли вместить крайне ограниченное число заключенных, а внедрять те же методы в широких масштабах государство не могло за недостатком средств. См. [Бехтерев 1926; Утевский 1926б]. О роли культурно-просветительской и образовательной работы в советской пенитенциарной политике см. [Wimberg 1996: 113–158].

перевоспитание и приобщение населения к культуре должно происходить с использованием судов и уголовного кодекса как заградительной системы, а также за рамками законодательной системы, через обучение и агитацию в партийных ячейках, подготовку кадров на селе и на рабочих местах²⁷. Советский социализм предполагалось строить не только на главенстве закона, но и через партийную работу, результаты которой должны были быть закреплены судебной и юридической системой в соответствии с классовым пониманием антисоветского поведения. Тем самым был создан опасный прецедент, который впоследствии получил развитие.

Столкновение двух миров — невежество против просвещения

С точки зрения криминологов, различия между городской и сельской преступностью воплощали в себе несоответствия между старым образом жизни и новым социалистическим порядком. Как отмечал Гернет, в природе городской и сельской преступности отражается «отмеченное нами столкновение двух миров, старого и нового» [Гернет 1927б: 163; Гернет 1927в: 19]. По его мнению, имела место

значительно большая отсталость деревенского жителя от городского в культурном отношении, со всеми последствиями более низкого уровня умственного развития, когда в сознании крестьянина продолжают жить самые разнообразные суеверия, уже давно покинувшие обитателя города, когда он остается примитивно импульсивным в своих действиях и, в отличие от горожанина, разрешает споры с соседом вместо обращения в камеру суда силою собственного кулака.

²⁷ Подобное сочетание поощрений и репрессий сохранилось на все годы существования советского государства. См. [Martin 1999: 113–124], где он говорит об этом с привлечением понятий «добрые» и «злые» комиссариаты.

Так было столетиями. И новым мировоззрениям, которые несет с собою наша революция, приходится идти в деревню тою же тяжелою ухабистою дорогою, которою крестьянин ездит в город: здесь нет ни быстроты железнодорожного передвижения, ни прямой, как рельсовый путь, дороги [Гернет 1927в: 15–16; Гернет 1927б: 158–159].

Как крестьяне испытывали трудности с приспособлением к городской среде, так и новый революционный порядок с трудом проникал на село. Криминологи подчеркивали значение образования и просвещения, с помощью которых необходимо было поднимать сознательность крестьян, что привело бы к искоренению преступности. Средствами достижения этих целей считались повышение уровня грамотности среди крестьян (и женщин) и распространение знаний о преимуществах социалистического образа жизни.

В плане модернизации России, предложенном большевиками, образованию отводилась первостепенная роль. Хотя уровень грамотности и повышался в последние годы существования Российской империи, на момент прихода большевиков к власти писать и читать умело только около 44 % населения²⁸. При этом именно растущая грамотность могла содействовать созданию революционной атмосферы. Как отмечают Г. Гурофф и С. Ф. Старр, в предреволюционные годы грамотность считалась инструментом достижения более высокого положения в обществе, а отсутствие политических изменений, которые шли бы в ногу с ростом уровня грамотности, сделало конфликт, в той или иной его форме, неизбежным [Guroff, Starr 1971: 531]²⁹.

²⁸ В [Mironov 1991: 243] приведены следующие цифры: уровень грамотности в 1920 году составлял 44,1 %, в сравнении с 28,4 % в 1897-м. При этом большинство из тех, кто в 1920 году считался грамотным, владели чтением, письмом и счетом лишь на самом примитивном уровне.

²⁹ Историки продолжают проявлять интерес к грамотности и попыткам поднять ее уровень в России: они используют эти параметры для оценки отношения населения к революции и реформам. См., напр., [Brooks 1994; Bradley 1979; Eklof 1981].

Большевики были убеждены, что достижение их революционных целей и расширение числа их сторонников по всей стране возможно только с ростом политической грамотности населения. Помимо закрепления своих позиций, большевики стремились к модернизации, которая предполагала, что мировоззрение граждан будет переустроено в соответствии с социалистическими принципами [Clark 2000: 17]. Они были убеждены, что, когда граждане осознают преимущества социализма, все они станут сторонниками революции и большевистской программы. Для большевиков базовая грамотность была первым шагом к политической грамотности: обучение грамотности посредством пропаганды должно было служить политическому воспитанию рабочих и крестьян, с одновременным усвоением ими навыков, необходимых для участия в жизни новой системы³⁰. Пенолог Ю. Ю. Бехтерев подтверждал, «что индустриализация страны и интенсификация сельского хозяйства немыслимы без общего подъема культурного уровня населения» [Бехтерев 1930: 52–53].

Криминологи, которые должны были решать те же задачи — реформы и перемены в обществе, в свою очередь, как и большевики, подчеркивали значение грамотности, поэтому борьба с преступностью, разумеется, шла параллельно с кампанией по борьбе с безграмотностью и вбирала в себя некоторые ее элементы. При этом задача криминологов состояла прежде всего не в том, чтобы добиться поддержки населением революции, а в том, чтобы повысить уровень «цивилизованности» преступников. Они были убеждены, что просвещение способно положить конец как традиционной отсталости, преобладавшей на селе, так и преступности — на их место придут социалистические идеалы с их рационализмом.

³⁰ О советских кампаниях против неграмотности см. [Gorham 1996; Kenez 1982; Куманев 1961].

Таблица 10. Уровень образованности правонарушителей, 1924 (в процентах)

	В городе		На селе	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Неграмотные	8,8	42,3	19,8	64,3
Владеют только чтением	4,2	2,1	4,0	2,3
Владеют чтением и письмом	82,3	51,6	71,3	28,6
Неизвестно	4,7	4,0	4,9	4,8

Источник: Ю. Б. Преступность города и деревни в 1924 г. // Административный вестник. 1925. № 6. С. 27; Тарновский Е. Н. Основные черты современной преступности // Административный вестник. 1925. № 11. С. 48.

По мнению криминологов, невежество («темнота») оставалось одним из самых значимых факторов, обуславливавших устойчивый уровень сельской преступности, особенно среди женщин. Из всех сельских жительниц грамотой владело лишь около одной четверти (среди горожанок, для сравнения, — две трети) [Міронов 1991: 243]³¹. Среди городских преступников грамотных было больше, чем среди сельских, но женщины вообще были менее образованными, чем мужчины. Например, в 1924 году из общего числа правонарушителей в городах неграмотными были 42,3 % женщин и 8,8 % мужчин, а на селе — 64,3 % женщин и 19,8 % мужчин (см. Таблицу 10) [Ю. Б. 1925: 27]³². В целом, среди преступниц неграмотных было гораздо больше, чем среди преступников,

³¹ В статистике за 1920 год указан уровень грамотности 52,4 % для сельских мужчин, 25,2 % для сельских женщин, 80,7 % для городских мужчин и 66,7 % для городских женщин.

³² См. также [Тарновский 1925: 48]. Общий процент разбит по признакам пола и местожительства. Ю. Б. указывает, что в каждой категории уровень грамотности 4–5 % лиц оставался неизвестным.

а сельские жители обоих полов были менее образованными, чем городские. Как отмечает П. В. Верховский, одной из важнейших причин сохранения преступности был «низкий культурный уровень» на селе. Он подчеркивал, что нужно активнее приобщать сельских жителей, особенно молодежь, к культуре, используя школы и другие образовательные учреждения как примеры честной работы и порядочного поведения — тогда молодежь не будет вставать на путь преступности [Верховский 1925: 3].

В повышении уровня грамотности криминологи видели профилактическую меру борьбы с преступностью — оно постепенно принесет на село понимание всех преимуществ современной советской жизни. Некий Л. Артименков, например, считал, что, хотя деревня по-прежнему остается погруженной в невежество, крестьянство понемногу осваивает новые политические реалии. Всеобщая задача — усилить помощь крестьянству под знаменем борьбы с неграмотностью [Артименков 1925: 241]. Психиатр А. Ф. Шестакова также подчеркивала важность образования для искоренения преступности и пережитков на селе:

Повышение культурного уровня деревни, рост молодого сознательного поколения и отмирание последних пережитков старого быта, в связи с надлежащей системой мер специального предупреждения, несомненно приведут к падению описанных преступлений [против личности] и в идеале — к полному их исчезновению [Шестакова 1926: 223].

Соответственно, когда крестьяне освоят грамоту, исчезнут и «старый образ жизни», и даже «сельские преступления».

Анализируя городскую и сельскую преступность, Бехтерев тоже подчеркивает, что преступления сельского типа пока еще совершаются, поскольку

в значительной степени обуславливаются более низким уровнем культуры среди сельского населения, чем в городе, недостаточным пониманием жителями деревни основ и существа Советского государственного строя, своих прав и обязанностей как граждан Советского государства. Ведь

там, в глухих уголках нашего государства, где все еще царят традиции прошлого, тьма и невежество, различные суеверия и прочие предрассудки, там, где инстинкт все еще господствует над велениями разума, там, естественно, должны находить себе благоприятную почву такие преступления [Ю. Б. 1925: 26].

Соответственно, тот факт, что сельская преступность все еще существует, объясняется неспособностью крестьянства полностью усвоить принципы социалистического существования. По утверждению Бехтерева,

основными факторами (причинами) современной преступности города и деревни являются социально-экономические условия. И только улучшив экономическое благосостояние масс, ликвидировав среди них общую и политическую неграмотность, воспитав подрастающее поколение в духе борьбы за укрепление и завершение коммунизма, — государство сможет изжить преступность [Ю. Б. 1925: 28].

Получается, криминологи были твердо убеждены: только просвещение способно привести к тому, что на место невежества, лежащего в корне сельской преступности среди крестьян, придет современная социалистическая сознательность.

Криминологов-профессионалов особенно волновал вопрос обучения и просвещения женщин-преступниц из сельской местности. Например, среди детоубийц (типично «сельское» преступление, чаще всего совершавшееся женщинами) в 1917 году было 88 % неграмотных. К 1926 году их процент значительно снизился (примерно до 23 %), тем не менее, для сравнения, среди совершивших убийства другого рода неграмотных было всего 12,3 % [Бычков 1929: 14–15]. Для криминологов, несмотря на явственный успех кампании по борьбе с неграмотностью, эти цифры свидетельствовали о сохранявшейся отсталости среди крестьянок. Даже в 1930 году специалисты продолжали делать упор на ту же проблему: различие между уровнем образования у мужчин и женщин имело корни, уходившие в далекое прошлое,

однако, как отмечал Бехтерев, «только в советской России, когда женщина наравне с мужчиной приобщается к общественной и культурной жизни страны, грамотность женщины быстро растет, благодаря чему прежняя резкая диспропорция между женской и мужской грамотностью также уменьшается» [Бехтерев 1930: 58]. Он подчеркивал, что неграмотность более характерна для женщин, проживающих в сельской местности, а также для тех, кто совершает преступления против порядка управления, личности и собственности [Бехтерев 1930: 70]. Отмечая более высокий уровень неграмотности среди совершивших преступления из этих категорий, Бехтерев подкрепляет сложившиеся представления о таких преступлениях и о совершающих их лицах как о типично «сельских». Здесь неграмотность и невежество априорно связываются с женщинами, крестьянством, преступлениями сельского типа. Деревня все еще живет старой жизнью, крестьянки сохраняют традиционное положение.

То, что криминологи делали особый акцент на обучении и просвещении преступников как на важнейшем шаге к искоренению преступности, соответствовало задачам НЭПа с его поиском альтернативных и экспериментальных путей превращения российских крестьян в советских граждан³³. В рамках прогрессивной пенитенциарной политики, на всем протяжении 1920-х годов предпринимались усилия по повышению уровня образования преступников — через использование новаторского метода их исправления без долгих тюремных сроков, с целью превращения нарушителей закона в достойных членов общества. Однако усилия эти свидетельствовали и о том, что советская власть смотрит на женщин-крестьянок сверху вниз. Подчеркивая взаимосвязь между безграмотностью, женщинами и сельской местностью, криминологи давали понять, что невежество мешает деревенским преступницам осознать суть своих действий. Только

³³ См. [Clark 2000], где утверждается, что кампании по распространению грамотности времен НЭПа стали уроками касательно пользы и потенциала мирного и постепенного внедрения перемен и модернизации, но об этом забыли, когда большевики перешли к пятилетним планам. См. также [Wimberg 1996].

посредством просвещения и повышения «культурного уровня» и сознательности можно было заставить крестьянок задуматься над собственной отсталостью, чтобы в итоге они смогли на равных с мужчинами принять участие в строительстве советского социалистического государства.

Кампания против самогонщиков

В контексте борьбы против преступности и за грамотность, кампания против самогонварения, развернутая в период НЭПа, служит любопытным примером пересечения географической, половой и классовой принадлежности, а также выявляет представления криминологов о городском и сельском, их взгляды на женщин и понимание понятия «класс». Подчеркивая «сельскую» сущность преступлений, связанных с самогоном, — при том что сама кампания была сосредоточена на производстве и продаже самогона в городах — и высокую степень вовлеченности женщин в эту противоправную деятельность, криминологи подтверждали преимущественно «сельскую» сущность женской преступности как таковой.

После революции большевики попытались взять под контроль избыточное, по их мнению, производство и потребление алкоголя в городах. В итоге они вновь ввели существовавшую в царские времена монополию на водку, но еще до того объявили незаконным производство самогона и поручили милиции строго за этим следить. Начиная с 1922-го и до конца 1926 года большевики проводили масштабную кампанию, направленную против незаконного производства и продажи алкогольных напитков: в итоге этот вид преступления оказался в первых строках городской уголовной статистики и криминологического анализа³⁴. Даже в выпуске «Преступного мира Москвы» за 1924 год, в исследовании, посвя-

³⁴ Подробнее о кампании против самогонварения и движении за трезвость в первые годы существования советской власти см. [Phillips 2000; Transchel 2006; Weissman 1986].

щенном заключенным московских тюрем, помимо иных исследований «городской» преступности появилась и статья о самогонщиках³⁵. Поскольку милиция сосредоточилась именно на этом правонарушении, число арестов по этой статье сильно превосходило статистику по всем другим преступлениям. А поскольку в производстве и продаже самогона часто участвовали женщины, кампания против самогонщиков вынудила очень многих из них соприкоснуться с органами поддержания общественного порядка и системой уголовного правосудия. Соответственно, то, как криминологи анализировали правонарушения, связанные с самогонварением, помогает отследить динамику городской и сельской преступности, равно как и мужской и женской преступности, — из этого можно почерпнуть много сведений касательно отношения специалистов к женщинам, преступности, месту и классу.

В ранние годы НЭПа у советского правительства появилось множество резонов обуздать самогонщиков. Страна оправлялась после сурового голода, продовольствия не хватало, ее руководству не нравилось, что слишком много зерна расходуется на алкоголь. Действительно, по причине низких закупочных цен и высоких затрат на транспортировку крестьянам выгоднее было продавать готовый продукт, чем переработанное зерно [Литвак 1992: 76]. Кроме того, растущий рынок алкоголя вызывал у большевиков неодобрение: они опасались, что торговля самогоном станет частью коммерческой деятельности, которая — хотя ее и терпели в годы НЭПа — предавалась анафеме в рамках их социалистических убеждений. При этом усилия свои они оправдывали интересами здравоохранения и в конце 1922 года развернули кампанию против производства и продажи алкоголя, каковые, по их мнению, приняли непомерно «большие размеры, нанося ущерб народному здоровью и вызывая бесцельное расточение и порчу хлебных и иных продовольственных продуктов»³⁶.

³⁵ См. [Аронович 1924].

³⁶ Циркуляр № 77 от 8 сентября 1922 года «Об усилении репрессий за незаконное приготовление и хранение спиртных напитков» (Еженедельник советской юстиции. № 33. 1922. I–II (Официальное приложение)).

В Уголовном кодексе РСФСР от 1922 года преступления, связанные с самогоном, были включены в разряд экономических. Статья 140 гласила:

Приготовление с целью сбыта вин, водок и вообще спиртных напитков и спиртосодержащих веществ без надлежащего разрешения или свыше установленной законом крепости, а равно незаконное хранение с целью сбыта таких напитков и веществ, карается принудительными работами на срок до одного года с конфискацией части имущества³⁷.

К сентябрю 1922 года советским чиновникам стало ясно, что уголовные статьи, направленные против самогонварения, не возымели почти никакого эффекта. Охота на торговцев самогоном ведется слишком вяло, утверждал народный комиссар юстиции и прокурор РСФСР Д. И. Курский. Суды часто приговаривали нарушителей к условным срокам и небольшим штрафам, не имея при этом никаких основательных причин к столь мягкому наказанию. Курский рекомендовал в полную силу использовать статью 140 против виновных в самогонварении, а уличенных повторно признавать «общественно-опасными» элементами — эта статья предполагала более строгое наказание, до трех лет высылки³⁸. В ноябре 1922 года — с момента введения нового Уголовного кодекса прошло меньше полугода — на четвертом заседании XI съезда ВЦИК была принята видоизмененная редакция статьи 140, в соответствии с тем, что предлагал Курский. Согласно новой редакции, самогонщикам грозил тюремный срок не менее одного года и частичная конфискация имущества, кроме того, был добавлен отдельный параграф касательно «общественно-опасных» рецидивистов³⁹.

³⁷ Уголовный кодекс РСФСР 1922. С. 24.

³⁸ Циркуляр № 77.

³⁹ «140-а. Лица, занимающиеся незаконным приготовлением и хранением спиртных напитков в виде промысла (рецидивисты), караются лишением свободы на срок не ниже 3-х лет с конфискацией всего имущества. 140-б. Приготовление спиртных напитков и спиртосодержащих веществ без цели

Для большевиков борьба с самогонованием не сводилась только к конфискации имущества и аресту самогонщиков; речь шла о борьбе за внедрение нового образа жизни взамен старого и об улучшении здоровья населения⁴⁰. Большевики были убеждены, что только неустанная борьба приведет их к победе. Комиссары юстиции (Курский) и здравоохранения (Семашко) объединили усилия и в начале июня 1923 года выпустили совместный циркуляр, согласно которому кампания по борьбе с самогонованием должна была развернуться прежде всего «в волостях и уездных городах с тем, чтобы эти процессы могли иметь агитационное значение в крестьянской среде, где наиболее развито изготовление самогона». Руководить кампанией должны были специалисты из местных органов здравоохранения, выводя борьбу с самогоном из узких рамок залов суда на более широкую арену здравоохранения, пускай и при содействии и поддержке правосудия⁴¹.

К 1923 году антисамогонная кампания уже была в полном разгаре. По словам Д. Князева, члена особого комитета Московского народного суда, созданного для слушания дел о самогоноварении, за первые два месяца существования комитета было разобрано 1735 дел и конфисковано имущества на 193 073 рубля [Князев 1922: 48]. По словам другого специалиста, только в 1922 году виновными по статье 140 были признаны 15 406 человек, а с 1921 по 1923 год число арестов за преступления, связанные с самогоном, выросло в РСФСР на 535 % [Аронович 1924: 175; Шкляр 1923: 125]⁴². Если в 1920 году только 5 % дел, которые слушались в московских народных судах, были связаны с самого-

сбыта, а также хранение не оплаченных акцизом напитков и веществ карается штрафом до 500 рублей золотом или принудительными работами до 6 месяцев». Цит. по: [Литвак 1992: 76]. См. также [Аронович 1924: 175–176].

⁴⁰ См. [Solomon S. G. 1989].

⁴¹ Циркуляр № 113 от 2 июня 1923 года «О мероприятиях по борьбе с самогоном» (Еженедельник советской юстиции. № 23. 1923. С. 548).

⁴² Шкляр связывает рост с окончанием голода и повышением доступности зерна, необходимого для самогонования.

ном, то к 1923 году они уже составляли около 95 % всех экономических преступлений [Гернет 1922а: 97; Смирнов 1924: 5]. Число лиц, привлеченных к ответственности за самогоноварение, в начале 1920-х росло стремительнее, чем число обвиняемых по любой другой уголовной статье. Согласно статистике, собранной криминологом А. Н. Учеватовым, преступления, связанные с самогоном, в 1921 году составляли 4,5 % от общего числа, а к 1923 году — уже 25,2 % [Учеватов 1925: 21]⁴³. Более того, 55,7 % всех преступлений, расследованных милицией в 1923 году, были преступлениями против порядка управления, 65 % из них были связаны с производством и продажей самогона [Халфин 1924: 24]⁴⁴. Только с апреля по июнь 1924 года милиция РСФСР рассмотрела 69 328 дел самогонщиков — это составляло 47 % всех преступлений, зарегистрированных за этот период [Семенов 1925: 38]. Это означало, что на борьбу с самогоном были брошены значительные ресурсы. Согласно официальной статистике за 1924 год, приговоры за преступления, связанные с самогоном, составляли 40,4 % всех экономических преступлений и 29,3 % общего числа приговоров, вынесенных в СССР [Статистика осужденных 1927: 88–95]⁴⁵. Разумеется, как отмечает Тарновский, такой рост совсем не обязательно был связан с ростом числа лиц, которые гнали самогон и торговали им, скорее с масштабными усилиями советских правоохранительных органов, направленными на борьбу с этим преступлением [Тарновский 1923: 114]⁴⁶.

Масштабный успех кампании, о чем свидетельствовало большое число вынесенных приговоров, привел в начале 1924 года к пересмотру подходов к ней и к внесению новых изменений

⁴³ Он указывает уровень в 17,2 % на 1922 год и его снижение до 12,5 % к 1924-му.

⁴⁴ Здесь в преступления против порядка управления входит восемь отдельных категорий, включая экономические преступления (к которым относится самогоноварение).

⁴⁵ Ван дер Берг отмечает, что в 1922 году до 30 % всех приговоров выносилось за самогоноварение, но к 1926 году цифра снизилась до 3,3 % в связи с декриминализацией этой деятельности [van der Berg 1985: 44].

⁴⁶ См. также [Родин 1923: 68].

в статью 140 — возможно, это стало откликом на неспособность системы справиться с таким количеством правонарушителей. Изменения давали право выносить более мягкие приговоры (принудительные работы на короткий срок) в тех случаях, когда причиной совершения преступления были тяжелые материальные условия [Аронович 1924: 191]. Кроме того, в конце 1925 года государство вернуло себе монополию на производство и продажу алкоголя. Выбросив на прилавки дешевую водку в больших количествах, правительство нанесло тяжелый удар по самогоноварению, фактически искоренив в городах этот рынок. Этот успех повлек за собой очередной пересмотр законов, направленных против самогоноварения, внесение новых изменений в Уголовный кодекс в начале 1927 года: преступления, связанные с самогоном, более не предполагали уголовного преследования, на чем кампания против самогонщиков и завершилась [Литвак 1992: 77]⁴⁷.

Как оценивали криминологи самогонщиков, которые буквально наводнили тюрьмы по ходу этой кампании? Вопреки собственному утверждению, что в сельской местности чаще происходят тяжкие преступления, криминологи классифицировали связанные с самогоном преступления как «сельские», то есть те, которые не предполагают никаких насильственных действий, однако происходят по большей части на селе⁴⁸. То, что производ-

⁴⁷ См. также [van der Berg 1985: 33]. Сдвиг приоритетов в сторону борьбы с хулиганством и пресечения пьяных выходов, а не с доступностью алкогольных напитков, также мог внести свой вклад в прекращение кампании против самогоноварения в конце 1926 года. Однако в 1928 году кампания возобновилась в связи с индустриализацией в ходе первой пятилетки. Во время индустриализации необходимо было обеспечивать достаточным количеством продовольствия растущие города и живущих там рабочих, это вызвало коллективизацию сельского хозяйства и более жесткий контроль за жизнью на селе. В период, когда производство самогона не преследовалось (1927), оно выросло колоссальным образом. Не исключено, что государство возобновило кампанию против самогоноварения и с целью обеспечить поставки продовольствия в города, и с целью получить рычаг для более жесткого контроля за крестьянством по ходу коллективизации, поскольку торговля самогоном могла расцениваться как спекуляция со стороны кулака.

⁴⁸ СОД. № 2. 1925. С. 26.

ство самогона практически не требовало никаких особых навыков, дополнительно укрепляло его связь с типично «сельской» преступностью. Это подтверждала и официальная статистика, согласно которой в 1924 году 79,9 % всех дел против самогонщиков были связаны с сельской местностью [Статистика осужденных 1927: 90–91].

Более того, большое число осужденных крестьян-самогонщиков повлияло и на общую картину преступности, придав ей явно сельский характер [Характер 1930: 54]. С. Крылов, рассуждая в 1925 году об успехах кампании против самогонщиков, отмечал, что по большей части этим промыслом занимаются крестьяне и кулаки, которые переносят свои действия из городов в деревни — там проще промышлять втайне [Крылов 1925: 61–62]. Рассмотрев небольшую выборку дел сельских самогонщиков, некий В. Мокеев пришел к выводу, что крестьянство по-прежнему не изжило устаревшего мировоззрения, согласно которому на праздниках предполагается распитие спиртных напитков. Бедные крестьяне, рассуждал он, варят самогон, потому что им нужно сыграть свадьбу или отметить иное торжество, а при этом купить водку им не по средствам. Только культурно-просветительская работа на селе и экономическое стимулирование деревни способны искоренить это мировоззрение, пока же в рамках «невежества, некультурности и общей отсталости нашего крестьянства показательны правонарушения, направленные против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» [Мокеев 1925: 419–420].

Кроме того, криминологи выяснили, что в самогонноварении задействовано изрядное число женщин, что послужило дополнительным подтверждением «сельского» характера этого преступления. Как писал Учеватов, число женщин, участвовавших в самогонноварении и торговле спиртным, значительно увеличилось всего за несколько лет [Учеватов 1927: 120]. Например, в 1922 году 41,5 % всех женщин-преступниц совершали преступления, связанные с самогоном, 26,6 % женщин-рецидивисток возвращались в тюрьму именно за это преступление — мужчин, для сравнения, среди них было только 18,3 % [Ходаков 1923: 89];

[Куфаев 1924: 106]⁴⁹. В 1923 году из всех преступников за самогонование было осуждено только 6,3 %, при этом около 60 % всех женщин-заклученных были осуждены по статье 140, мужчин же — лишь чуть больше 23 % [Учеватов 1924: 55; Укше 1924: 41; Родин 1924: 130]⁵⁰. В разгар антисамогонной кампании в 1924 году около 40 % всех женщин, осужденных за преступную деятельность, сидели за преступления, связанные с самогоном, — при том что среди мужчин таких было всего 15 % [Ширвиндт 1927: 7]⁵¹. Действительно, тюремная перепись 1926 года показала, что среди самогонщиков 48,3 % составляют женщины — такого высокого процента не наблюдалось больше ни по одной статье — и 21,5 % всех женщин-заклученных получили сроки именно за преступления, связанные с самогоном [Статистика осужденных 1930: 18; Утевский 1928: 40]⁵². Высокая степень вовлеченности женщин в эту преступную деятельность способствовала тому, что незаконное производство и продажа спиртных напитков стали считаться типично «женскими» преступлениями.

Как отмечали криминологи, самогонование и торговля спиртным были для женщин относительно доступными способами сводить концы с концами. Статистические данные подтверждают, что «выделкой самогона заняты преимущественно жен-

⁴⁹ Куфаев отмечает, что среди воров рецидивистами были 48,7 % женщин и 41,3 % мужчин; среди убийц женщин-рецидивисток было 9 %, а мужчин — 25,9 %. Цифры приводились только по Москве.

⁵⁰ См. также [Хроника 1923: 687].

⁵¹ Ширвиндт отмечает, что в 1923 году 13 % мужчин-заклученных получили срок за преступления, связанные с самогоном (процент женщин зафиксирован не был), в 1925 году — 9 % мужчин и 21 % женщин, в первой половине 1926 года — 3 % мужчин и 18 % женщин, на момент проведения тюремной переписи (декабрь 1926) — 2 % мужчин и 20 % женщин.

⁵² См. также [Утевский 1927: 1280]. Женщины составляли до 46,6 % осужденных за кражу, 38 % осужденных за преступления против собственности, 33,7 % — за преступления против порядка управления, 24,1 % — за преступления против личности, 12,7 % — за злоупотребления властью. Вишерский в [Вишерский 1930: Т. 2, 48] отмечает, что женщины совершали преступления, связанные с самогонованием, в 8–10 раз чаще мужчин.

щины <...> в целях увеличения своих скудных доходов»⁵³. В 1924–1925 годах 51 % осужденных домохозяек получили срок именно за самогонование; в совокупности с преступлениями против собственности они составляли до 84 % преступлений, совершенных домохозяйками [Тарновский 1926: 677]⁵⁴. Кроме того, как отмечает Учеватов, половина из всех безработных женщин, оказавшихся в тюрьме, совершили правонарушения, связанные с самогоном [Учеватов 1925: 50]⁵⁵. Более того, у большинства самогонщиц было на иждивении двое или более детей и среди них был высокий процент вдов. Столь большой пропорции вдов не наблюдалось больше ни в какой категории преступников — как отмечал криминолог Б. Н. Змиев, это стало результатом войны, в которой много мужчин погибло на фронте⁵⁶. Кроме того, женщины чаще совершали преступления, связанные с самогоном, повторно. Согласно данным тюремной переписи 1926 года, среди рецидивистов 18,8 % мужчин и 31,6 % женщин были приговорены за самогонование. Более высокий процент рецидивизма среди женщин Утевский объяснял тем, что самогонование — это прежде всего женское преступление, не требующее специальных навыков [Утевский 1927а: 46–47]⁵⁷. Статистик

⁵³ СОД. 1925. № 2. С. 26.

⁵⁴ Тарновский отмечает, что только среди безработных женщин уровень преступлений против собственности превышал уровень преступлений, связанных с самогонованием.

⁵⁵ Родин в [Родин 1924: 130] отмечает, что 56 % безработных женщин совершали преступления, связанные с самогонованием; таких мужчин, для сравнения, было 25,3 %. Учеватов в [Учеватов 1927: 123] отмечает, что 18,1 % всех преступников-самогонщиков были безработными.

⁵⁶ См. [Аронович 1924: 186–187; Гернет 1924б: 150–151; Новицкий 1930: 31; Змиев 1929: 50]. Согласно анализу Новицкого, исходя из данных тюремной переписи 1926 года, 48,7 % обвиненных в преступлениях, связанных с самогонованием, были вдовы, 37,9 % состояли в браке, только 11,9 % были одиноки или разведены.

⁵⁷ При этом подавляющее большинство лиц, арестованных за самогонование, нарушали закон впервые. Согласно [Аронович 1924: 178–179], 78,5 % самогонщиков раньше к ответственности не привлекались, только у 6,4 % было два или более предыдущих приговоров. Он сравнивает эти данные с данны-

Родин придерживался той же точки зрения, отмечая, что преступления, связанные с самогоном, характерны для женской преступности, большинство осужденных по этой статье женщин преступили закон впервые, а самогоноварением занялись, потому что это легкий способ заработка [Родин 1923: 68]. Криминолог Меньшагин пошел еще дальше, подчеркнув, что преступления, связанные с самогоном, — это шаги к иным преступным действиям, прежде всего к содержанию борделей и проституции, то есть к другим относительно легким путям заработка, не требующим от женщин ни специальных навыков, ни физической силы [Меньшагин 1927: 169].

Кроме того, криминологи подчеркивали разницу между числом женщин-самогонщиц в городах и на селе. Хотя в целом уровень преступлений, связанных с самогоном, на селе оставался высоким, статистика говорила криминологам, что в сельской местности женщины, в сравнении с мужчинами, совершают меньше таких преступлений, чем в городе [Статистика осужденных 1930: xii]. Например, в 1924 году преступления, связанные с самогоном, совершили 44,5 % всех женщин, осужденных в городах, а в сельской местности — всего 40,4 %; для сравнения, таких мужчин в городах было 8,7 %, а на селе — 11,5 % [Ю. Б. 1925: 25]⁵⁸. Только в Москве с 1924 по первую половину 1926 года преступления, связанные с самогоном, составляли 52,2 % всех преступлений против порядка управления; что до Московского уезда, там процент равнялся лишь 26,7. Женщины составляли почти 60 %

ми по кражам и грабёжам и отмечает, что 58,5 % совершивших кражи и 67,8 % грабителей ранее не привлекались, у 17 % воров и 13,7 % грабителей имелось две или более предыдущих судимости.

⁵⁸ См. также [Тарновский 1925: 28]. Согласно статистике, женщины чаще всего совершали именно преступления, связанные с самогоноварением. Второй по частоте среди женщин была кража, с уровнями в 25,5 % в городах и 21,2 % на селе. Согласно официальной статистике, 30 % женщин совершали преступления, связанные с самогоноварением, в городах и 69,5 % — на селе (для мужчин цифры составляли соответственно 15 % и 84 %). Данные не отражают разницы в населении между городом и деревней. См. [Статистика осужденных 1927: 90-91].

самогонщиков в Москве и лишь немногим более 30 % в сельской местности [Учеватов 1927: 120]⁵⁹. Разумеется, на цифры могло повлиять то, что кампания была развернута прежде всего в городах. Тем не менее, более высокий уровень этих «сельских» преступлений в городах только подчеркивал для криминологов сохраняющуюся «примитивность» женщин, проживавших в городах, равно как и те сложности, с которыми они сталкивались при попытках вступить в «борьбу за существование».

На криминологическое толкование деятельности самогонщиц в городах влияла и оценка уровня образования правонарушителей. Анализируя личные качества самогонщиков в «Преступном мире Москвы», А. М. Аронович выяснил, что большинство самогонщиков крестьянского происхождения были неграмотными. В целом уровень неграмотности среди преступников составлял 33,2 %, при этом никакого образования не имели 55 % самогонщиц — среди мужчин, для сравнения, таких было всего 9,9 %. Кроме того, общий уровень образования у самогонщиц был ниже, чем у женщин, совершавших иные преступления [Аронович 1924: 181–182]⁶⁰. Эти цифры заставляют Ароновича сделать вывод, что самогонование был видом деятельности, типичным и доступным для неграмотных невежественных деревенских женщин.

Возможно, именно из-за того, что среди самогонщиков был высок процент «невежественных» женщин, криминологи подчеркивали, что в целом преступление это достаточно безобидное, в борьбе с ним следует прибегать не столько к строгим наказаниям, сколько к перевоспитанию. Для Ароновича самогонщики, в основном происходившие из крестьянской среды, не представляли собой «классовых врагов пролетарской республики» [Аронович 1924: 182]. Напротив, такие преступники, большинство из которых составляли женщины, считались жертвами собственной плохой подготовленности

⁵⁹ В редакции Уголовного кодекса за 1926 год статьи о самогоноварении были перенесены в общую категорию преступлений против порядка управления, а категория экономических преступлений была упразднена.

⁶⁰ См. также [Гернет 1927б: 158].

к жизненной борьбе. <...> Их слабое интеллектуальное развитие не делает различия между торговлей самогоном и торговлей разрешенными к продаже продуктами. Понятие вредности самогона у них отсутствует. Оно имеется только в такой степени, как понятие, что курить нехорошо [Аронович 1924: 189–190].

Итак, невежество женщин и недостаточная их подготовленность к тому, чтобы справляться с трудностями повседневной жизни, обуславливали «сельский» характер их правонарушений.

Помимо прочего, женщинам за самогонование назначали более легкое наказание. Низкий уровень «сознательности» большинства женщин, занимавшихся самогонованием, равно как и бытовой характер этого преступления заставляли суды выносить достаточно мягкие приговоры — в сравнении с приговорами за другие преступления. Например, в начале 1925 года стандартным наказанием за самогонование в Москве была частичная конфискация имущества, плюс условный срок и краткое тюремное заключение [Смирнов 1925: 4]⁶¹. М. Соловьев, член народного суда Енисейского округа, подчеркивал, что изменения, внесенные в статью 140 в 1924 году, где речь шла о смягчении наказания при вынужденном совершении преступного деяния, позволили судам эффективнее действовать в соответствии с классовыми принципами и активнее участвовать в просвещении сельского населения. Он утверждал, что образование и агитация помогают крестьянам понять сущность советской власти и что кампания против самогонования идет рука об руку с борьбой с неграмотностью: и то, и другое направлено на искоренение отсталости и невежества в сельской местности и среди крестьян через просвещение [Соловьев 1924: 424–425]. Гернет также подчеркивал, что строгое отношение к самогонщикам только «бьет лежачего». Долгие сроки высылки и тюремного заключения поставят семью самогонщика в безвыходное положение

⁶¹ См. также [Статистика осужденных 1926: xii–xiii]; СОД. 1925. № 2. С. 78.

ние, за счет чего возникнут новые причины к совершению преступления [Гернет 1924б: 151]. Как отмечал Аронович,

репрессия <...> явилась сама фактором преступности, ибо, при конфискации имущества, нарушала благосостояние семьи, и так уже нарушенное, и в результате родила пауперизм, а высылка из Москвы создавала из малолетних членов семьи лишние кадры беспризорных и новых кандидатов в преступники [Аронович 1924: 189–190].

Несмотря на то, что советское правительство рьяно взялось за кампанию против самогоноварения, профессионалы подчеркивали, что в деле борьбы с этим конкретным преступлением репрессивные меры неэффективны. Отчасти их нежелание рекомендовать тюремное заключение проистекало из того, что судебная система просто задыхалась от количества арестованных самогонщиков; впрочем, влияли на криминологов и их представления о женской преступности. Они считали, что преступления, связанные с самогоноварением, совершают невежественные женщины, плохо подготовленные к «борьбе за существование» и, по сути, недостаточно просвещенные, чтобы понимать противозаконность своих действий. Назвав самогоноварение типично «женским» преступлением, а спрос на самогон — типично «крестьянским», криминологи напрямую связали его с невежеством и недостатком просвещения, которые наблюдали на селе, и одновременно подчеркнули, что для эффективной борьбы с этим злом необходимо обучение и просвещение крестьянства вообще и крестьянок — в особенности.

Заключение

В предисловии к «Преступному миру Москвы» Гернет пишет, что, судя по тенденциям в московской преступности, это самый современный и прогрессивный город в стране. Он описывает, как со временем «типичные черты столичной преступности

становились в Москве все более и более выпуклыми и заметными и как постепенно сглаживались такие черты, которые были свойственны не столице, а деревне» [Гернет 1924а: xx]. Даже в сравнении с бывшей столицей империи, нынешним Ленинградом, Москва демонстрировала более «городскую» преступность. Гернет подчеркивал, что в Москве даже перед Первой мировой войной и революцией совершалось меньше особо тяжких преступлений, чем в Ленинграде. Кроме того, в Москве был выше уровень преступности, связанной с профессиональной деятельностью, — еще один показатель того, что жители Москвы были цивилизованнее, прогрессивнее и урбанизированнее, чем их северные соседи [Гернет 1924а: xxiii–xxiv]. Расхваливая «особую физиономию» Москвы, Гернет подчеркивает прогрессивный характер новой столицы страны и яркое отличие, которое этот крупный город демонстрирует в сравнении с остальной частью страны в смысле преступности. Однако эта «позитивная» оценка московского преступного мира затушевывала наличие как в столице, так и во всей стране населения с давней привязкой к сельской местности, которое пыталось совершить непростой переход к жизни в современном социалистическом обществе.

Криминологи отмечали характерные черты городской и сельской преступности, отличавшие одну от другой. Они считали, что горожане сознательнее и прогрессивнее крестьян, которые сохраняют привязку к традиционному, устаревшему образу мышления, а значит, более склонны к совершению преступлений определенного рода. В то же время считалось, что город — это средоточие пороков, обманов и опасностей, сельская местность же сохраняет незапятнанность и чистоту, оставаясь в стороне от воздействия современной жизни. В рамках этой дихотомии женщины представлялись особенно отсталыми и невежественными, прочно привязанными к устаревшему образу жизни и к патриархальности крестьянской семьи. После попадания в город женщинам приходилось активнее участвовать в «борьбе за существование»; соответственно, они приобретали более разнообразные преступные наклонности, делались современнее, урбанизированнее. При этом уровень вовлеченности женщин

в типично «женские» и «сельские» преступления оставался достаточно высоким, что поддерживало представления о врожденной отсталости женщин и отсутствии в их среде прогресса в смысле модернизации, вне зависимости от того, где они живут, в городе или на селе. Подчеркивая, что женские преступления носят «сельский» характер, криминологи воспроизводили патриархальные взгляды на женщин, что ограничивало их понимание роли женщин в современном социалистическом обществе и подчеркивало, насколько женщины по-прежнему далеки от идеалов большевистской революции.

Кроме того, криминологи отмечали разницу между старым образом жизни, связанным с сельской местностью, и продвижением к новому образу жизни в рамках переходного периода. Большевики заявляли, что основы старого общества уничтожены, однако новые пока не построены. В этом смысле большевики полагались на просвещение и грамотность: получив образование, люди быстрее пойдут по пути социалистического преобразования. Сосредоточившись на том, что противодействовать женской преступности надо средствами просвещения, а не наказания, криминологи тем самым подчеркивали отсталость и невежество женщин-преступниц. Наказание способно только отягчить положение в группе, представительницы которой плохо понимают даже то, что действия их являются преступными. Хотя криминологи верили в действенность просвещения в борьбе с женской преступностью, они постоянно делали упор на отсталость и примитивность женщин, тем самым давая понять, что достигнуть этой цели будет непросто.

Рассуждения криминологов о женской преступности свидетельствуют не только о том, что, по их мнению, имело место «отставание темпа развития новой культуры» [Герцензон 1928: 137–138], но и о сложившемся у них представлении, что «устаревший образ жизни» в женской среде все еще не изжит. В итоге на первое место выходила не четкая географическая локализация преступления, но суть содеянного, а также социальное происхождение и половая принадлежность преступника: крестьянки совершали «сельские» преступления даже после долгой жизни

в городе; тип преступления определял его географию. Отсутствие среди женщин «прогресса» в плане преступности убеждало криминологов в том, что социалистические идеалы и современная жизнь пока так и не смогли проникнуть ни в сельскую местность, ни в женский склад ума, и женщины остаются отсталым «сельским» элементом советского общества. В результате ученые продолжали сосредоточиваться на «традиционных» свойствах женской преступности, на сохранении в ней бытового, сельского, отсталого начала — все эти тенденции особенно явственно выходили на первый план при рассмотрении детоубийств.

Глава пятая

Пережитки прошлого

Детоубийство в теории и на практике

В 1928 году Московский кабинет по изучению личности преступника и преступности опубликовал сборник из десяти статей, где анализировались московские убийства и убийцы. Наряду с работами по психопатологии убийц, убийствам в СССР и за рубежом и по судебной практике, в сборник вошли три статьи, где отдельно рассматривалось детоубийство [Краснушкин и др. 1928]. Детоубийства на тот момент составляли менее одной шестой от общего числа убийств, рассматривавшихся в судах РСФСР, то есть столь заметный упор, сделанный на них в сборнике, говорит о пристальном интересе криминологов к этому вопросу. Более того, если среди приговоренных за преступления против личности женщины составляли лишь около 16 %, то среди детоубийц их было почти 90 %, что позволяет назвать это преступление типично «женским» [Гернет 1926: 85]¹. Для советских исследователей 1920-х годов детоубийство являлось проявлением пережитков устаревших взглядов и морали,

¹ Как правило, подавляющее число детоубийц составляли женщины. По сведениям Гернета, среди осужденных за детоубийство в Российской империи в поздние годы ее существования женщины составляли 100 %, в Германии — 100 %, во Франции — 95,6 %, в Италии — 91,95 %. Для сравнения, женщины составляли около 10 % от всех преступников Европы (начиная с низких 2 % в Греции и заканчивая 21,3 % в Англии; во Франции их было 13 %, а в Российской империи — 13,6 %). См. [Гернет 1911: 104–106, 109, 111].

которые Октябрьская революция, по идее, должна была искоренить, и воплощало в себе все те элементы — женскую сексуальность, физиологию, примитивность, невежество, принадлежность к сельскому слою, — которые считались характерными для женской преступности. Большевики надеялись, что новая социалистическая мораль положит конец «отсталости», в которой они видели причину таких преступлений, как детоубийство. Однако, несмотря на все попытки преобразить Советский Союз и советских людей, женщины продолжали время от времени лишать своих детей жизни, и явление это вызывало серьезную озабоченность у советских криминологов, психологов и социологов, занимавшихся изучением преступности переходного периода.

В 1920-е годы детоубийство находилось в центре внимания криминологов, при этом научный интерес к этому виду преступлений был не нов. Законодательные реформы царского периода заставили больше считаться с ценностью человеческой жизни, изменив представления о «естественной» роли женщин как матерей и кормилиц, а растущий интерес к «женскому вопросу» вызвал у ученых середины XIX века интерес к детоубийству еще до того, как началось системное научное изучение преступлений². Опираясь на традиции европейского Просвещения и новейшие тенденции в европейской науке, российские ученые выработали собственные взгляды на детоубийство. К примеру, споры по поводу детоубийства в викторианской Англии, как правило, вращались вокруг преступного деяния, совершенного бедной незамужней женщиной против незаконнорожденного ребенка, при этом упор делался на том, что считалось отсутствием «естественных» материнских инстинктов у таких преступниц, но при этом оговаривалось и то, что и мать, и ребенок до определенной степени являются жертвами бедности и предательства [Higgen-

² Публикация ССДУ, начавшаяся в 1873 году, сделала возможным систематическое научное изучение преступности, основанное на эмпирических данных (см. Главу 1). Среди ранних работ о детоубийстве — [Таганцев 1868; М. Г. 1868; Жуковский 1879; Шашков 1871].

botham 1989)³. Российские авторы также проявляли сочувствие к женщинам, совершавшим подобные поступки. В своей книге 1871 года «Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция» писатель С. С. Шашков критиковал исторически сложившееся суровое отношение к детоубийцам, считая строгое наказание малодейственным и призывая к более сострадательному подходу, который полностью учитывал бы жизненные обстоятельства матери [Шашков 1871]. Криминолог Гернет мыслит в том же направлении в своем социологическом исследовании «Детоубийство» (1911), где проанализирована статистика, сравниваются тенденции, уровни, факторы и законы в странах Европы и в России. Как и Шашков, Гернет подчеркивает, что к детоубийцам следует проявлять снисходительность и сострадание. Он рассматривает прежде всего социологические факторы и утверждает, что детоубийство и аборт представляют собой два противоположных направления общественного развития. Согласно его наблюдениям, при увеличении числа абортов число детоубийств снижалось соответственно [Гернет 1911; 244]. Поскольку Гернет, равно как и другие специалисты по общественным наукам предреволюционного периода, считали аборт современным, рациональным и урбанистическим решением вопроса нежелательной беременности, в высоком уровне детоубийств они видели непосредственное отражение низкого уровня модернизации и цивилизованности российского населения, равно как и веское основание к легализации абортов. Уровень детоубийств являлся для них ярким показателем того, как далеки еще крестьяне и женщины от современной жизни и рационального мышления.

По мнению этих исследователей, работавших в поздний период существования империи, детоубийство также свидетельствовало о том, что у женщин в условиях социальной стигмы или незаконности происходит слом «естественных» материнских инстинктов. Специалисты подчеркивали роль материальных

³ См. также [Langer 1974; Ruggiero 1992]. Среди исторических исследований детоубийств в Европе, помимо прочего, [Donovan 1991; Huber 2007; Jackson 2000; Leboutte 1991; Wilson 1988; Wrightson 1982]. См. также [Bechtold, Graves 2006].

условий (семейное положение, материальная обеспеченность, давление со стороны окружения), равно как и роль женской физиологии (тяжелый опыт родов без посторонней помощи) в совершении подобных преступлений, подчеркивая, что такие «жертвы» нуждаются в снисходительном и сострадательном отношении. Те же взгляды сохранились и после революции, однако советская идеология смотрела на это преступление с другой стороны. В работах советских криминологов раннего периода детоубийство превратилось не просто в свидетельство тяжелого материального положения женщин, но и в явный признак женской культурной отсталости. Поступок этот говорил о невежестве и несознательности преступниц, а его совершение часто свидетельствовало об эгоизме: личные интересы ставились выше общественных. Соответственно, совершая детоубийство, преступницы проявляли отсутствие сознательности и неспособность полностью проникнуться идеалами большевистской революции.

Необходимо отметить, что рассуждения советских криминологов о детоубийстве отражали их общие представления о женской преступности, которые строились на «отсталости и невежестве» женщин и их «сельском» мышлении. В детоубийстве проявлялось влияние и воздействие женской физиологии и психологии на противоправные действия. Оно воплощало в себе не искорененный пережиток внутри социалистического государства и подтверждало представления криминологов об общественном положении женщин. В этой главе будут рассмотрены законодательные подходы к детоубийству в первые годы существования Советской России, а также криминологический анализ этого преступления; в ней отмечено, какую важную роль играли понятия класса и пола в трактовке природы детоубийств и в поиске объяснений тому, почему они продолжали совершаться и после революции. Будучи самым «типичным» женским преступлением, а также действием, которое наиболее откровенно искажало «естественную» для женщины роль матери, детоубийство стало для криминологов самым красноречивым мерилom модернизации советского общества и общественной сознательности советских граждан.

Детоубийство и закон

В историческом плане, законы против детоубийства напрямую связывали его с сексуальной моралью. В древности детоубийство считалось приемлемым и широко распространенным способом регулирования состава семьи. С принятием христианства детоубийство стали клеймить как безнравственный поступок, напрямую связанный с нестатусным сексом и незаконнорожденностью⁴. Российское законодательство раннего Нового времени отражало в себе эти подходы, рассматривая намеренное причинение смерти незаконнорожденному младенцу как преступление и осуждая совершивших его лиц за безнравственность, причем не в связи со смертью младенца как таковой, а в связи с предшествовавшими ей обстоятельствами. Уложение о наказаниях 1649 года гласило, что убийство младенца, рожденного «в грехе» или «похоти», карается смертью. Однако во всех прочих случаях наказание за гибель младенца было куда менее строгим: тюремное заключение на один год. Более того, в законе было прописано, что запрещено карать смертью родителей, состоящих в законном браке и повинных в убийстве собственных младенцев. Тем самым в Уложении проводилось различие между детоубийствами, совершенными из эгоистических соображений — например, с целью сокрытия добрачных половых отношений, — и теми, которые мать совершала, поскольку не имела средств растить ребенка или не хотела увеличения семьи. Определение типа преступления строилось на сущности половой связи, приведшей к рождению ребенка, главная идея состояла в том, чтобы препятствовать разврату. Пункты Уложения совпадают со взглядами на детоубийство как сексуальное преступление, которых придерживалась Русская православная церковь. Незаконнорожденный ребенок — явственное доказательство незаконного (и безнравственного)

⁴ Как отмечает историк К. Райтсон, «если христианская общественная мораль и сделала достаточно много для пресечения детоубийств по соображениям общинного или семейного интереса, она же заставляла чаще прибегать к нему, чтобы избежать стигматизации или незаконнорожденности» [Wrightson 1982: 5]. См. также [Langer 1974: 354–355; Fenman 1986: 5].

сексуального поведения, которое требует принятия суровых мер против матери [Levine 1996: 221–223; Ransel 1988: 10–12]⁵. Тем самым Русская православная церковь и Уложение сформировали подход к сексуальной морали, который укреплял патриархальные отношения и подчеркивал важность брака и законных сексуальных отношений для женщин.

Помимо наказания, обозначенного в законе о детоубийстве, Российское государство иногда предлагало женщинам альтернативы. Например, реформаторы XVIII века считали искоренение детоубийств одной из важных задач государственного строительства. Так, политика Петра I, направленная на повышение рождаемости с целью увеличения числа рабочих и солдат, подвигла его на создание в столичных городах приютов для «засорных младенцев», дабы их матери «вящего греха не делали, сиречь убийства»⁶. Екатерина II, под влиянием идей европейского Просвещения, расширила систему сиротских домов — это была мера по вскармливанию и воспитанию образованных, просве-

⁵ См. также [Гернет 1911: 50; Бычков 1929: 52]. Наказания, предусмотренные в Уложении за другие виды убийств, совершенных женщинами, были куда более существенными, чем в случае убийства ребенка. Например, женщин, повинных в смерти мужа, закапывали живьем в землю (мужей, повинных в смерти жен, наказывали по обстоятельствам). Д. Рэнсел подчеркивает, что суровое наказание за убийство незаконнорожденных младенцев не свидетельствовало о том, что детская жизнь ценилась так уж высоко, скорее речь шла о попытке суровым примером предотвратить внебрачные половые связи [Ransel 1988: 16–17].

⁶ Рэнсел утверждает, что дома для подкидышей Петр I основал как часть армейской реформы 1714–1715 годов. Действия его были направлены на увеличение трудовых ресурсов, в незаконнорожденных детях он видел будущих работников и солдат и подчеркивал необходимость сохранить как можно больше жизней. Рэнсел также полагает, что петровская политика приписывания крестьян к мануфактурам, равно как и политика призыва в армию сделали факты незаконнорожденности и детоубийства более зримыми и привлекли к ним доселе невиданное общественное внимание [Ransel 1988: 20–22, 26]. В [Гернет 1911: 55–56] отмечено, что Петр I понимал: женщины убивают незаконнорожденных детей из чувства стыда, страха перед общественным осуждением — именно это и подвигло его создать дома для подкидышей. В то же время для женщин-детоубийц он сохранил суровое наказание.

щенных, лояльных граждан [Ransel 1988: 31]⁷. Однако хотя дома для подкидышей позволяли женщинам, жившим неподалеку от больших городов, избавляться от нежеланных младенцев, вряд ли они как-то повлияли на уровень детоубийств или на юридические или общественные меры в отношении преступниц.

К середине XIX века изменение отношения к женщинам привело к сдвигам в представлениях о детоубийстве в России. Рост заботы о благосостоянии человека, изменение взглядов элиты на положение женщины в обществе и возросший интерес к физиологическому и психологическому состоянию женщин в процессе и после родов породили представление, что на детоубийство толкают чрезвычайные обстоятельства, а значит, в таких ситуациях надлежит проявлять снисходительность [Змиев 1923: 2]⁸. Этот более человечный подход во многом отражал в себе изменение отношения к женщинам и детоубийству в Западной Европе. В XVII и XVIII веках женщин по всей Европе сурово наказывали за убийство собственных детей, часто приговор представлял собой смертную казнь, и делалось это из страха перед детоубийством как нарушением традиционного общественного уклада. Однако к концу XVIII и началу XIX века влияние идей Просвещения и идеалов романтизма заставило европейских судей и законодателей-реформаторов взглянуть на женщин-детоубийц с меньшей категоричностью: женщины предстали слабыми и незащищенными, достойными жалости и сострадания [Schraeder 2002: 132–133].

Похожим образом изменялось отношение к детоубийцам и в России. В начале XIX века царское правительство начало реформу законодательной системы и кодификацию российского законодательства. Созданный в итоге уголовный кодекс, начавший действовать в 1845 году, включал в себя определение детоубийства, предполагавшее менее суровое наказание в сравнении с другими видами убийств в случае, если незамужняя женщина

⁷ См. также [Chalidze 1977: 124–125].

⁸ Эта тенденция в России отражала в себе более общие интеллектуальные сдвиги в Европе. См. [Wrightson 1982: 11].

убивала незаконнорожденного ребенка сразу после родов «от страха или стыда»⁹. К менее тяжким схожим преступлениям относились сокрытие мертворожденного и лишение ребенка родительской заботы — и то, и другое наказывалось полуторагодовым сроком лишения свободы [Боровитинов 1905: 14–15; Бычков 1929: 52]¹⁰. Обозначив эти особые обстоятельства, связанные с детоубийством, российский уголовный кодекс превратил незаконнорожденность в «смягчающее, а не отягчающее обстоятельство в случае с детоубийствами» [Ransel 1988: 19]. Столь узкое определение детоубийства свидетельствовало, что первопричиной преступления остается то же негативное отношение к незаконнорожденности, на котором основывались законы раннего Нового времени. Однако в кодексе 1845 года воплощен иной набор ценностей. Женщин не клеймили за разврат, напротив, в кодексе было прописано определенное сочувствие к их тяжелому положению: в итоге за первичное преступление наказывали лишь небольшим тюремным сроком или ссылкой. В этом изменении проявились идеалы Просвещения, для которого было свойственно сочувствие к незамужним матерям и стремление их защитить, равно как и растущее понимание роли «естественных» женских физиологических реакций, проис-

⁹ Согласно Уголовному кодексу, детоубийц приговаривали к тюремному заключению на срок от 4 до 10 лет, с поражением в правах. Во всех иных случаях совершения женщинами убийств наказание предполагало поражение в правах и пожизненную каторгу. Сокращенный срок за детоубийство могли получить только впервые нарушившие закон. См. статью 1451 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (Свод законов Российской империи. Т. 15. Петроград: И. И. Зубкова, 1916. С. 325). Уголовный кодекс 1845 года продолжал действовать до Октябрьской революции, хотя в 1903 году был впервые подготовлен новый.

¹⁰ См. также [Гернет 1911: 50–62]. Как пишет В. Линденберг, суды часто признавали, что смерть ребенка наступила не по вине матери, и женщин наказывали только за сокрытие тела младенца — мягче, чем за детоубийство. См. [Линденберг 1910: 54]. Число приговоров за сокрытие тела младенца было велико, и это преступление считалось «символом нравственного упадка и половой распущенности», при этом доказать его было сложнее, чем детоубийство [Frank 1996: 556]. См. также [Змиев 1923: 89].

текающих из женского репродуктивного цикла, а также понимание обществом нравственной стороны детоубийства¹¹.

Делая упор на «страхе или стыде» молодых невежественных женщин как основном факторе детоубийства, уголовный кодекс 1845 года подчеркивал необходимость большего снисхождения при вынесении приговоров. Более того, установив крайне мягкое наказание за сокрытие тела и лишение родительской заботы, он допускал альтернативные объяснения гибели маленького ребенка, благодаря которым с женщины снималось обвинение в детоубийстве. Например, когда следователям не удавалось прояснить состояние здоровья ребенка при рождении, это способствовало смягчению приговора. Однако внесенная в уголовный кодекс узкая законодательная трактовка детоубийства только как преступления, совершенного незамужней женщиной против ее незаконнорожденного младенца, свидетельствует о том, что обвинения в детоубийстве оставались для государства способом контроля над половым поведением, а также о том, что труп младенца оставался самым убедительным доказательством незаконных отношений. Тем не менее, достаточно мягкие приговоры, прописанные в кодексе за это преступление, отражают тот взгляд, что незамужних матерей считали жертвами общественной морали и собственных их физиологических слабостей — такими же жертвами, как и убитые ими младенцы.

Многие дореволюционные исследователи возражали против столь узкого определения детоубийства в уголовном кодексе, поскольку оно не только исключало возможность, что преступление было совершено под влиянием иных факторов, но и не принимало в расчет привходящих обстоятельств. В своей монографии «Детоубийство» (1911) Гернет подчеркивает, что закон

¹¹ Зародившееся в XVII и XVIII веках сострадание к незаконнорожденным привело к распространению по всей Европе домов для подкидышей, где можно было анонимно оставить ненужного ребенка — это служило альтернативой детоубийству. См. [Ransel 1988; Ulbricht 1985]. В [Engelstein 1992] проанализирован медицинский дискурс конца XIX века, в котором сексуальная девиантность и «ментальный дисбаланс» связываются с нарушениями менструального цикла.

предполагает определенные послабления для детоубийц только в тех случаях, когда преступление совершено в ненормальных обстоятельствах рождения незаконного ребенка. Если следовать такой логике, задается он вопросом, то почему в подобных обстоятельствах женщины могут совершить только убийство? Например, следует ли считать, что женщина находится под психологическим влиянием родов в том случае, если она крадет, чтобы прокормить ребенка? Кроме того, Гернет отмечает, что иногда на преступление женщин толкают не страх или стыд, а иные факторы. Желание отделаться от обузы, боязнь лишиться своего положения или желание спасти ребенка от жизни в нищете порой тоже толкают на убийство. И, наконец, определение этого преступления не учитывает жизненных обстоятельств матерей-преступниц. При том что большинство женщин, которых судили за детоубийство, происходили из рабочих или крестьянок, Гернет не исключал возможности, что по этому закону и представительнице высшего класса легко будет избежать наказания:

Представим себе случай совершения детоубийства, — рассуждает он, — девицею, обладающею достаточными материальными средствами и даже богатою, не скрывавшей своей беременности, родившей при помощи опытных акушеров и не боявшейся ни позора, ни бедности, но эгоистически не желавшей связывать себя новыми заботами о ребенке. Будет ли такое убийство <...> детоубийством?

Среди людей состоятельных причинами к детоубийству можно назвать эгоизм, а не бедность и стыд, и в глазах Гернета такое преступление полностью равнозначно убийству. Итак, критикуя российский закон о детоубийстве, Гернет подчеркивал объем его положений, которые предполагали определенные послабления в связи с тем, что это преступление не считалось особо тяжким, и при этом действие закона не распространялось на некоторых лиц, чьи поступки надлежало бы трактовать как детоубийство. В целом, Гернет считал, что закон не принимает в расчет всю совокупность общественно-экономических обстоятельств, сопряженных с этим преступлением [Гернет 1911: 186–187, 189, 203, 208].

При царизме толкование детоубийства в законах зачастую не отражало в себе того, как все происходило на практике. Безусловно, патриархальная структура русской крестьянской семьи играла определенную роль в совершении детоубийств, но не менее значимыми оказывались и экономические соображения, и отсутствие каких-либо альтернатив¹². Однако, тогда как в рамках закона детоубийством считалось преступление, совершенное незамужней женщиной из стыда или страха, в сельской местности к детоубийству часто прибегали и замужние женщины, чтобы контролировать состав семьи. По наблюдениям этнографа О. П. Семеново-Тян-Шанской, в российской деревне конца XIX века женщины часто совершали детоубийство, «заспав» новорожденного, то есть придавив его во сне. Она же отмечает, что большинство повинных в детоубийстве женщин действовали осознанно и целенаправленно. То, что крайне незначительное число женщин попадало по этому поводу под арест и под суд и получало приговор, свидетельствует, что как высокая младенческая смертность, которая была обычным явлением, так и детоубийство с целью контроля состава семьи были для русского дореволюционного крестьянства обыденными вещами, что отражало глубокую пропасть между реальной ситуацией и статьями закона [Семенова-Тян-Шанская 1914: 5, 54–57, 97–98]¹³.

После Октябрьской революции большевики попытались ликвидировать материальную нужду и патриархальную мораль — условия, которые они считали причинами детоубийства. Законо-

¹² В силу патриархальной структуры семьи в России женщинам до свадьбы предписывалось сохранять девственность. Блюсти женскую честь полагалось отцам и мужьям — этим определялась их власть над женщинами, равно как и статус в общине. См. [Worobec 1992: 44; Frank 1987: 163–164]. См. также [Levin 1989; Engelstein 1992].

¹³ «Заспать» ребенка (навалиться на него во сне и задушить) было распространенным методом детоубийства в Европе раннего Нового времени [Feilman 1986: 5]. На число оставления детей и детоубийств в России также, возможно, влияли ограничения по приему незаконнорожденных в дома для подкидышей — после 1891 года была предпринята попытка развивать в родителях ответственность через государственную опеку над нежеланными детьми. См. [Ransel 1988: 106–129].

веды и криминологи, например, Гернет, воспользовались новооткрывшейся возможностью пересмотреть принятые царским правительством законы, касающиеся детоубийства, которые им представлялись неприемлемыми. Для них детоубийство было преступлением, вызванным отсталостью, совершавшимся из-за неведения об альтернативах и под влиянием устаревшей морали, осуждавшей неузаконенные половые связи. В новом социалистическом обществе, подчеркивали эти исследователи, легальные аборт ликвидируют необходимость избавляться от нежеланного потомства, а государственная поддержка и алименты дадут матерям-одиначкам достаточно средств для того, чтобы самостоятельно растить своих детей. Более того, в Семейном кодексе, принятом в 1918 году, было упразднено понятие незаконнорожденности как социального положения — в итоге все дети, вне зависимости от семейного положения родителей, стали законными в глазах государства. Для большевиков и криминологов эти меры стали первым шагом к созданию нового морального облика граждан, а также современного общества, в котором условия, приводящие к детоубийству, будут устранены.

Поскольку социальная политика советского государства якобы позволяла устранить условия, которые толкали женщин на детоубийство, выделять его в качестве особого преступления сочли нецелесообразным. Из Уголовного кодекса РСФСР были исключены все упоминания детоубийства. Оно теперь попадало в широкую категорию «преступления против личности», считалось разновидностью преднамеренного убийства и наказывалось тюремным заключением вплоть до восьми лет. Лишение ребенка родительской заботы осталось отдельным правонарушением, за него полагался срок до трех лет [Бычков 1929: 53]¹⁴. Причислив

¹⁴ См. также: Уголовный кодекс РСФСР, 1922. С. 36. За детоубийство наказывали по статье 142, параграфы Д и Е, как за умышленное убийство в тех случаях, когда убийство совершалось лицом, на котором лежала забота об убитом. Преступление наказывалось тюремным заключением от восьми лет и более. В редакции 1926 года была изменена только нумерация статей (статья 142 стала статьей 136) и наказание за убийство было увеличено максимум до десяти лет (Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 г. С. 37).

детоубийство к убийствам, авторы уголовного кодекса попытались устранить «привилегированность» этого преступления, в силу которой женщины не несли строгого наказания, поскольку действовали «из страха или стыда». Поясняя это изменение, авторы уголовного кодекса отметили, что исходили из следующего: советские законы о семье — устранение понятия незаконнорожденности, выплата пособий и легализация аборт — положат конец детоубийству. А значит, при советской системе женщины не будут больше бояться финансового бремени одинокого материнства или испытывать стыд по причине своего незамужнего статуса. Поскольку советский закон положил конец тем условиям, которые лежат в основе детоубийства, смягчать за него наказание более не требуется. Тем самым детоубийство приравнивалось к убийству.

Разница между дореволюционным и раннесоветским подходами к детоубийству связана прежде всего с предпосылками преступления: в дореволюционном законодательстве женщина, совершившая детоубийство, заслуживала снисхождения по причине нравственного «страха или стыда», которые ей приходилось терпеть из-за появления незаконного ребенка; для большевиков «страх или стыд» напрямую отражали невежество женщин, их медлительность в осознании тех благ, которые им дала революция, неспособность преодолеть «отсталость» и стать сознательными советскими гражданами. Соответственно, детоубийство воплощало в себе сохранившийся культурный разрыв между действиями преступника и попытками государства модернизировать страну.

Хотя после революции в трактовке детоубийства произошли определенные сдвиги, советские суды продолжали проявлять снисхождение к женщинам, особенно крестьянкам, убившим своего ребенка. Судьи — многие из них и сами были крестьянами — по-прежнему считали, что незамужние женщины убивают незаконнорожденных сразу после рождения «из страха или стыда». Суды неохотно выносили таким женщинам суровые приговоры за преступление, совершенное от отчаяния или невежества. Несмотря на строгость законов, касающихся убийств, женщинам, признанным виновными в детоубийстве, давали небольшие сроки — наказание смягчалось в силу их сложного

социально-экономического положения, нестабильного душевного состояния, низкого уровня образования и минимальной общественной опасности¹⁵. Мосгубсуд давал женщинам-детоубийцам условные сроки¹⁶. Более того, из 536 случаев детоубийств, рассмотренных Гернетом, только в 14 был назначен максимальный срок — восемь лет тюремного заключения [Гернет 1928: 106]¹⁷.

При этом некоторые советские криминологи сетовали на то, что в Уголовном кодексе нет отдельной статьи про детоубийство. Они считали положительным сдвигом то, что трактовка этого преступления как убийства выходит за узкие рамки дореволюционных законодательных границ, однако считали, что отдельная статья о детоубийстве лучше защищала бы и незамужних женщин, и советское общество [Маньковский 1928: 272]¹⁸. Криминолог Змиев, например, отмечал, что хотя детоубийство, будучи разновидностью убийства, наказывается восьмилетним тюремным сроком, по большей части оно совершается в момент, когда мать находится в психически нестабильном состоянии, а это служит смягчающим обстоятельством и ограничивает срок тремя годами. Он считал, что, если ввести в Уголовный кодекс отдельную статью, где перечислялись бы обстоятельства, сопряженные с детоубийством, выносимые приговоры лучше отражали бы сущность преступления [Змиев 1923: 6–7]¹⁹. В 1928 году криминолог

¹⁵ В [Шестакова 1928] рассмотрены смягчающие обстоятельства в случаях детоубийства. Она отмечает, что, согласно указаниям Верховного суда, решение по конкретному приговору принималось местным судом.

¹⁶ В доказательство снисходительности судов Бычков отмечает, что в 1926 году Московский губернский суд (губсуд) приговорил 60 % детоубийц к условному сроку, а в 1927-м — 47 % [Бычков 1929: 55]. Шмидт приводит кардинально иные цифры, отмечая, что в 1927 году число условных сроков за детоубийство достигло 70 %. См. [Шмидт 1928: 8]. Разницу в цифрах можно объяснить тем, что эти исследователи пользовались разными источниками.

¹⁷ Большинство было приговорено менее чем к двум годам заключения.

¹⁸ См. также [Бычков 1929: 57–58].

¹⁹ В статье 144 Уголовного кодекса рассмотрены убийства, совершенные в невменяемом состоянии. См. также [Гернет 1928: 186], где отмечено, что психологическое состояние женщины во время родов считается определяющим фактором в российских законах о детоубийстве.

Я. Л. Лейбович, старший судмедэксперт Наркомздрава, предложил все-таки внести в Уголовный кодекс статью о детоубийстве. В предложенном им варианте детоубийство определялось как умерщвление новорожденного его матерью, однако там же рассматривалась ситуация, когда на преступление мать толкало то, что ее бросил отец ребенка [Бычков 1929: 53–54]²⁰. Подобным же образом криминолог Б. С. Маньковский призывал к внесению в Уголовный кодекс статьи о детоубийстве, которая защищала бы беременных женщин, живущих в гражданском браке, и позволяла выносить более строгое наказание, особенно отцам — соучастникам преступления [Маньковский 1928: 271–272].

Хотя в Уголовный кодекс РСФСР так и не была внесена статья, в которой детоубийство признавалось бы уголовным деянием, отличным от убийства, суды по мере сил старались выносить детоубийцам справедливые приговоры. В 1926 году Уголовно-кассационная коллегия Верховного суда РСФСР сформулировала свое понимание детоубийства и озвучила рекомендации по вынесению приговоров. В определении детоубийства, данном Верховным судом, подчеркнуты три основных обстоятельства: тяжелое материальное положение матери, по причине которого ребенку предстоит жить в крайней бедности; сильное чувство стыда — результат давления со стороны «невежественной среды», которая сделает жизнь матери и ребенка невыносимой; болезненное состояние психики, развившееся в связи с родами, особенно в том случае, когда роды проходили тайно и без посторонней помощи. По мнению Верховного суда, эти факторы способны подтолкнуть мать на то, чтобы преодолеть естественный материнский инстинкт и совершить преступление. Поскольку детоубийство всегда происходило при чрезвычайных обстоятельствах, суд считал, что «назначение суровых мер социальной защиты за эти преступления не может дать никаких результатов. Борьба с этим явлением должна идти не столько по пути уголовной репрессии, сколько по пути улучшения материальной обеспеченности женщин-одиночек и изживания давних предрассудков, еще глубоко коренящихся,

²⁰ Статья так и не была принята.

в особенности в крестьянских массах»²¹. Такая трактовка детоубийства видоизменяла традиционную интерпретацию этого преступления в соответствии с новыми советскими условиями: упор делался на психологическую реакцию женщины на роды и еще не изжитую «отсталость» сельского населения.

Однако поддержка Верховным судом политики просвещения, а не уголовных репрессий относилась только к определенным случаям. Снисходительное отношение предполагалось только тогда, когда преступление подпадало под данное судом определение, да и то лишь при условии «очень низкого культурного уровня матери» [Маньковский 1928: 271–272]. Для такой ситуации в Уголовном кодексе было прописано, что длительное тюремное заключение может быть заменено условным²². Однако в отсутствие требуемых обстоятельств Верховный суд настаивал на строгом наказании, прописанном в статье об убийстве. Например, «достаточно культурная мать», живущая в благоприятных материальных условиях, не могла рассчитывать на снисхождение суда. Детоубийство, совершенное с особой жестокостью, или повторное совершение преступления также не предполагало условного наказания, поскольку свидетельствовало о «повышенной социальной опасности матери, совершившей такое убийство». Более того, на смягчение наказания могла рассчитывать только непосредственно мать: «Подстрекательство к убийству матерью своего ребенка и соучастие в убийстве, в особенности, если оно вызвано корыстными соображениями, должно расцениваться судом как обычное убийство со всеми вытекающими из этого последствиями»²³. Тем самым Верховный суд в очередной раз подтвердил, что трактует детоубийство как преступление,

²¹ Инструктивное письмо УКК Верхсуда РСФСР № 2, 1926 г. // Еженедельник Советской юстиции. 1926. № 50. С. 1416.

²² Согласно статье 36 Уголовного кодекса, условное заключение вместо реального тюремного срока могло быть назначено лицам, ранее не привлекавшимся, находящимся в тяжелых жизненных обстоятельствах и в тех случаях, когда «общественная опасность» преступника не требовала изоляции от общества и принудительного труда. См.: Уголовный кодекс РСФСР. 1922. С. 7.

²³ Инструктивное письмо № 2. С. 1415.

совершить которое способны только молодые, отсталые и невежественные женщины.

Приговоры, которые суды выносили детоубийцам, соответствовали рекомендациям Верховного суда. Можно рассмотреть в качестве примера один московский губсуд, где с 1926 до 1927 года значительно выросло число мягких приговоров. Процент детоубийц, которых отправляли в тюрьму на год, снизился с 28 % в 1926-м до лишь 3,5 % в 1927-м. В то же время число условных сроков повысилось с 40 % до 70 % [Шмидт 1928: 8]²⁴. Эти цифры показывают, что общая тенденция не назначать по мере возможности реальных тюремных сроков в полной мере проявлялась и в отношении детоубийц.

Многие из тех, кто занимался проблемой детоубийства, согласились с оценкой Верховного суда и с предписанием выносить более мягкие приговоры. Например, юрист М. Андреев писал, что если отправлять в тюрьму молодых женщин, повинных в детоубийстве, жизнь их будет испорчена, а нравственность не исправится. При этом он считал, что отцам, которые подталкивают женщин на убийство детей, равно как и тем, кто получает от детоубийства материальную выгоду, следует назначать самое суровое наказание [Андреев 1928: 144]²⁵. Маньковский был с этим согласен: он подчеркивал, что трактовка детоубийства Верховным судом подтверждает основные принципы советской пенитенциарной теории, в рамках которой наказания назначаются в зависимости от «общественной опасности» правонарушителя, а не только вида преступления. Это предполагает, что детоубийство, совершенное женщиной, представляет собой меньшую опасность для общества, чем детоубийство, спланированное мужчиной [Маньковский 1928: 270]. Психиатр А. Ф. Шестакова также отмечала, что в тех случаях, когда детоубийство совершалось замуж-

²⁴ Процент приговоренных менее чем к одному году снизился с 17 % в 1926-м до 12,5 % в 1927-м; подобным же образом процент приговоренных к 1-2 годам опустился с 8,9 % до 7 %. Число приговоренных к более чем двум годам оставалось стабильным — 7 %.

²⁵ См. также [Безпалько 1927: 603; Немченков 1927: 924].

ней женщиной, муж ее часто проходил по делу как сообщник, даже в тех случаях, когда собственно убийство был делом рук именно женщины [Шестакова 1928: 161]²⁶. В одном случае, например, девятнадцатилетняя Александра Гугина родила ребенка без посторонней помощи, убила новорожденного и спрятала тело, поскольку ее жених Павел Киселев сказал, что женится на ней, только если она избавится от младенца. Признав ответственность Киселева в принуждении Гугиной к убийству, суд отправил его в тюрьму, Гугину же в итоге полностью освободил от наказания²⁷. В этом случае, равно как и во многих других, советские суды признавали роль мужского влияния в детоубийстве и приписывали отцу более высокую долю ответственности за соучастие.

Андреев выяснил, что детоубийство, совершаемое отцом, — достаточно новое явление, которое стало реакцией на строгость в применении советских законов об обязанностях по содержанию ребенка. Пытаясь избежать выплаты алиментов, мужчины часто подталкивали жен и подруг к прекращению беременности или к детоубийству [Андреев 1928: 142]²⁸. Что выглядело еще

²⁶ Обстоятельства жизни замужних женщин не попадали под понимание детоубийства Верховным судом, и когда такие женщины совершали это преступление, суд исходил из того, что они действовали либо из эгоистических побуждений, либо под влиянием мужчины. Наблюдения Семеново-Тянь-Шанской по поводу детоубийства как контрацептивной меры (о них речь шла выше) не отражены в трактовках суда. Между 1897 и 1906 годом замужние женщины составляли до 16,8 % от всех детоубийц. В 1924–1925 годах на них приходилось 21 % детоубийств, а в 1926–1927-м — только 7 % [Гернет 1922а: 194; Гернет 1928: 105; Бычков 1929: 11]. Из этой статистики следует, что в судебной практике детоубийство оставалось преступлением, которое чаще всего совершают незамужние женщины.

²⁷ Д. № 216432 // Судебная практика РСФСР. 1929. № 4. С. 176–180. Гугина и Киселев были приговорены к двум годам заключения, Гугину выпустили по апелляции. Об этом случае и уголовной ответственности см. [Kowalsky 2003].

²⁸ См. также [Алявдин 1929]. В [Бычков 1929: 33] отмечено, что в 1926–1927 годах мужчины составляли 11 % от всех, признанных Московским губсудом виновными в физическом совершении детоубийства. Бычков также подчеркивает, что в ряде дел фигурировали мужчины, которые толкали своих беременных подруг на это преступление.

тревожнее, криминологи отметили готовность женщин совершать детоубийство по требованию мужа или возлюбленного. Например, психиатр В. В. Браиловский описывает случай, когда Анна И. за несколько месяцев до родов уже решила убить ребенка, потому что понимала, что в противном случае ее возлюбленный на ней не женится [Браиловский 1929: 74]²⁹. В принципе, тот факт, что женщины готовы были убивать детей по требованию сожителей и за обещание жениться, свидетельствует о большом дефиците мужчин в годы непосредственно после войны и о том, как сложно было женщине найти мужа. Кроме того, он демонстрирует, что в раннесоветском обществе брак сохранял свою важность — если не на официальном, то на практическом уровне. Стремление женщин выйти замуж отражало не только экономические потребности семьи в СССР и финансовую зависимость женщин, но и сохранившуюся культурную значимость института брака и сопротивление масс его искоренению. Несмотря на все попытки реформ в первые годы советской власти, брак и семья оставались основополагающими общественными институтами — в 1936 году государство признало этот факт, приняв новый семейный кодекс, в котором было провозглашено укрепление семьи, осложнен развод, криминализированы аборты, а семье приписана более высокая степень социальной ответственности³⁰.

В 1928 году Верховный суд выпустил директиву, где разъяснялась ответственность отца в случае детоубийства. Подчеркнув, что мягкость приговоров за детоубийство направлена не только на просвещение, но и на укрепление экономики и общественного порядка, суд объявил, что отец является «общественно опасным», если отказывается помогать матери в нужде. Верховный

²⁹ О том, какой был вынесен приговор, Браиловский не пишет.

³⁰ О советском Семейном кодексе и спорах по поводу его положений см. [Goldman 1993]. Укрепление семьи далеко не обязательно предполагало возврат к дореволюционным представлениям, упор делался на нужды и приоритеты советского государства. См. [Hoffman 2003: 88–117].

суд решил, что если отец замешан в преступлении в качестве соучастника, его следует судить за преднамеренное убийство и выносить достаточно суровый приговор, который отражал бы тот факт, что вся тяжесть «общественной опасности» лежит на нем, а не на матери, то есть реальной преступнице. Более того, Верховный суд постановил, что отца, имеющего материальную возможность поддерживать ребенка, но отказавшего матери в ее просьбе о помощи, следует считать виновным в отказе от родительской заботы³¹.

Судебная практика отражает в себе толкование детоубийства Верховным судом. Согласно статистике Мосгубсуда, мужчины стабильно получали более суровое наказание за детоубийство, чем женщины. Только 17,6 % мужчин, повинных в этом преступлении, получили срок менее двух лет, среди женщин таких было 39,2 %. Условный срок назначали 58,6 % женщин и всего 11,7 % мужчин. Аналогичным образом, 23,7 % мужчин получили срок от восьми до десяти лет, женщинам такие длительные сроки не назначали вообще [Маньковский 1928: 267]³². По оценкам криминологов, мужчины, как правило, совершали детоубийство с целью избежать выплаты алиментов. Хотя во многих случаях отцу это попросту было не по средствам, криминологи все же считали, что мужчины эти действуют из корыстных побуждений. Например, в одном случае отец отравил новорожденную дочь, чтобы не платить алиментов жене, с которой решил развестись [Бычков 1929: 27–28]³³. Разумеется, суды понимали, что мужчины, пошедшие на убийство собственного ребенка, плохо исполняют свои обязанности честных советских граждан. Маньковский

³¹ Инструктивное письмо УКК Верховного Суда РСФСР № 1 // Судебная практика РСФСР, 1928. № 3. С. 5. Такие случаи подпадали под статью 158 часть 2, по которой родителей, оставивших детей без материальной поддержки, можно было приговорить к тюремному заключению до полугода или к штрафу до 300 рублей.

³² Лишь 2,2 % женщин получали за детоубийство сроки больше двух лет.

³³ Отец получил тюремный срок в три года.

считал, что в таких случаях «сила репрессии [должна быть] столь же сурова, как и в отношении осужденных за другие виды убийств» [Маньковский 1928: 267]. Например, московский суд приговорил некоего С., комсомольца, к трем годам тюрьмы за подстрекательство подружки к тому, чтобы бросить новорожденного младенца в реку — она же получила лишь год условно [Бычков 1929: 34–35]. Исходя из того, что мужчины, особенно коммунисты, отчетливее осознавали свои обязанности в рамках советского закона, суд подчеркивал, что мужчины несут ответственность за действия женщин, оставляя последним роль пассивных участниц, не отвечающих за собственное поведение: тем самым суд закреплял в советских общественных нормах патриархальные ценности.

В результате в 1920-е годы в СССР детоубийство стало обсуждаться в гендерном и культурологическом ключе. Закон признавал его преступлением, отдельным от прочих видов убийства, однако на практике суды проявляли снисходительность к обвиняемым — в особенности женщинам — которые оставались «погрязшими в пережитках прошлого» и не обладали должной «сознательностью», чтобы понимать свои права в рамках советского закона. В судебной практике снисходительность к детоубийцам устанавливала иерархию «общественной опасности» этого преступления, наказывая тех, кто, якобы лучше понимая законы и обладая чувством социальной ответственности (в силу половой принадлежности), представлял собой, из-за пренебрежения этой ответственностью, большую угрозу для социальной стабильности. Тем, кто не дотягивал до этих стандартов по причине «отсталости и невежества», суды смягчали приговоры, заменяя их образовательно-воспитательными мерами с целью дотянуть этот «отсталый» сегмент до уровня остального общества. В итоге в рамках советского законодательства и судебной практики обвинение в детоубийстве было эквивалентом снисходительности и мягкого приговора, каковые выносились на основании гендерно-обусловленных представлений о культурном уровне обвиняемого.

Расследование детоубийств — судебно-медицинская экспертиза

Для советского суда основным доказательством факта детоубийства являлось тело младенца. Соккрытие тела или недолжное избавление от него вызывало подозрение в детоубийстве вне зависимости от того, родился ребенок живым или мертвым. Дознаватели обнаруживали тела младенцев закопанными в хозяйственных постройках и во дворах, брошенными на берегу реки или в бане, выкинутыми в мусорные баки, оставленными у железнодорожных путей, спрятанными в полях, чуланах или на чердаках [Змиев 1927: 93]. В 1927 году был случай, когда двадцатичетырехлетняя незамужняя крестьянка В. приехала рожать в Москву. Выписавшись из больницы, она направилась напрямик на вокзал, чтобы вернуться домой, а ребенка по дороге выбросила в реку Язу. На следующее утро тело обнаружил милиционер — на руке ребенка остался больничный браслет с именем матери [Бычков 1929: 20]³⁴. В другом случае К., двадцатидевятилетняя вдова, работавшая поварихой, ночью на кухне родила близнецов. Утром тела их нашли в кастрюле, расчлененными [Бычков 1929: 25]³⁵. В третьем случае восемнадцатилетняя М. была признана виновной в том, что выкинула новорожденного (по заключению судмедэксперта, он на тот момент был еще жив) из окна идущего поезда [Бычков 1929: 26]³⁶.

Хотя обстоятельства некоторых дел однозначно указывали следователям на факт совершения убийства, зачастую установить причину смерти оказывалось непросто. Выявлению случаев детоубийства препятствовала высокая детская смертность — она же позволяла многим родителям скрыть свои злодеяния и избавиться от ребенка под предлогом естественной кончины. Напри-

³⁴ В. была осуждена на два года условно.

³⁵ К. утверждала, что беременность стала результатом изнасилования, которое она из стыда скрывала, и что во время и после родов она действовала бессознательно. Ее приговорили к трем годам условно.

³⁶ М. была приговорена к двухлетнему тюремному заключению.

мер, 27-летняя Н., незамужняя, безработная, родила здорового ребенка. Через месяц ребенок умер. Судмедэксперт обнаружил, что в месячном возрасте он весил на 680 грамм меньше, чем при рождении, и пришел к выводу, что ребенка намеренно морили голодом. Более того, свидетели подтвердили, что Н. не осуществляла должного ухода за ребенком, не проявляла к нему материнской любви, не обращала внимания на его постоянный плач и только давала сосать тряпочки, смоченные в сахарной воде, чтобы он успокоился. Как выяснилось, у Н. двое предыдущих детей уже умерли от недоедания, однако она категорически отрицала свою вину, подчеркивая, что материальное положение вынуждало ее оставлять ребенка одного, пока она искала работу. Суд приговорил ее к году тюремного заключения [Бычков 1929: 23–24].

Женщины использовали самые разные способы избавления от нежеланных младенцев: травили, оставляли на морозе, топили, закалывали, морили голодом, но чаще всего душили³⁷. По словам П. А. Алявдина, государственного судебно-медицинского эксперта в Иваново-Вознесенске, к удушению женщины прибегали, поскольку в этом случае почти не оставалось свидетельств злого умысла, и преступницы считали, что о преступлении никто не догадается [Алявдин 1927: 98]. Женщины, рожавшие в одиночку, как отмечал И. Я. Бычков, часто зажимали новорожденному рот руками, боясь, что его крик их выдаст [Бычков 1929: 75]. В других случаях происходило то, что Семенова-Тян-Шанская наблюдала среди крестьянок до революции: женщина могла «заспать» ребенка, навалившись на него во сне [Семенова-Тян-Шанская 1914: 5]. Например, в начале февраля 1927 года некая Анна Г. родила здорового младенца. Через неделю ее муж пришел к врачу за свидетельством о смерти ребенка, которого жена, по

³⁷ В [Шмидт 1928: 8] указано, что 78,4 % детоубийц удушали своих детей, 13 % — топили, 4 % — травили, 4,6 % — морили голодом. В [Маньковский 1928: 254] приведена сходная разбивка по методам детоубийства. См. также [Бычков 1929: 23]. Статистика начиная с 1924 года указывает, что в Московской области 22,4 % детоубийц прибегали к удушению руками, а вот в самой Москве — только 2,6 %. В городе чаще использовались другие (не указанные) формы асфиксии [Учеватов 1924: 58].

его словам, случайно придавила во сне. Врач не усмотрел в этом ничего подозрительного и выписал необходимые документы. Супруги тихо похоронили младенца, однако их соседи, узнав о его смерти, вызвали милицию и сообщили, что у этой пары таким образом умирает уже второй ребенок. Тело эксгумировали, и судмедэксперт обнаружил следы ногтей, свидетельствовавшие об удушении. Наряду с выводами эксперта, в суд были представлены показания соседей, что Анна не любила детей [Бычков 1929: 14]³⁸. В данном случае сочетание косвенных улик, свидетельских показаний и заключения судмедэксперта убедили суд в виновности Анны.

В случае детоубийства судебно-медицинская экспертиза становилась основным инструментом получения признательных показаний от подозреваемой. Эксперты принимали в расчет место обнаружения тела, показатели того, что ребенок родился живым (состояние волос и ногтей), признаки насилия (порезы, синяки). Алявдин подчеркивал, что женщины чаще признают свою вину, если им предъявляют неопровержимые доказательства убийства. Более того, в случаях, когда подозреваемая заявляла, что потеряла сознание во время родов, результаты судебно-медицинской экспертизы позволяли установить причину смерти ребенка, после чего можно было решить, выдвигать ли обвинение в убийстве³⁹. Действительно, результаты медицинского освидетельствования зачастую представлялись суду более убедительными, чем заявления самой женщины — можно привести пример, когда женщина утверждала, что это не ее ребенок, однако суд признал ее виновной на основании заключения судмедэксперта⁴⁰. Заключения судебно-медицинской экспертизы о том, что ребенок

³⁸ Анну приговорили к годичному тюремному заключению, мужа ее посадили на два года. В данном случае рассуждать о мотивах свидетелей я не могу.

³⁹ См.: [Алявдин 1927: 98]. Роль судмедэксперта в расследовании детоубийств рассмотрена в [Jackson 1994; Wessling 1994]. О судмедэкспертизе в СССР см. также [Becker 2003; Белкин, Винберг 1982; Healey 2007; Крылов 1975: 36–38; Pinnow 1998].

⁴⁰ А. Е. Суд и быт. Мать-детоубийца // Работница. 1926. № 1. С. 22.

родился живым, зачастую было достаточно, чтобы убедить судей в наличии злого умысла, даже если причины смерти выглядели «естественными» — переохлаждение, недокорм, болезнь и т. д.

Паталогоанатомическое исследование тела младенца позволяло подтвердить обоснованность обвинения в детоубийстве, однако в раннесоветские времена суды в не меньшей степени опирались на оценку психологического и физиологического состояния матери для определения характера преступления. «Умственная отсталость — характерный признак матерей детобуиц», — пишет Бычков в своем подробном анализе этого вида преступлений. «Физиологический аффект родового акта на фоне умственной отсталости роженицы, — продолжает он, — может вызвать у последней примитивную реакцию, разрешающуюся убийством новорожденного». Бычков считал, что, поскольку вменяемость в момент совершения преступления играет решающую роль в определении наказания, при оценке случаев детоубийства необходимо учитывать результаты психиатрической экспертизы. При ее проведении учитываются личность обвиняемой, биолого-психиатрические факторы преступления, и в сочетании с обстоятельствами дела выносятся решение, действительно ли обвиняемая совершила детоубийство, а также оценивается степень ее ответственности за содеянное [Бычков 1929: 36–37].

Оценивая состояние как младенца, так и его матери на момент родов, судмедэксперты определяли степень ответственности женщины за совершенное преступление. В суде их заключения представляли собой приложение науки, рационализма и современного подхода к тому, что в противном случае осталось бы косвенными уликами касательно природы преступления. Кроме того, выводы судмедэкспертов помогали оценить психическое состояние детобуицы, нередко делался вывод о частичной невменяемости в связи с обстоятельствами родов. Связывая детоубийство с частичной невменяемостью матери, пусть и временной, судмедэксперты подкрепляли мнение криминологов и суда касательно того, что детобуицы заслуживают снисхождения — равно как и касательно женской преступности в целом. В результате, в понимании советских специалистов, тело младенца явля-

лось признаком не сексуальной распущенности, а социальной безответственности. В том, как именно криминологи объясняли социальную безответственность — крестьянской «отсталостью» и женской психологией, — отражалось их понимание положения женщин в советском обществе, а также то, какая большая дистанция отделяет женщин от вхождения в новый социалистический порядок.

Искоренение «пережитков прошлого»

Криминологи мечтали о преобразении России и исчезновении преступности — это должно было произойти после построения социализма. Однако российское общество упорно сопротивлялось радикальным переменам, инициированным большевиками. При том что определенные группы населения принимали новый порядок, образованные люди отмечали, что в среде крестьянства сохраняются традиционные представления и нравственные убеждения, хотя зачатки социалистической революции постепенно просачиваются и на село. Колоссальный рост числа детоубийств в начале XX века был для криминологов сигналом того, что российское население все еще далеко от достижения целей революции. По данным исследователей, между 1913 и 1916 годом число детоубийств выросло на 160 %. Это можно объяснить последствиями войны, однако и после революции уровень детоубийств продолжал расти. К 1927 году детоубийства составляли 16 % от всех убийств и 20 % от всех преступлений, совершенных женщинами. Более того, хотя число женщин, которым был вынесен приговор за преступления против личности, увеличилось с 1924 по 1925 год всего на 17,7 %, число детоубийств выросло на 106,8 % [Змиев 1927: 90; Маньковский 1928: 259; Гернет 1928: 104]⁴¹. Для криминологов 1920-х годов заметный рост детоубийств

⁴¹ Эти изменения в статистике, возможно, являются следствием более эффективных методов судебно-медицинской экспертизы, которая позволяла классифицировать как детоубийства большее число младенческих смертей.

отражал сохранявшуюся отсталость населения страны. Суды проявляли снисхождение в определенных случаях детоубийств, приходя к выводу, что обвиняемые не обладали необходимыми возможностями и сознательностью, чтобы действовать прогрессивным и рациональным образом, а исследователи детоубийств продолжали придерживаться традиционных представлений как о роли крестьянства, так и о природе женщин.

Весь переходный период криминологи трактовали детоубийство как сельский феномен. Криминальная статистика показывает, что с 1896 по 1906 год 86,5 % детоубийств происходило в сельской местности. В 1924–1925 годах 87,7 % детоубийств произошло на селе [Змиев 1927: 90]⁴². География детоубийств наводила криминологов на мысль, что сельские жители погрязли в отсталости и это заставляет их решать свои проблемы насильственными методами. По словам психиатра А. О. Эдельштейна,

детоубийство есть правонарушение, свойственное примитивным ступеням человеческой культуры. И нет ничего удивительного, что деревня, которая в своем культурном филогенезе (если можно так выразиться) на много веков отстала от города, дает до 90 % детоубийств [Эдельштейн 1928: 281]⁴³.

То есть трактовка детоубийства была типичным проявлением представлений криминологов о крестьянской морали, женской преступности и свойствах преступниц-крестьянок.

Обсуждая детоубийство, криминологи делали особый упор на «отсталой» крестьянской морали, сурово осуждавшей незаконнорожденность, — в этом они усматривали важный фактор таких

⁴² Для сравнения, 82 % всех преступлений против личности совершались в сельской местности. В это время в сельской местности проживало свыше 80 % населения страны. Змиев признает, что анонимность городской жизни упрощала задачу скрыть факт деторождения и спрятать тело младенца — возможно, это способствовало тому, что по статистике детоубийств в городах было меньше [Змиев 1927: 91].

⁴³ См. также: [Бычков 1929: 37].

преступлений. Хотя в семейном кодексе 1918 года была признана законность любых союзов и рожденных в них детей, криминологи видели, что на селе позор, связанный с добрачным сексом, продолжал оставаться одним из важных мотивов детоубийств. Как пояснял криминолог Б. Н. Змиев, детоубийство — это

та кровавая жертва, которая приносится слабой женщиной (невежественной и материально необеспеченной), во имя сохранения незыблемости и святости нелепых диких взглядов на внебрачную беременность, взглядов, которые еще до сих пор сохранили свою силу и значение в нашем быту и которые всей своей тяжестью обрушиваются на внебрачную мать [Змиев 1927: 96].

По мнению криминолога Б. С. Маньковского, 60,2 % осужденных за детоубийство называли в качестве побудительного мотива стыд; среди крестьянок процент был даже выше — 82,8 [Маньковский 1928: 257]⁴⁴. Змиев также отмечал, что желание крестьянок скрыть половые отношения и защитить ребенка от клейма незаконнорожденности позволяет усмотреть в детоубийстве

защитную реакцию со стороны женщин». Крик ребенка раскроет окружающим ее позор, поэтому, «спасая свою жизнь, свою свободу, свое общественное положение и свое любовное чувство, внебрачные матери, волнуемые страхом наказания и боясь общественного осуждения, насильственно прекращали только что народившуюся жизнь [Змиев 1927: 89]⁴⁵.

Например, в январе 1927 года девятнадцатилетняя Е. Черина в одиночестве тайно родила ребенка в избе у родителей. После родов она ребенка задушила. Труп вынесла на улицу, избу вымыла, потом закопала замерзшее тельце в сарае. На суде Черина объяснила, что на убийство ее толкнули стыд и страх перед тем,

⁴⁴ См. также [Гернет 1928: 105].

⁴⁵ Змиев добавляет, что незамужние матери знали, что детей их ждет тяжелая жизнь — над ними будет тяготеть клеймо незаконнорожденности.

какую реакцию вызовет ее позор [Шестакова 1928: 159–160]⁴⁶. Змиев подчеркивал, что подобное поведение проистекает из бедности и отсталости сельских жителей — они возникли задолго до революции и существуют по сей день. Гернет в свою очередь утверждал, что число детоубийств отражает в себе отношение общества к добрачным половым связям и беременности, так что там, где незаконнорожденность осуждается, детоубийства случаются чаще [Гернет 1922а: 192–193].

Кроме того, криминологи выяснили, что на детоубийства толкает и отношение крестьян к семейным связям. Например, юрист М. Андреев объяснял взаимоотношения между незаконнорожденностью, крестьянской моралью и детоубийством через экономику. По его словам, брак приносил в крестьянскую семью добавочного работника, тогда как незаконнорожденный ребенок считался всего лишь лишним ртом. Из-за этой «отсталой» экономической схемы незаконнорожденность продолжала считаться «позором», что и подталкивало на совершение детоубийств. Андреев приходит к выводу, что только изменения в крестьянской морали и повышение экономической самостоятельности женщин — как это, по его мнению, уже происходило в городах — позволит искоренить детоубийства на селе [Андреев 1928: 138, 143–144]. Аналогичным образом В. Хонин отмечал, что детоубийство в советском обществе — это результат живучести в крестьянской среде традиционных «буржуазных» представлений о семье, браке и «женской чести», при том что представления эти идут вразрез с достижениями революции. Он предлагал активнее вести пропаганду в массах, которая подчеркивала бы правомочность гражданских браков и то, что внебрачные дети — это не позор [Хонин 1926: 622]⁴⁷. Соответственно, детоубийства должны

⁴⁶ Суд приговорил Черину к двум годам тюремного заключения: наказание было смягчено, поскольку она не считалась «общественно опасной». Крестьянки «скрывали» свою беременность свободной одеждой и молчанием по поводу своего положения. Скорее всего, другие жители деревни все же знали, что женщина беременна.

⁴⁷ См. также [Маньковский 1928: 263].

были исчезнуть, когда сельские жители откажутся от своих устаревших взглядов и осознают советскую политику, нацеленную на поддержку матерей-одиночек с помощью пособий и детских учреждений.

Детоубийство ярко высвечивало противоречия между новой социалистической моралью и традиционными крестьянскими ценностями. Криминологи отмечали, что возросшая свобода сексуальных нравов приводит к большему количеству нежелательных беременностей, поэтому детоубийства продолжают происходить в деревне, «где особенно сильны начала старого быта, в силу более медленного темпа социалистической перестройки деревенской культуры» [Маньковский 1928: 263]. Новые представления о сексе привели к возникновению «легкомысленного отношения к половым отношениям» [Познышев 1928: 161], и хотя криминологи считали, что сексуальные отношения на селе стали более свободными, управляющие ими экономические структуры и мораль остались прежними. Более того, в деревне, как отмечал Гернет, община «смотрит на беременность вне брака совсем не теми глазами, как большие города; здесь девушка-мать несет на себе непомерную тяжесть осуждения общественного мнения деревни и ищет спасения в детоубийстве» [Гернет 1927: 19]. Соответственно, беременные незамужние крестьянки оказывались в изоляции, один на один со своим позором, им не к кому было обратиться за советом или помощью. Горожанки, напротив, могли воспользоваться опытом и познаниями подруг, плюс в городе были определенные институты помощи неимущим матерям-одиночкам. Из этого криминологи делали вывод, что, тогда как сельские жительницы прибегали к детоубийству, горожанки пользовались более рациональными и современными альтернативами, такими как аборт и детские приюты [Гернет 1922а: 193; Андреев 1928: 137]⁴⁸.

В своем представлении о детоубийстве как результате «отсталости и невежества» крестьянок криминологи делали упор на преобразующем потенциале социалистической системы. Соглас-

⁴⁸ См. также [Маньковский 1928: 261–262].

но советской идеологии, преступность являлась «пережитком прошлого» и должна была исчезнуть после построения социализма. Для криминологов детоубийство воплощало в себе живучесть устарелой морали и представлений в среде крестьян и в особенности крестьянок. То, что детоубийство продолжает существовать, служило доказательством, что женщины медленно воспринимают те реформы, которые большевики провели с целью им помочь. Впрочем, криминологи не усматривали в этом доказательства провала большевистских реформ, только свидетельство живучести старых преставлений и знак того, что нужно активнее заниматься просвещением женщин касательно их прав и превращением их в активных, сознательных и ответственных советских гражданок.

На детоубийство женщин толкали не только отсутствие знаний и понимания альтернатив. Криминологи отмечали, что воздействие старой морали на женщин отягощается еще и женской физиологией. Отсталость, позор, страх и невежество оставались социальными предпосылками детоубийства, однако женские биологические циклы, отягченные стрессом, связанным с родоразрешением, приводили к патологической реакции, которая заставляла некоторых женщин проявлять агрессию по отношению к собственным новорожденным детям. Женщин традиционно воспринимали как матерей и кормилиц, для которых деторождение являлось естественной социальной функцией, однако детоубийцы нарушали эту функцию, лишая жизни то самое существо, которое им полагалось вскармливать. Криминологи объясняли подобную реакцию тем, что физиологический цикл беременности, родов и менструации делал женщин более уязвимыми для внешнего влияния и давления со стороны общества, которые и толкали их на детоубийство. Согласно этому толкованию, «примитивные человеческие действия» [Краснушкин 1924: 205], которые провоцируют преступные деяния, в женщинах проявлялись с особой силой. В силу слабого умственного развития и подверженности бесконтрольным эмоциям, женщины по самой своей природе склонны к детоубийству. Криминолог XIX века С. С. Шашков объяснял это так:

У беременной является тошнота, рвота, головная боль, прекращение менструации. Даже просто неправильная менструация может подвергнуть женщину ипохондрии, меланхолии, сумасшествию, пляске <...> При этом нужно еще вспомнить, что сплошь и рядом внебрачно-беременные женщины принуждены скрывать свою беременность и родить где-нибудь в уединенном месте, в сортире, хлеве, на улице, на ветру или на морозе, без всякой посторонней помощи. Это еще более усиливает те патологические припадки, которым подвержена родильница. Страх, стыд, борьба эгоизма и материнской любви, постоянные заботы о скрывании своего положения, бессонные ночи, муки рождения, физическая слабость и нервное расстройство после того, — все это делает психическое состояние незаконнородившей детоубийцы исключительным, патологическим [Шашков 1871: 438].

В такой трактовке получалось, что стыд от внебрачной беременности и страх перед публичным позором усиливали внутренние патологические позывы, которые женщины испытывали по ходу беременности и родов. Патологическая женская физиология в сочетании с давлением общественной морали толкала женщин на детоубийство⁴⁹.

Несмотря на порожденную революцией социалистическую риторику, в которой на первый план выходили общественно-экономические факторы и равенство полов, физиологические различия между мужчинами и женщинами оставались в криминологическом дискурсе определяющими. В первые послереволюционные годы советские криминологи подчеркивали, что женская сексуальность дополнительно усугубляет ситуацию, в которой оказываются матери-одиночки. Помимо сложных жизненных обстоятельств, свою роль играет и «биологический фактор — влияние родов на организм» [Эдельштейн 1928: 273]. Незамужние женщины часто рожали в одиночестве, без посторонней помощи, в страхе перед общественным осуждением, стыдясь случившегося. Под давлением всех этих факторов роды — сами по себе

⁴⁹ См. [Гернет 1911: 186]: он отмечает, что психологическое состояние женщины во время родов стало решающим фактором при разработке законов о детоубийстве в России.

нагрузка на организм — провоцировали патологическую реакцию, которая могла превозмочь естественный материнский инстинкт и довести до детоубийства. Как отмечал юрист Жижиленко, «это состояние свойственно только женщинам в силу особой их физической организации» [Жижиленко 1922: 26]⁵⁰.

Кроме того, детоубийства подтверждали представления исследователей об общей отсталости крестьянства. Например, анализируя психопатологию детоубийства, психиатр Эдельштейн отмечал, что нагрузка на организм при родах, которые вызывают тяжелый стресс, толкает «наиболее примитивных по своей психике женщин» на убийство младенцев. Отмечая, что почти все случаи детоубийства происходят в сельской местности, Эдельштейн приходит к выводу, что, помимо родового стресса, причиной убийства младенцев служит еще и интеллектуальная «отсталость» [Эдельштейн 1928: 281]. Рассуждая аналогичным образом, психиатр В. А. Внуков подчеркивает, что к детоубийству женщин склоняла традиционная крестьянская мораль: они пытались скрыть свои грехи перед обществом, в особенности — незаконные половые связи. По его мнению, это отражало «социальную слабость» женщин, на которых «давление социального пресса оказывает большее влияние, нежели на мужскую особь» [Внуков 1928: 247]⁵¹. Под давлением социальных стереотипов и потребностей женщины совершали детоубийство из физиологической слабости, присущей им от природы. Внуков отмечает:

Периоды менструаций, беременности, послеродовые, лактации, климакса — все это открытые каналы, по которым могут свободно просачиваться вредоносные экзогенные влияния. Эта специфичная только для женщины биологи-

⁵⁰ См. также [Шашков 1871: 438; Гернет 1911: 186]. Описывая детоубийство в Америке в 1920-х годах, Стэнли Хопвуд подчеркивает, что на преступление женщин зачастую толкало помрачение рассудка, которым сопровождается сложный период лактации. См. [Hopwood 1927: 96–97]. Этот феномен относился не только к детоубийствам. В [Укше 1926: 105] отмечено, что женщины часто убивали мужей в состоянии аффекта, возникавшего в связи с беременностью.

⁵¹ См. также: [Немилов 1927: 47].

ческая лабильность может и должна отразиться на некотором своеобразии в переработке и усвоении ею внешнего опыта, на некотором своеобразии, отсюда и реагирования ее на внешние раздражения. <...> Данные биологии, как бы критически к ним ни относиться, все же говорят об одном непреложном факте: в проявлении себя вонне женщина, под влиянием определенного социального пресса, так сказать, *физиологичнее* мужчины [Внуков 1928: 281].

Естественные биологические циклы делают женщин более уязвимыми для вредоносного воздействия, которое способно толкнуть на преступление. Внуков считал, что реакции женщин на такие воздействия всегда более эмоциональны и неосознанны, чем у мужчин, — те более рациональны. Итак, в силу женской физиологии, ее неспособность сопротивляться давлению общества повышается в момент родов, а это влияет на ее инстинктивные реакции и на способность справиться с травмой, которой являются роды, и потенциально может толкнуть ее на убийство ребенка. В такой ситуации в целом нормальная женщина легко превращается в преступницу.

По мнению криминологов, именно женская физиология и репродуктивные циклы определяли преступное поведение женщин, усугубляя их подверженность влиянию внешних обстоятельств, таких как бедность и общественный уклад. С этой точки зрения детоубийство выглядит преступлением, исконно присущим женской натуре. Включая в объяснение детоубийств физиологические факторы, криминологи одновременно подчеркивали и «естественность» этого преступления, и «примитивность» женщин. Тем самым они неосознанно ставили под вопрос способность социалистического проекта искоренить те условия, которые вызывают к жизни преступную деятельность, ибо исходили из того, что женские преступления естественны, укоренены в женской биологии, а значит, не поддаются искоренению.

При этом неразрешенное противоречие между прогрессивным потенциалом социализма и исконной «отсталостью» крестьянок не так уж волновало криминалистов — они легко примиряли социологические и биолого-психологические элементы своих

представлений о детоубийстве. Перечисляя «естественные» физиологические недостатки женщин, они все же утверждали, что детоубийство в советском обществе можно искоренить. Они подчеркивали, что не женская физиология толкает женщин на детоубийство; просто она делает некоторых женщин более уязвимыми для социально-экономических факторов, которые заставляют их видеть в детоубийстве единственное решение их проблем — это и облегчает им путь к преступлению. Когда соответствующие условия будут устранены и социализм построен, «отсталое» влияние «пережитков прошлого» исчезнет и перестанет подпитываться за счет физиологических слабостей женщин.

Образование, алименты, аборт — создание альтернатив детоубийству

Криминологи исходили из того, что неведение крестьянок относительно прав, предоставляемых им советским законом, и незнание того, какие существуют альтернативы детоубийству, усугубляют безысходность ситуации, в которой оказываются незамужние матери. Исследователи подчеркивали, что женские физиологические циклы делали их уязвимыми для давления и стигматизации со стороны общества, это могло превозмочь естественные материнские чувства, однако на детоубийство женщин толкало именно неведение относительно имеющихся альтернатив. Усилия по искоренению детоубийств стали предприниматься в рамках советской модели семьи, нацеленной на увеличение рождаемости и защиту материнства. Так, А. М. Коллонтай подчеркивала значимость материнства как естественного долга всех женщин, вклада в общее дело и обязанности перед обществом [Stites 1990: 355; Hoffman 2003: 97–105]⁵². Соответственно, советское семейное право защищало интересы матерей,

⁵² Тенденции к борьбе за повышение рождаемости в советской политике усилились в 1930-е и после Второй мировой войны: женщины, воспитывавшие десять или более детей, получали особые льготы и привилегии.

обещая помощь в воспитании детей и защите женского здоровья. Женщины, вне зависимости от материального положения, могли подавать в суд на алименты. Кроме того, узаконивание абортов давало женщинам альтернативы в смысле прерывания нежелательной беременности; были созданы роддома, где женщины могли рожать в безопасной гигиеничной атмосфере; всевозможные организации, например, Общество защиты материнства и детства, оказывали нуждающимся матерям материальную поддержку [Маньковский 1928: 264–265]⁵³. Исследователи утверждали, что эти законы и меры устранят «ненормальные» условия — материальную нужду и стыд, которые толкали женщин на детоубийство, — как только женщины узнают про них и поймут их суть.

Специалисты подчеркивали, что повышение культурного и образовательного уровня крестьянок послужит самым эффективным средством изменения крестьянской морали, которая и подпитывает существование детоубийства. Они обнаружили, что, несмотря на распространение грамотности, почти половина детоубийц неграмотны и не знают о правах, предоставляемых им советским законодательством⁵⁴. Они утверждали, что женщина «все-таки еще является более отсталым членом нашего общества» [Безпалько 1927: 603]. Как отметил один исследователь, крестьянка «совершенно не знает тех законов, которые установила советская власть для защиты матери и ребенка. <...> Не судебные меры репрессии, а культурные мероприятия должны быть призваны

⁵³ См. также [Андреев 1928: 140; Маннс 1927: 36]. Несмотря на высокие идеалы и обещания, особого влияния эти нововведения не оказали. Для большинства женщин они были малодоступны или не доступны вообще, не соответствовали спросу, так что жизнь большинства женщин почти не изменили.

⁵⁴ Согласно данным Маньковского о детоубийцах, 29,5 % были безграмотны, у 64,7 % имелось начальное образование, с высшим образованием не было никого. В этом смысле детоубийство отличалось в худшую сторону от других видов убийства, где неграмотных было 12,3 %, у 77,9 % было начальное образование, у 9,5 % — среднее образование и у 0,3 % — высшее образование [Маньковский 1928: 253]. См. [Бычков 1929: 14–15]; [Шмидт 1928: 8] приводит схожие данные; [А. Л. 1928: 71].

на борьбу с этим преступлением» [Арсеньев 1928: 370]⁵⁵. «Судебным мерам борьбы с детоубийствами», — отмечает другой

должно быть весьма осторожное применение условных приговоров, а главное внимание должно быть уделено культурно-воспитательной работе в нашей деревне, в частности, среди крестьянок. <...> Только подняв самосознание женщины, поняв ее культурный уровень, мы добьемся снижения, а может быть и совершенного уничтожения преступности, именуемой детоубийством [Шмидт 1928: 9].

Социалистическое государство сможет ликвидировать условия, служащие предпосылками к детоубийству, и тем самым разберется с естественными физиологическими недостатками женщин. Как подчеркивал криминолог Бычков:

Побеждая косность и невежество, проходя трактором советского строительства по деревне <...> бросая в образующиеся борозды семена новой культуры, нового быта, мы будем с каждым урожаем, с каждым всходом этих семян снижать цифры детоубийств. Культурное и экономическое возрождение деревни — безусловная гарантия уменьшения в ней преступности вообще, в особенности детоубийства, как специфического следствия бедности и отсталости [Бычков 1929: 38].

Соответственно, когда женщины получают образование и узнают о своих правах и привилегиях советских граждан, когда будет достигнуто социалистическое равенство, они перестанут убивать своих детей. Значит, разобравшись с затянувшейся ситуацией, которая приводит к детоубийству, советское государство сможет только через повышение культурного уровня.

⁵⁵ См. также [Челышев 1927: 13]. Потребность в социалистическом воспитании отражает более масштабные усилия государства по внедрению социалистических идеалов в среде рабочих и крестьян и созданию новых «советских» мужчин и женщин. См., в частности, [Clements 1985; Kotkin 1995; Transchel 1996: 223–284].

И большевики, и криминологи твердо верили в то, что «отсталые и невежественные массы» постепенно оценят новый, лучший образ жизни, который им предлагается. Распространяя информацию об альтернативах детоубийству и карах за это преступление, большевики рассчитывали подтолкнуть женщин к пользованию правами, полагавшимися им по советскому законодательству, особенно правом на алименты. Эти мысли они пытались нести в массы через популярные журналы, рассчитанные на новое грамотное население стремительно разрастающихся городов. Например, в журналах «Работница», «Работница и крестьянка» часто печатались сводки о судебных слушаньях. Эти истории, рассчитанные на тех, кто недавно перебрался в города, а также на работниц, иллюстрировали принципы советского правосудия и рассказывали о правах женщин перед законом. Показывая, как женщины юридическим путем добиваются удовлетворения своих требований, большевики стремились подать своим читательницам пример поведения, достойного советских граждан и гражданок⁵⁶.

Журналы рассказывали читательницам о примерах сострадания, справедливости и равенства в советском обществе, одновременно подчеркивая, что детоубийство — это тяжкое преступление. Например, в одном из выпусков «Работницы» за 1926 год рассказано о детоубийстве, совершенном двадцатилетней Галиной Волынцевой, незамужней дочерью сельского священника. В статье говорится, что Галина, опасаясь насмешек соседней, решила скрыть внебрачную беременность. При том что о положении ее знала вся деревня и все слышали крик новорожденного, никто не заметил, как мать задушила ребенка и избавилась от трупа на берегу реки, где его впоследствии и обнаружили. Согласно статье, по ходу допроса в суде Галина сперва уверяла, что это не ее ребенок и отрицала, что была беременна. После дальнейших расспросов она заявила, что не душила младенца, обнаруженного у реки, а собственный ее ребенок родился мертвым. Однако, согласно показани-

⁵⁶ О роли «Работницы» и других женских журналов в жизни раннесоветского общества см. также [Attwood 1999; DeHaan 1999].

ям судебного патологоанатома, ребенок родился живым и здоровым, на основании этого суд признал Волинцеву виновной и приговорил к восьми годам лишения свободы, однако, ввиду ее молодости, срок был сокращен до трех лет⁵⁷. В «Работнице» описан еще один схожий случай: молодая крестьянка Костынева сообщила суду, что влюбилась в Васю Бахчована, тот обещал на ней жениться, однако бросил, узнав о ее беременности. Васина мать ей помогать также отказалась, поэтому Костынева решила убить ребенка. Суд проговорил Костыневу, Бахчована и его мать к одинаковым срокам заключения в восемь лет. Принимая во внимание обстоятельства дела, суд сократил Костыневой срок до одного года, Бахчовану — до полутора лет, а матери — до трех лет условно⁵⁸. В третьем случае молодая крестьянка Клавдия Логова, соблазненная и брошенная, боявшаяся реакции родителей на ее позор и не имевшая материальной возможности содержать ребенка, заявила суду, что никогда не стала бы его душить, если бы знала о существующих в СССР законах касательно отцовства и алиментов. Приняв во внимание ее молодость и невежество, суд сократил восьмилетний срок заключения до трех лет условно⁵⁹.

В описании каждого из этих случаев подчеркнуты сложные жизненные обстоятельства и невежество обвиняемых — они и толкнули их на преступление. Также обозначена и тяжесть преступления: суд, как правило, приговаривал к восьми годам заключения, как это полагалось за убийство согласно статье Уголовного кодекса 1926 года, но тут же упомянуты сострадательность и справедливость судебной системы. В каждом из описанных случаев срок был сокращен в силу молодого возраста обвиняемой и особых обстоятельств дела. Тем самым большевики пытались донести до читательниц мысль о серьезности детоубийства как преступления, а также о том, что ему существуют

⁵⁷ А. Е. Суд и быт. Мать-детоубийца // Работница. 1926. № 1. С. 22. В этой статье нет указаний на то, что классовое происхождение отца преступницы как-то повлияло на итог дела.

⁵⁸ А. Е. Суд и быт. Мать-убийца // Работница. 1926. № 24. С. 24.

⁵⁹ Суд и быт. Стыд погубил // Работница. 1925. № 19. С. 23.

альтернативы. И действительно, то, что мать неверного любовника может пойти под суд за действия его бывшей подружки, показывает, с какой строгостью суды рассматривали дела о детоубийствах и как важно им было дать пример другим. При этом неизменная снисходительность к детоубийцам, особенно когда ими оказывались молодые незамужние крестьянки, указывает на то, что суды считали такие преступления пережитками прошлого, а преступниц — заслуживающими сочувствия, сострадания и помощи, а не наказания и репрессий⁶⁰.

Рассказы об успешных случаях истребования алиментов также помогали распространить знания об альтернативах детоубийству, придавая историям дополнительное воспитательное значение. Рассказывая о выплате алиментов, «Работница» делала упор на том, что женщины и их дети имеют право ожидать материальной поддержки от отцов, и убеждала женщин подавать на алименты в суд. В одной статье, например, описано по шагам, как Пелагея Абрамова решила добиться выплаты алиментов. После многих лет совместной жизни муж Пелагеи Филипп ушел к другой и бросил ее с детьми. Она пожаловалась соседке, которая посоветовала ей пойти в суд. Пелагея ответила: соседке же известно, что муж ее торгует на рынке, что с него возьмешь? Истребовать алименты можно только с рабочих или государственных служащих. Пелагея решила справляться сама. Но потом, от обиды и безысходности, передумала. В суде Филипп отказался от уплаты алиментов и заявил, что дети должны жить с ним. Однако были даны свидетельские показания, согласно которым обстановка в его новой семье для детей не подходила, поэтому суд оставил их с Пелагеей и присудил ей выплаты в пятнадцать рублей в месяц на каждого ребенка⁶¹. В другом случае некая

⁶⁰ Возможно, на сокращение сроков влияло еще одно обстоятельство: в то время тюрьмы были безнадежно переполнены, поэтому административные наказания (штрафы, исправительные работы и пр.) широко использовались применительно к менее «общественно-опасным» преступникам. О советской пенитенциарной политике см. [Solomon 1980: 195–217; Wimberg 1996].

⁶¹ Суд и быт. На детей плати // Работница. 1925. № 22. С. 24.

Кондратьева, получив от отца ребенка отказ выплачивать алименты, пошла к адвокату, а тот сказал ей, что финансовую ответственность за ребенка можно возложить на родственников отца. Суд установил, что, хотя у отца никакой собственности не имеется, но дед ребенка, Петр Грачев, владеет двухэтажным домом, двумя коровами и плодовым садом. Суд обязал Грачева выплачивать Кондратьевой пять рублей в месяц на содержание внука⁶². В этих историях упор сделан на то, как женщины, обратившиеся за алиментами в суд, одерживали победу. Тем самым большевистская пресса просвещала женщин относительно их прав, наставляя, что алименты — действенная альтернатива детоубийству.

Алименты стали главным оружием большевиков в борьбе с «пережитками прошлого» и детоубийством. Согласно советскому семейному кодексу, ответственность за ребенка распределялась поровну между обоими родителями, вне зависимости от их семейного положения. Незамужняя или разведенная мать могла назвать в ЗАГСе имя отца своего ребенка, после чего на отца ложилась официальная обязанность участвовать в его финансовом обеспечении. В случае, если родители не могли договориться по поводу того, сколько денег каждый из них вносит на содержание ребенка, в дело вмешивался суд⁶³. Прописанные в кодексе обязанности по обеспечению ребенка соответствовали целям советского законодательства по защите слабых и предотвращению эксплуатации тех, кто сам не в состоянии за себя постоять [Лучанинов 1925: 24]. Требуя от отцов, чтобы они оказывали одиноким матерям финансовую поддержку, государство пыталось сделать так, чтобы у женщин было достаточно средств для воспитания ребенка. Кроме того, законы о содержании ребенка были призваны смягчить стигму незаконнорожденности: на алименты могли рассчитывать все женщины, не только разведенные. Придав столь большое значение алиментам, советское зако-

⁶² Боннар С. Суд и быт. Отец не может, пусть платит дед // Работница и крестьянка. 1926. № 23. С. 33.

⁶³ См. статьи 140–144, 162–169 Брачного кодекса Советской России (С. 56–57, 61–62).

нодательство и советские суды сформулировали новое представление о семейных отношениях, согласно которому родители в равной степени несли ответственность за благополучие своих детей: тем самым институт брака был отделен от семейной и родительской ответственности [Goldman 1993: 51–57, 248–249]. Хотя государство считало, что рано или поздно сможет само обеспечивать детей всем необходимым, в законе было однозначно прописано, что оно не собирается снимать заботу с родителей, если таковые имеются. Помимо всего прочего, колоссальный дефицит государственных ресурсов в переходный период не позволял государству оказывать существенную помощь конкретным семьям, так что оно вынуждено было перекладывать большую часть финансового бремени на родителей.

Однако, хотя большевики рассчитывали на то, что просвещение незамужних матерей по поводу их прав на алименты уменьшит риск детоубийства, поскольку у женщин появится чувство финансовой защищенности, иногда на убийство детей толкали как раз информированность о необходимости по закону содержать ребенка и стремление уклониться от выплат. В своем исследовании 1928 года психиатр С. В. Познышев провел систематический анализ зависимости между преступностью и выплатой алиментов. Он выяснил, что «перспектива обязанности платить алименты нередко толкает на преступление мужчину, а отказ в алиментах — женщину» [Познышев 1928: 137]. Страх перед алиментами, отметил он, часто заставляет мужчин совершать преступления против женщин, выдвинувших иск об отцовстве, и даже против собственных детей. Например, Михаил В., двадцатидвухлетний крестьянин, родил внебрачную дочь от Александры Соколовой, которой были назначены алименты в размере десяти рублей в месяц. Он попросил ее согласиться на пять рублей, она отказалась. Решив избавиться от обузы, Михаил уговорил Александру переехать к нему на село. Она согласилась, но когда они шли через лес от железнодорожной станции к деревне — Александра с годовалой дочерью впереди — Михаил вытащил молоток и убил и мать, и ребенка. Трупы обнаружили полгода спустя, Михаила посадили на десять лет с поражением в правах [Познышев 1928: 48].

Некоторых на преступление толкало стремление избежать выплат на ребенка, но были и такие, кто действовал из уверенности, что это не их ребенок. Познышев поясняет:

иногда поведение женщины, действительно, бывает подозрительным или прямо распутным, а ее связь с данным лицом, которому предъявляется требование алиментов, настолько скоротечна, что мужчине кажется невероятным, чтобы какое-либо единичное сношение могло сделать его отцом ребенка [Познышев 1928: 86].

Познышев подчеркивает, что такие преступления совершаются под влиянием сильных чувств, особенно «мести, ненависти, накипевшей злобы или ревности». Например, когда Василий К., бедный крестьянин из Калужской области, узнал, что у его жены на два месяца раньше ожидаемого срока родился здоровый ребенок, он пришел к выводу, что отец не он. Из ревности он запил. Однажды, когда жена оставила его сидеть с ребенком, он ножом отрезал ему голову, положил тельце в колыбель, а сам пошел пить с друзьями [Познышев 1928: 151]⁶⁴.

Многие мужчины, по словам Познышева, не испытывали никаких чувств к своим внебрачным детям, их беспокоило лишь одно — как бы скрыть незаконные отношения. Выплата алиментов придавала тайну огласке — это тоже толкало на преступные действия. Познышев считал, что эта тенденция требует к себе особого внимания: необходимы воспитательные меры, чтобы мужчины отчетливее представляли себе свои родительские обязанности — в результате положение детей улучшится [Познышев 1928: 41–42]. При том что уголовная статистика не показывала соответствия между числом детоубийств, совершенных мужчинами, и наказанием за это, тенденции в вынесении приговоров говорят о том, что суды считали суровые репрессии лучшим

⁶⁴ Василия приговорили к восьми годам тюремного заключения, срок был сокращен в связи с психическим заболеванием, он был переведен в психиатрическую лечебницу. Познышев упоминает роль алкоголизма как смягчающего фактора в этом преступлении.

способом пробуждения отцовской ответственности. Например, согласно статистике Мосгубсуда, 23,7 % мужчин, приговоренных за детоубийство, получили тюремные сроки от восьми до десяти лет, а среди женщин, для сравнения, только 2,2 % провели в заключении более двух лет [Маньковский 1928: 267]. Постановление Верховного суда, предписывавшее более суровое наказание для мужчин, совершивших убийство с целью избежать выплаты алиментов, отражало представления о том, что мужчины, как мужчины и «сознательные» советские граждане, должны нести более весомую ответственность за своих детей и свои поступки. Кроме того, из анализа приговоров видно, что детоубийство по-прежнему считалось женским преступлением. Если женщины действовали из «страха или стыда», мужчины убивали своих младенцев из «эгоистических» соображений — нежелания платить алименты. Действия мужчин не только нельзя было объяснить физиологическими последствиями процесса родов (собственно, мужчины по большей части совершали преступление сильно после рождения ребенка), но еще и «эгоизм» таких мужчин повышал «общественную опасность» их действий. Если мужчины убивали своих детей вследствие угрозы подать на алименты или после их истребования, это считалось отягчающим обстоятельством.

Кроме того, Познышев установил, что, если мужчины часто совершали убийство, чтобы не платить алименты, женщины шли на аналогичное преступление в виде реакции на отказ содержать ребенка. Он приводит случай Аграфены М., двадцатипятилетней крестьянки из Тульской губернии. В семнадцать лет она вышла замуж, у них с мужем было двое детей. В 1924-м он переехал в Москву и сошелся с другой женщиной; через несколько месяцев Аграфена получила уведомление о разводе. Аграфена, смятенная и расстроенная, поехала повидаться с уже бывшим мужем и попросить его обеспечивать детей, а потом обратилась за алиментами в суд. Суд присудил ей алименты, однако бывший муж выплатил их лишь один раз. Из-за тяжелого финансового положения Аграфена переехала в Москву и нанялась там нянькой. Она часто скандалила с мужем и его возлюбленной, повадилась

носить при себе серную кислоту. Однажды, в мае 1926 года, она встретила мужа с его подругой на улице, подошла к ним и плеснула женщине в лицо серной кислотой. Аграфену приговорили к трем годам заключения. При том что алименты вроде бы не имели прямого отношения к этому преступлению, Познышев подчеркивал, что они

явились очень важным ингредиентом той суммы причин, которые вызвали это покушение. Аграфена — женщина не из добрых, довольно решительная, но вместе с тем ограниченная, мало способная достаточно успешно ориентироваться в обстоятельствах и найти хороший выход из скопившихся затруднений [Познышев 1928: 108–112].

Кроме того, Познышев перечисляет другие случаи совершения женщинами детоубийств по причине отказа в алиментах. Например, в одном случае крестьянка удушила новорожденного ребенка, поскольку отец отказался жениться на ней или помогать деньгами. В другом случае Г., домработница, забеременевшая от хозяина, замыслила, вместе со своим братом и матерью, избавиться от младенца, и когда он родился, она бросила его в горящую печь [Познышев 1928: 136].

По мнению Познышева, на преступление женщин толкала невозможность получения алиментов, но одновременно страх мужчин перед выплатой алиментов превращал женщин и детей в потенциальных жертв. Зачастую одна только угроза подать на алименты вызывала крайне агрессивную реакцию — таков случай в Гомельской губернии в 1926 году. Прасковья Гордейщикова хотела выйти замуж за своего любовника Якова Г., двадцатидвухлетнего крестьянина из той же деревни. Они спали вместе, однако отец Якова возражал против их брака, и Прасковья стала встречаться с другими. Однажды вечером Яков и Прасковья оказались вместе на вечеринке. Яков, зная, что Прасковья беременна, отказался на ней жениться, а она пригрозила, что потребует алименты через суд. Он испугался угрозы и задушил

ее голыми руками. На вопрос, почему он отказался жениться, Яков ответил, что не знал, его ли это ребенок [Познышев 1928: 35–36]. Яков утверждал, что в его деревне никто не платит алиментов, однако, судя по всему, к 1926 году о праве на алименты уже было известно многим деревенским жительницам, и они проявляли готовность их требовать⁶⁵. Вот еще один случай: двадцатилетний Максим убил беременную подругу Ирину, потому что она настойчиво требовала от него либо жениться, либо платить алименты. Осмысляя итог своих действий — тюремное заключение сроком на восемь лет, — Максим пришел к выводу, что стоило, наверное, сперва сходить с Ириной в суд по истребованию алиментов, а уж потом ее убивать. По его мнению, суд ведь мог и не присудить ей никаких выплат [Познышев 1928: 49]⁶⁶. Из этих историй следует, что, несмотря на очевидные риски, женщины готовы были отстаивать свои права в суде и пользоваться этими правами ради достижения своих целей.

Криминологи полагали, что отдельные статьи об алиментах в Семейном кодексе позволят снизить число детоубийств. Они считали, что выплаты на ребенка дадут незамужним матерям средства к существованию, и тем самым будет устранено множество факторов, ведущих к детоубийству. Однако, судя по всему, алименты не смогли весомым образом поправить материальное положение большинства женщин. Хотя в 1920-е годы очень многие женщины обращались в суд за алиментами (в 1925 году дела по назначению алиментов составляли 7,7 % от всех гражданских дел, слушавшихся в судах Москвы, и 12,6 % дел, слушавшихся в губернии [Смирнов 1925: 5]), во многих случаях женщины

⁶⁵ Историки продемонстрировали, что до революции крестьянки также иногда обращались в суд за защитой своих прав, особенно когда речь шла о собственности. Соответственно, их готовность подавать в суд на алименты строится на ранее сложившейся парадигме. См. [Farnsworth 1992: 89–106]. Об обращении крестьян в суд см. также [Burbank 2004; Gaudin 2007].

⁶⁶ Познышев отмечает, что Максим возмущался тем, что его сажают в тюрьму из-за женщины.

не получали запрашиваемую сумму. Низкие зарплаты и безработица мешали алиментам превратиться в значимый источник дохода для матерей-одиночек, поскольку отцам зачастую просто нечего было выплачивать. Большинство мужчин заводили новые отношения и с трудом справлялись с содержанием на свою скудную зарплату одной семьи, не говоря уж о двух или больше. Кроме того, мужчины часто попросту исчезали — переезжали в другой город, меняли место жительства: получить в таком случае алименты становилось почти невозможно⁶⁷. В итоге сложности с применением законов о содержании ребенка часто перевешивали их потенциальные выгоды. Более того, сама вероятность назначения алиментов и их ширококомасштабное взыскание до определенной степени дестабилизировали традиционные отношения и сделали многих матерей и детей жертвами преступлений. Готовность женщин идти в суд отстаивать свои права подставляла и их, и их детей под агрессивную реакцию отцов, взаимосвязь между алиментами и убийствами вызывала такой интерес и озабоченность, что Верховный суд РСФСР счел необходимым высказать свое мнение касательно роли отцов и их родительской (и социальной) ответственности.

Кроме того, большевики рассчитывали, что альтернативой детоубийству станут легальные аборт, поскольку у женщин появится безопасная возможность прекращения нежелательной беременности. Еще до революции общественные реформаторы призывали к упразднению законов, запрещавших аборт (за это действие наказывали так же, как и за детоубийство), с целью защитить здоровье женщин, оздоровить моральный климат и положить конец детоубийствам. Они считали, что легальные аборт — это необходимое зло, с их внедрением женщины перестанут обращаться к невежественным бабкам с их антисанитарией и к опасным домашним средствам, после приема которых многие попадали в больницы с отравлениями и осложнениями. По словам Гернета, жертвами неудачных абортов в 1913 году были 41,8 % пациенток московских лечебниц, а в Санкт-Петер-

⁶⁷ См. [Goldman 2002: 237–246].

бурге процент был даже выше [Гернет 1927: 13]⁶⁸. Более того, в конце XIX века, когда социалистические идеи получили широкую поддержку и вырос интерес к «женскому вопросу», споры о праве на аборт стали маркером общего положения женщин в российском обществе и их права распоряжаться собственным телом и делать самостоятельный выбор⁶⁹. Хотя российские общественные деятели с прежней опаской относились к тому, чтобы ослабить социальный контроль над женщинами, некоторые из них, например, И. Б. Фукс, признавали, что женщинам необходимо дать право собственного выбора: «Женщина, одна она несет на себе все тяготы и страдания деторождения, всю сложность воспитания и развития ребенка, а потому ей одной должно быть предоставлено право решения вопроса относительно количества ее детей» [Фукс 1910: 21–22]. Фукс приходит к выводу, что «упразднение закона о плодизгнании повлияет несомненно на уменьшение количества детоубийств» [Фукс 1910: 20].

Реформа законодательства об аборте стала одной из составляющих женской эмансипации, предпринятой большевиками, равно как и их борьбы с детоубийством. 18 ноября 1920 года Наркомюст сообщил о совершении «гигантского, революционно-смелого и глубокого социально-справедливого шага», легализовав аборт и разрешив проведение этой процедуры, с согласия пациентки, врачом, в стационаре — была создана комиссия, которая рассматривала запросы на аборт [Генс 1927: 21–22; Гернет 1927: 3]⁷⁰. Еще

⁶⁸ В Санкт-Петербурге 4374 женщины из 5874 были госпитализированы с последствиями от абортов.

⁶⁹ О спорах по поводу абортов в конце XIX века см. [Engelstein 1988: 334–358].

⁷⁰ Гернет отмечает, что в РСФСР указ этот был введен 18 ноября 1920 года, на Украине — 5 июля 1921-го. Сторонники абортов продвигали их как временную меру по вытеснению опасных подпольных процедур плодизгнания и по сбору научно-статистических данных. Медицинскому персоналу предписывалось поощрять женщин к легальным абортам, но при этом отговаривать их от абортов как таковых, описывая альтернативы; предлагалось также создавать ясли и детсады при предприятиях [Генс 1926: 11]. О советской политике в отношении абортов см. также [Василевский 1924; Goldman 2002: 261–264; Wood 1997: 106–111].

один декрет, от 3 ноября 1924 года, устанавливал иерархию, основанную на идеологических представлениях большевиков, которая определяла, кто имеет право на бесплатный легальный аборт. Приоритет отдавался работницам и женам рабочих, уже имеющим детей [Генс 1926: 22–23]⁷¹. Статистика отказов показывает, что комиссия по абортам выносила решения, отталкиваясь от общественного положения просительницы. Цифры за 1925 год говорят о том, что в городах комиссии по абортам отказывали 16,2 % одиноких женщин и только 6,8 % замужних. В сельской местности отказы в аборте за государственный счет получили 15,4 % одиноких женщин и 12,2 % замужних. Более того, на вероятность, что женщине сделают аборт, сильно влияло то, сколько у нее уже есть детей. В аборте отказали 18,1 % бездетных женщин, а среди тех, у кого было четверо или более детей, таких было только 5,4 % (см. Таблицу 11) [Ф. 1927: 61–62]⁷². Соответственно, в СССР аборт считался формой контроля рождаемости, прежде всего доступной для замужних женщин, у которых уже есть дети, а не средством, которое давало женщинам возможность делать собственный выбор⁷³. Действительно, как отмечал юрист А. А. Пионтковский, согласно советским законам, (нелегальные) абORTы считались преступлением против здоровья, при этом

⁷¹ В [Халфин 1927: 210] приведена статистика по абортам в Московской губернии в 1925 году, из которой следует, что подавляющее большинство женщин, сделавших аборт, составляли жены рабочих или работницы (в том числе домашняя прислуга). Те, кому отказали в бесплатном аборте в государственном медицинском учреждении, могли прервать беременность в частной клинике, за плату. В 1925 году комиссия предоставила врачам более широкие полномочия в принятии решений по абортам в экстренных ситуациях, создававших опасность для здоровья матери. К 1926 году было законодательно запрещено проведение абORTов после первого триместра.

⁷² См. также [Паевский 1927: 35]. Для сравнения, среди приговоренных за детоубийства 71,2 % были незамужними, 12,8 % — замужними, 16 % — вдовами или разведенными [Маньковский 1928: 254].

⁷³ Хотя легальные абORTы и были разрешены, не предпринималось почти никаких усилий по обеспечению доступности других видов контрацепции. В результате возможностей контролировать рождаемость у женщин было крайне мало, аборт стал основным способом регулирования состава семьи. См. [Goldman 2002: 257–261].

жертвой преступления считалась беременная (а не зародыш, как это было прописано в кодексах многих западных стран) [Пионтковский 1926: 62]⁷⁴. Соответственно, легализация аборт находилась в русле советского законодательного принципа защиты слабых от эксплуатации. Она давала некоторым женщинам шанс избавиться от нежеланных детей, в результате они не попадали в больницы и тюрьмы, однако законодательные ограничения на аборт и практические препятствия вели к тому, что новые правила не повлекли за собой масштабного изменения общественного положения женщин или искоренения детоубийств.

Таблица 11. Процент отказов в аборте в 1925 году

	Большие города	Другие города	Село
Незамужние	16,2	9,7	15,4
Замужние	6,8	13,6	12,2
Бездетные	18,1	16,5	19,1
Один ребенок	9,9	15,2	15,7
Двое детей	9,8	14,2	14,1
Трое детей	7,4	8,7	9,2
Четверо и более детей	5,4	6,4	8,7

Источник: А. Е. Аборты в губернских городах, прочих городах и сельских местностях // Аборты в 1925 году. М.: Издание ЦСУ СССР, 1927. С. 61–62.

В политике касательно аборт присутствовал и классовый элемент, особенно в том, как криминологи сопоставляли аборты с детоубийствами. В одном из своих дореволюционных трудов Гернет отметил, что аборт — это средство высших классов против нежелательных беременностей, а женщины из рабочего класса прибегают к детоубийству. Если женщина из состоятельного

⁷⁴ Абортам посвящена статья 146 Уголовного кодекса от 1922 года.

класса не хочет рожать ребенка, она, по словам Гернета, «прибегает к шприцу и к разным внутренним средствам, чтобы произвести выкидыш, а представительницы неимущего населения совершают детоубийства»⁷⁵. Он считал, что аборт за государственный счет ликвидируют это общественно-экономическое неравенство, поскольку альтернатива будет доступна и тем, кому она в противном случае не по средствам. Историк Л. Энгельштейн отмечает, что в XIX веке вопрос классовой принадлежности в дебатах по поводу абортов чаще вставал в связи с доступностью ресурсов, чем с дифференциацией доходов. Горожанки предпочитали прекращение беременности на ранних сроках, а крестьянки избавлялись от нежеланных детей уже после их рождения [Engelstein 1988: 355]. Советские криминологи отмечали аналогичное различие, подчеркивая, что аборт — это городское явление, тогда как «в русской деревне ищут себе выхода в детоубийстве» [Василевский 1924: 64]⁷⁶, что отражает низкий культурный уровень сельских жителей. Действительно, даже когда селянки прибегали к аборту, ими двигали те же побуждения, которые заставляли их соседок совершать детоубийства. Как отметил один исследователь, и горожанки, и сельские жительницы шли на аборт по причине материальной нужды, однако для крестьянок гораздо более значимую роль играли стыд, страх и стремление скрыть беременность. Например, 66,4 % женщин, сделавших аборт в больших городах, и 58,2 % в сельской местности назвали в качестве основания материальное положение, только 1,6 % абортов в городах обосновывались стремлением скрыть беременность, в сравнении с 7,3 % в сельской местности [Ф. 1927: 55, 60]⁷⁷. Соответственно, аборт стал символом прогресса в городах, а детоубийство отражало в себе сохранявшуюся отсталость деревни.

⁷⁵ См.: [Гернет 1922а: 181–182; Гернет 1911: 127; Гернет 1974а: 237]; см. также [Шашков 1971: 498].

⁷⁶ См. также [Гернет 1974а: 242–243].

⁷⁷ См. также [Гернет 1927: 68]. Комиссия по абортам чаще давала разрешения на аборты в силу материальных обстоятельств, чем по какой-либо иной причине. См. [Паевский 1927: 46]. Разумеется, женщины, стремившиеся скрыть свою беременность, редко запрашивали у комиссии права на аборт.

При том что легализация аборт не ставила конкретной цели борьбы с детоубийствами, предполагалось, что в связи со схожестью условий, толкавших женщин на аборт и на детоубийство (равно как и с идентичностью методов, применяемых для искоренения того и другого), аборт станут альтернативой для женщин, которые в противном случае убивали бы своих младенцев, — соответственно, число детоубийств снизится [Василювский 1924: 65; Змиев 1927: 89–96; Алявдин 1927: 96–97]⁷⁸. Однако легальные аборт оставались малодоступными, особенно для одиноких сельских жительниц. Приоритеты государственной комиссии по абортам не всегда распространялись на тот самый сегмент населения, который был особенно предрасположен к детоубийству. Более того, анализ числа аборт и действенности политики в отношении аборт напрямую исходил из политических приоритетов комиссии по абортам. Криминологи понимали, что детоубийство — это преступление, которое совершают бедные незамужние крестьянки, и все же право на легальный аборт прежде всего получали замужние работницы-горожанки. Это заставляло многих женщин идти на подпольный аборт (его проводили повитухи в домашних условиях), принимать самодельные препараты или прибегать к детоубийству. Колоссальный дефицит врачей и больничных коек за пределами столиц также способствовал тому, что для крестьянок аборт оставались практически недоступными. И действительно, по наблюдениям Гернета, детоубийства чаще происходили в сельской местности именно по той причине, что сделать там аборт было крайне сложно [Гернет 1922а: 193]⁷⁹.

⁷⁸ В [Хонин 1926: 621–622] отмечается, что, дабы свести на нет потребность в абортах и искоренить детоубийство, необходимо уравнивать в правах гражданские и зарегистрированные браки, а также усилить и расширить борьбу с беспризорностью.

⁷⁹ В ответ на снижение рождаемости 27 июля 1936 года была произведена рекриминализация аборт. На уровень рождаемости это, однако, почти не повлияло, и 23 ноября 1955 года аборт были декриминализованы снова. Это почти мгновенно повысило число аборт вдвое. К 1970-м аборт стали для советских женщин основным средством контроля над рождаемостью [Chinn 1977: 109–110].

Большевики особо подчеркивали, насколько важно просвещение женщин касательно альтернатив избавлению от ребенка в деле борьбы с детоубийствами. Именно из стремления дать женщинам более четкое понятие о благоприятствующей им советской социальной политике они делали упор на снисходительном отношении судов к детоубийцам, одновременно отмечая серьезность этого преступления и наличие альтернатив. И у большевиков, и у криминологов были все надежды на то, что алименты и легализация абортс приведут к снижению числа детоубийств, однако суть предпринятых ими действий и обстоятельства жизни переходного периода были таковы, что альтернативы не давали желаемого результата. Женщины регулярно обращались в суд за алиментами, однако из-за живучести дореволюционного отношения к незаконнорожденности и высокого уровня безработицы алименты не давали матерям-одиночкам достаточных средств к существованию и лишь способствовали тому, что они сами становились жертвами преступлений. Аналогичным образом ограничения легальных абортс означали, что, будучи эффективным методом контроля рождаемости для замужних женщин, безопасные абортс оставались вне досягаемости именно для тех слоев населения, где детоубийство было особенно распространено. Отсутствие у государства в 1920-е годы необходимых ресурсов не позволяло ему взять на себя ответственность за нежеланных младенцев и заставляло перекладывать заботу о детях на родителей, когорые по своим нуждам, способностям, убеждениям и мировоззрению часто весьма сильно отличались от большевистского идеала советских граждан. В итоге оказалось, что искоренить «пережитки прошлого» чрезвычайно сложно.

Детоубийство в городах

Образовательно-воспитательные меры переходного периода, судя по всему, оказались малоэффективными, поскольку криминологи продолжали отмечать рост числа детоубийств. Например,

в одной только Московской губернии детоубийства составили 21 % от всех дел об убийствах, рассматривавшихся в судах в 1926 году, а к 1927 году число их выросло до 28 % [Шмидт 1928: 8]⁸⁰. Как отмечает психиатр Браиловский,

революция быта, проникающая отчасти и в толщу крестьянского населения, казалось бы, должна была оказать свое влияние в смысле уменьшения числа нежелающих родов «незаконного» ребенка. <...> Но реализация всех этих мечтаний не дала мало-мальски ощутительного снижения числа детоубийц [Браиловский 1929: 70].

Пытаясь объяснить живучесть преступления, которое должно бы было отмереть после того, как население поняло суть политики советского государства, криминологи обнаружили, что детоубийство отказывается отмирать в сельской местности по причине давления старой дореволюционной крестьянской морали и в связи с отсталостью и невежеством сельских жительниц. Именно на этом открытии основывался их анализ: они проводили различие между крестьянами и рабочими; классово-обоснованные географические параметры стали первичным индикатором и объяснением детоубийства.

Однако к середине 1920-х годов криминологи зафиксировали рост числа детоубийств в городах. До революции детоубийства на селе составляли около 90 % от общего числа случаев [Змиев 1927: 90–91; Гернет 1911: 143]⁸¹. Маньковский приводит сведения, что в 1925 году 73,1 % детоубийств пришлось на село и 26,9 % — на города. К 1927 году сельские детоубийства составляли только 52,2 % от общего числа, тогда как в городе цифра выросла до

⁸⁰ Гернет отмечает рост случаев детоубийства на 106,8 % между 1924 и 1925 годом, в сравнении с ростом только на 17,7 % преступлений против личности в целом. См. [Гернет 1928: 102; Гернет 1927б: 129].

⁸¹ Гернет приводит цифры по детоубийствам в городе и на селе за 1897–1896 годы как 88,5 % и 11,5 %, а Змиев — как 86,5 % и 13,5 % соответственно. Змиев также отмечает, что на селе скрыть нежелательные роды было труднее, чем в городе, где большая анонимность зачастую не позволяла вычислить мать убитого младенца.

47,8 % [Маньковский 1928: 250–251]⁸². Криминологи приписывали рост городских детоубийств притоку женщин из деревни, которые привозили в города свою отсталость и в новой обстановке оставались под влиянием традиционных взглядов⁸³. Переселенцы в город часто становились домашней прислугой. Маньковский отмечает, что в пропорциональном отношении число сельских жительниц, осужденных за детоубийство, снизилось (с 62,3 % в 1925-м до 50 % в 1927-м), однако процент обвиненных, работавших домашней прислугой, вырос (с 13,2 % в 1925-м до 36,4 % в 1927-м) [Маньковский 1928: 252]⁸⁴. Более того, когда детоубийство совершалось в городах, в 65,5 % случаев преступницами оказывались женщины, работавшие домашней прислугой. Маньковский полагал, что, поскольку эти женщины недавно переехали в город, их все еще можно считать крестьянками, так что городские детоубийства, по сути, становились явственно «сельскими» преступлениями. Он заключает: «Рост [детоубийства] в городе идет за счет домашних работниц, т. е. за счет не коренного населения города, а пришлого — из деревни» [Маньковский 1928: 252]⁸⁵.

⁸² Эти изменения можно частично объяснить миграцией в города. Подробнее о российском обществе периода НЭПа см. [Fitzpatrick et al. 1991].

⁸³ Стремительная урбанизация раннесоветского периода привела к «крестьянизации» городов, поскольку множество крестьян переехали в города и привезли с собой сельские традиции. Об урбанизации и миграции крестьян в России начала XX века см. [Bradley 1985; Engel 1995; Hoffman 1994]. Об урбанизации и преступности см. [Johnson 1995].

⁸⁴ Криминологи приравнивали крестьянок к домашней прислуге, они признали крестьянками 62,3 % детоубийц в 1925 году, 76,2 % в 1926-м и 50 % в 1927-м. Работницы стабильно составляли около 10 % таких преступниц. Кроме того, Маньковский отмечает, что более 70 % осужденных за детоубийство не достигли 25 лет. О домашних работницах раннесоветского периода см. [Spagnolo 2006]: она анализирует попытки союзов домашних работниц облегчить условия службы в семьях и ввести регулирование этой деятельности. О домашней прислуге дореволюционного периода см. [Engel 1995: 140–149], где говорится, что беременность зачастую стоила женщине места, однако автор не упоминает о детоубийстве как способе решения проблемы.

⁸⁵ См. также [Шестакова 1928: 158; Frank 1987: 161].

У горожанок из числа прислуги были те же самые свойства, которые криминологи наблюдали у крестьянок-детоубийц. Они по большей части были бедны, необразованны, одиноки и молоды. Однако побуждением к детоубийству, как правило, становилось желание сохранить место, а не «стыд» незаконнорожденности или позор в глазах окружающих. В одном случае служанка П. сумела скрыть свою беременность от нанимателей и родила ночью одна в ванной. Взяв из кухни нож, П. изрубила тело младенца на мелкие куски и спустила его в унитаз. Ванную она тщательно вымыла, устранив все следы родов и своего преступления. На ее горе, фановая труба забилась, и водопроводчик обнаружил в ней части тела [Бычков 1929: 25]⁸⁶. Для домашних работниц вроде П. рождение незаконного младенца, как правило, грозило увольнением — соответственно, на преступление их толкали прежде всего финансовые соображения. Маньковский отмечает, что если 60,2 % всех обвиненных в детоубийстве действовали из стыда, среди служанок только 5,3 % назвали стыд в качестве мотива. Он приходит к выводу, что в городе основной причиной этого преступления стала материальная нужда, тогда как в сельской местности позор играл куда более важную роль [Маньковский 1928: 257–258]⁸⁷. Хотя это заставляет предположить, что положение женщины кардинальным образом изменялось при переезде из села в город, криминологи просто приравнивали потребность домашней прислуги сохранить место к стыду сельянок перед соседями. В обоих случаях первопричиной была незаконная половая связь и стигма незаконнорожденности, в обоих случаях речь шла об «устаревшей» морали и о незнании советских законов, нацеленных на защиту интересов женщин.

Криминологи усматривали разницу между недавно переселившимися из деревни и городскими работницами. В отличие от крестьянок, пролетарки не совершали детоубийств, поскольку

⁸⁶ П. приговорили к трем годам лишения свободы.

⁸⁷ Маньковский отмечает, что 50 % работниц, 82,8 % крестьянок и 55,5 % представительниц других социальных групп совершали детоубийство из чувства стыда.

знали свои права в рамках Семейного кодекса, имели доступ к легальным абортam, сиротским заведениям и благотворительным организациям [Андреев 1928: 137–138]. По мнению криминологов, если работница совершала детоубийство, то только под давлением мужа или любовника. Действительно, согласно криминологической статистике, пролетарки совершали детоубийства в гораздо меньшем числе случаев, чем крестьянки и служанки. Если число детоубийств среди служанок выросло, то среди пролетарок оно снизилось от 11,3 % от общего числа в 1925 году до всего лишь 9 % в 1927-м [Маньковский 1928: 252]⁸⁸. При том что на низкий уровень детоубийств среди фабричных работниц влиял целый ряд факторов, например, рабочая солидарность, товарищество, экономическая стабильность или большая автономность жизни в городах, криминологи подчеркивали также и современную мораль и классовую сознательность этих женщин, в отличие от отсталости и невежества, характерных для сельских жительниц⁸⁹. Они считали, что работницы, в силу своей классовой сознательности, не совершают детоубийств, то есть если городская жительница совершила это преступление, виною тому сохранившиеся у нее «сельские» черты. Когда женщина на селе обретет ту же экономическую самостоятельность, что и горожанка, детоубийства прекратятся и там, полагали специалисты. Изменения в экономической ситуации на селе, в положении женщин и их морали приведут к искоренению детоубийств и, в конечном итоге, к полному отмиранию всех убийств [Андреев 1928: 43–44]. И так, детоубийц криминологи рассматривали с классовых пози-

⁸⁸ При обсуждении детоубийств криминологи редко упоминали работниц. Бычков отмечает, что в 1926–1927 годах 63 % женщин, повинных в детоубийстве в Москве, были крестьянками, 11 % — домашней прислугой, 12 % — работницами [Бычков 1929: 18]. Согласно данным Герцензона за 1913 год, более 60 % детоубийств совершали крестьянки, 3 % — работницы. См. [Герцензон, Лапшина 1928: 350].

⁸⁹ Некоторые историки полагают, что большая экономическая стабильность, солидарность, самостоятельность и взаимовыручка женщин, работавших на промышленных предприятиях, могла быть одним из факторов низкого уровня преступности в их среде. См. [Bernstein L. 1995: 116–117; Engel 1995].

ций. Они приписывали женщинам, убивавшим своих детей, определенные классовые свойства, вне зависимости от того, где совершено преступление и к какому общественному классу женщина принадлежит.

С точки зрения криминологов, детоубийства в городах происходили не из трудностей городской жизни, а из того, что в городскую среду просачивалось типично сельское явление. В рамках этого взгляда, детоубийцами в городах являлись немущие неассимилированные крестьянки, действовавшие под влиянием стыда, безысходности или страха, поскольку детоубийство являлось «отсталым» преступлением, которое не могло иметь места в прогрессивном социалистическом городе, где существовали альтернативы, например, легальные аборт, сиротские учреждения и другие социальные службы. Вера криминологов в то, что социальные службы способны снизить число детоубийств, отражает не только их социалистический идеализм, но и наивное представление о том, что у бедных крестьянок, перебравшихся в города, появился реальный доступ к подобным услугам. Дефицит потребительских товаров, продовольственные карточки, высокий уровень женской безработицы и крайне скудные выплаты по алиментам делали жизнь женщин в послевоенные годы особенно тяжелой. Кроме того, сложные бюрократические процедуры в сочетании с недостатком больниц и врачей снижали шансы большинства женщин на возможность воспользоваться социальными услугами, которые советское государство предоставляло в крайне ограниченном размере. Отсутствие альтернативных методов контрацепции и сохранившаяся стигматизация незаконнорожденных (на практике, если не по закону) лишь усугубляла их положение⁹⁰. В итоге социальная политика, которая была внедрена в начале 1920-х, не смогла улучшить жизнь большинства сельских и городских жительниц страны, особенно в том, что касалось деторождения и контрацепции, поэтому некоторые продолжали прибегать к «устарев-

⁹⁰ О положении женщин в раннесоветском обществе см., в частности, [Goldman 1993; Hutton 2001; Wood 1997].

шему» выходу из положения — детоубийству. Для криминологов детоубийство оставалось сугубо сельским преступлением, а его случаи в городах они объясняли в чисто идеологическом ключе — в результате специалисты не видели той реальности, в которой жили советские женщины в переходный период.

Заключение

В 1920-е годы криминологи считали детоубийство воплощением тех самых сущности и двойственности, которые они усматривали в женской преступности в целом. С одной стороны, детоубийцы были «злодейками», извергами, которые действовали вразрез с нормальной женской ролью роженицы и кормилицы и тем самым угрожали общественному порядку. В то же время женщины эти оставались «жертвами» отжившей сельской морали, материальных условий, собственных партнеров, своей отсталости и несознательности, равно как и женской физиологии. В этом смысле они заслуживали сострадания, снисхождения и перевоспитания. Связывая «невежество» женщин касательно их прав советских гражданок с их физиологией, суды и криминалисты приписывали женщинам-преступницам определенные свойства, которые подкрепляли традиционные представления о месте женщины в обществе и ставили под вопрос ее способность к полноправному участию в жизни советского общества. То, что женщины продолжали убивать своих детей, причем все в большем количестве, служило для криминологов показателем неэффективности мер, направленных на просвещение населения, особенно женщин. Более того, жизнь в период НЭПа заставила большевиков переложить большую часть бремени соцобеспечения на граждан и на семьи, в результате у женщин почти не осталось возможности спастись от давления со стороны их окружения и традиционной морали — того, что подталкивало к детоубийству.

Советская судебная практика подкрепляла представления криминологов о детоубийстве, поскольку преступницам назна-

чались небольшие или условные сроки, а более тяжелая ответственность и более строгое наказание налагались на мужей и любовников, выступавших сообщниками и подталкивавших женщин к убийству младенцев, либо отказывавшихся ребенка содержать. Этот перенос ответственности отражает представление судов о том, что женщины остаются отсталыми и пока не усвоили социалистическую мораль. Детоубийцы якобы просто не понимали, какие привилегии даровал им социализм, и в свете такого отсутствия сознательности суды смягчали ответственность перед законом и назначали небольшие сроки. При том что акцент на роли мужчин в детоубийствах отражал стремление советского законодательства исключить эксплуатацию более слабого, политика эта сохраняла явственную гендерную предвзятость, а именно — в свете роста числа детоубийств перекладывала на мужчин ответственность за их жен и любовниц и тем самым закрепляла в советской политике традиционные патриархальные представления.

Для криминологов 1920-х годов детоубийство воплощало в себе зазор между городом и деревней, современностью и отсталостью, пролетариатом и крестьянством, мужчинами и женщинами. Оно превратилось в мерило социалистического прогресса: по нему можно было судить о том, насколько далеко крестьяне оставались от идеалов революции и современного советского общества, оно подчеркивало необходимость проведения культурно-просветительской работы в их среде. Оно же обнажало отсталость сельских жительниц, отсутствие у них социалистической сознательности и живучесть традиционной крестьянской культуры и морали. Детоубийство говорило криминологам о том, что меры советского правительства, направленные на защиту женщин и детей — например, те, которые были обозначены в Семейном кодексе 1918 года, — вступали в противоречие с неизжитыми, но устаревшими представлениями о женской чести, чистоте и позоре. Эти противоречия и создавали ту пропасть, что отделяла крестьянство и женщин от остальной части советского общества.

Криминологи делали упор на классовых и гендерных различиях, что отражало идеологические приоритеты и классовую

иерархию внутри советской системы. Называя детоубийство преступлением, характерным для отсталых крестьянок и эгоистов-отцов, криминологи и суды задавали шаблон должного поведения, каковое ожидается от честных и ответственных советских граждан. В объяснениях детоубийств криминологи находили подтверждения своим взглядам на советское общество — подход, в котором сочетались большевистские идейные приоритеты и традиционный взгляд на общественную и гендерную иерархию. Эти взгляды перекликались с более общими тенденциями в советском обществе и способствовали формированию курса развития СССР после завершения НЭПа. На практике, впрочем, побуждения, толкавшие женщин на детоубийство, не совпадали с представлениями криминологов об этом преступлении. Более того, советские законы предлагали взгляды на мораль, которые далеко не обязательно разделяли жители государства. То, что в Советской России на раннем этапе ее существования сохранялось детоубийство, отражало в себе живучесть старых понятий перед лицом новой идеологии, значимость традиционных отношений для социальной стабильности, проявление личных интересов в ущерб намерениям государства, а также всю тяжесть того почти невыносимого положения, в котором после Октябрьской революции оказались как женщины, так и мужчины.

Заключение

Интерес специалистов к женской преступности объясняется прежде всего тем, что она, по большому счету, наносит больше вреда обществу и сильнее подрывает социальные нормы и идеалы поведения, чем мужская. Женская противоправная деятельность исследователям зачастую кажется более «чудовищной», она чаще направлена против близких людей и рассматривается как более откровенное несоответствие считающимся естественными женским материнским качествам. Поскольку женская преступность теснейшим образом связана с положением женщины в семье, в типах преступлений, которые совершают женщины, ученые всегда находили подтверждения традиционных женских общественных ролей¹. В случае с раннесоветской ситуацией это новое подтверждение общественного положения женщин лишний раз укрепило представление о том, что женское поведение определяет женская физиология и что женщины по природе своей являются отсталыми и это мешает им принимать полноценное участие в современной советской жизни.

Из того, как криминологи раннесоветского периода рассматривали женщин-преступниц, складывается картина общества, находящегося под сильнейшим влиянием собственных старых традиций и одновременно стремящегося к самоопределению в новом ключе. Неудивительно, что, несмотря на внесенные большевиками в 1918 году изменения — радикальный пересмотр общественного и семейного законодательства с целью ликвидировать пережитки прошлого в быту и мировоззрении, — большинство граждан страны продолжали жить так же, как и до ре-

¹ См. [Klein 1994: 265–290].

волюции. И действительно, жизненные реалии переходного периода часто шли вразрез с теми понятиями об обществе, которые внедряло советское государство. Социальные проблемы, усугубившиеся в годы войны, не снимались все 1920-е, не поддаваясь масштабным государственным реформам и влияя на направление социальной политики. К концу НЭПа серьезные финансовые трудности, равно как и политические приоритеты, связанные с ростом промышленности и рабочего класса, а также сопротивление со стороны той части населения, которая оставалась под влиянием «пережитков прошлого», подтолкнули государство к тому, чтобы переложить большую часть социальной ответственности на семьи; одновременно государство запустило процесс стремительной индустриализации и коллективизации. Законодательство, принятое в 1936 году, кодифицировало эти изменения, усложнив процедуру развода, запретив аборты и подталкивая женщин к тому, чтобы они продолжали трудиться и при этом рожали побольше детей. Эти меры возлагали на женщин все более непосильное двойное бремя, одновременно подтверждая важность семьи как института советского общества. Более того, попытки повысить рождаемость за счет криминализации абортов и поддержки многодетных семей, в сочетании с провалом социализации домашнего труда, привели к тому, что семья не «отмерла», как то предрекала социалистическая идеология, но стала неотъемлемым элементом советской системы [Goldman 1993: 342–343; Hoffman: 97–98]².

При этом, наряду с колоссальными общественно-политическими изменениями переходного периода, существовала глубинная преемственность в отношении к женщинам и их роли в обществе. При том что кооптация государством традиционной семьи отражала в себе неуклонное стремление к построению коммунизма, в нем же прочитывался и более масштабный процесс «культурной революции», в рамках которого дореволюционные ценности видоизменялись с целью приспособить их

² О советском государстве и женщинах см. также [Buckley 1989; Stites 1990; Wood 1997].

к потребностям советского государства. Анализ и толкование женской преступности, предлагавшиеся криминологами во время переходного периода, включали в себя и сохраняли традиционные представления о том, что женская преступность и женская жизнь сосредоточены в сфере способности к продолжению рода. Даже подчеркивая общественно-экономические причины женской преступности и предвещая ее рост, криминалисты делали упор на женской физиологии и в особенности — на репродуктивной функции как на факторе, который способствует женской противоправной деятельности или усугубляет ее. Подобная преобладанность, в сочетании с политическими требованиями и экономическими нуждами, привела к созданию гендерной иерархии, которая сохраняла в себе «традиционный» патриархальный подход к женщинам в советском дискурсе и формировала понимание того, какое положение женщине приличествует занимать в советском обществе — да, собственно, и какое поведение приличествует всем советским гражданам.

Взгляды криминологов на женщин отражали в себе и конкретизировали более общие советские представления об обществе и общественных отношениях. Особо примечательно, что связь, которую криминологи проводили между «примитивными» (то есть действующими по зову физиологии) преступницами и «отсталостью» на селе, стала весомым фактором большевистской антипатии к крестьянству. Приписывая женской преступности «сельский» характер, криминологи способствовали «феминизации» сельской местности и усилению гендерной и классовой иерархий в советском обществе. Исследователи отмечают наличие тех же тенденций в советской пропаганде. Например, В. Боннелл пишет, что к началу 1930-х образ крестьянина как типичного представителя села был замещен женским образом колхозницы. Боннелл утверждает, что это «было признаком нового гендерного дискурса, посвященного деревенской жизни, в котором образ крестьянства как общественной категории феминизировался» [Bonnell 1993: 79]³. Криминологический анализ

³ См. также [Bonnell 1997: 82–85].

женской преступности наводит на мысль, что подобное отношение к крестьянству и к женщинам не ограничивалось лишь областью пропаганды. «Феминизация» села стала центральным элементом криминологического дискурса еще до революции и сделалась для профессионалов удобным способом объяснения стойких различий, которые они наблюдали в уровнях мужской и женской преступности. С ее же помощью можно было дистанцировать крестьянство (и женщин) от современной советской жизни; для исследователей она была показателем того, что необходимо принимать решительные меры (такие как политика коллективизации), чтобы сломить сопротивление этого населения переменам. При том что криминологи, как правило, предпочитали идти по пути перевоспитания и просвещения, а не насилия и репрессий, их отношение все равно помогло проложить путь для сталинской атаки на село, которая в полной мере началась в конце 1920-х.

Акцент, который криминологи делали на «сельском» и «примитивном» характере женской преступности, также говорит о том, что место женщины в обществе они определяли в соответствии с традиционными представлениями о женской сексуальной и репродуктивной функции. Сохранившийся упор на женской «отсталости» и неспособности женщин в полной мере включиться в «борьбу за существование» отражал в себе определенную озабоченность по поводу тех более публичных ролей, которые женщинам предлагались в советском обществе. Подчеркивая, что женщины совершают именно «сельские» и «примитивные» преступления, криминологи отказывали женщинам в способности полноценно участвовать в современной (то есть городской) советской жизни, смещая суть своих выводов с конкретных общественно-экономических проявлений на абстрактные представления о женской преступности, при том что эти представления не учитывали реалий, в которых женщинам приходилось существовать в послереволюционные годы. Подобная гендерная иерархия подкрепляла патриархальный взгляд на женщин, отказывая им в праве на полноправное участие в жизни советского общества и тем самым снижая потенциально прогрессивное

модернизирующее воздействие Октябрьской революции на женщин. Как отмечает М. Дэвид-Фокс, основным элементом широкомасштабной большевистской «культурной революции» всегда оставались попытки победить российскую отсталость⁴. Тем не менее, представления о женской преступности как по сути своей «сельской» и «примитивной», которые так и не были искоренены в риторике социалистических преобразований, наводят на мысль не только о том, что представление о женской отсталости крайне глубоко укоренилось в мировоззрении криминологов, но и о том, что реальной целью усилий государства по превращению русских людей в «советских» были гендерная дифференциация и построение иерархии, в которой мужчины оказались бы в центре революционной борьбы.

Горькая ирония представлений о женской преступности как «сельской» и, как следствие, о женщинах как отсталых заключается в том, что эти представления отрицают какое бы то ни было влияние борьбы за существование, которую криминалисты считали таким позитивным явлением. По сути, женщины раз за разом проявляли свою вовлеченность в борьбу за существование, совершая детоубийства, чтобы сохранить работу домашней прислуги или, в случае с самогонщицами, занимаясь производством и продажей самогона с целью дополнить свой доход — на это указывали сами криминологи. Кроме того, когда это соответствовало их потребностям и возможностям, женщины пользовались новыми социальными и семейными законами, принятыми большевиками — например, прибегая к аборт для регулирования состава семьи и требуя алименты с безответственных мужей и любовников. Однако криминологи в своем анализе как бы не замечали этих новых факторов, не усматривая в них принципиального разрыва с традиционными границами женской преступности. Если рассмотреть их статистику и аргументацию, подобное отсутствие перемен наводит на мысль, что революция, по сути, не дала женщинам никаких новых возможностей для равноправного взаимодействия с мужчинами в общественной

⁴ См. [David-Fox 1999: 181–201].

жизни. Однако это же заставляет предположить, что женщины и мужчины воспринимали борьбу за существование и социалистические преобразования переходного периода кардинально различными способами, причем криминологи не распознавали этих способов при анализе женской преступности. Усматривая в отсутствии диверсификации внутри женской преступности не провал эмансипации и борьбы за равноправие, а признак сохранявшейся отсталости и примитивности женщин, криминологи связывали женскую преступность с сельской местностью и подкрепляли представления о женщинах как существах невежественных, отрезанных от общественной жизни, не обладающих достаточной сознательностью для того, чтобы наравне с мужчинами участвовать в жизни советского общества. Подобные объяснения женской преступности снимали с женщин ответственность за их действия, зачастую перекладывая вину на мужей и любовников. Все это подпитывало представление о женщинах как о существах слабых, нуждающихся в защите, жертвах жизненных обстоятельств и собственной половой принадлежности, то есть в советской уголовной юстиции сохранялось и даже усиливалось патриархальное отношение к женщинам.

Помещая ответственность за женскую преступность вне сферы контроля самих преступниц, криминологи 1920-х годов прибегали в своих работах к риторике о прогрессе и отсталости, ставя женщин-правонарушительниц в подчиненное положение существ по сути своей «примитивных», скорее всего, неисправимых и уж точно не отвечающих за собственные действия. Такие представления сосуществовали с социалистическими идеалами равенства полов и при этом не шли вразрез с сутью большевистского проекта. Напротив, сохранение традиционных взглядов на женщин в рамках радикальной социалистической идеологии облегчило отказ от некоторых наиболее несостоятельных и нереализуемых общественных начинаний середины 1930-х годов и стало основополагающим элементом общего процесса выработки общественных норм сталинского государства и создания «советского» социалистического общества.

Эпилог

Судьбы советской криминологии

Заканчивая разговор о том, как своими толкованиями женской преступности криминологи способствовали трансформации раннесоветского общества, важно остановиться на судьбах криминологии в раннесталинскую эпоху. Направление, в котором криминология развивалась в течение переходного периода, совпадает с направлением развития других научных дисциплин, в особенности — общественных наук. Что касается криминологии, то, что обсуждение женской преступности в 1920-е годы проходило на стыке социологического и биологического, и стало причиной уничтожения криминологии в начале 1930-х годов. Два этих подхода наиболее органично сочетались в психиатрическом анализе отдельных преступников, каковой и оставался основной методологией исследования преступлений все 1920-е, особенно в провинциальных криминологических кабинетах. Даже Государственный институт по изучению преступности и преступника в своих попытках создать централизованную «советскую» криминологию придерживался внутри своей институциональной структуры физиологической ориентации и психиатрического подхода к исследованию преступлений. Однако конец НЭПа, начало коллективизации в сельском хозяйстве и стремительная индустриализация — все это пришлось на сталинскую первую пятилетку — радикальным образом изменили положение дел в советских общественных науках: психиатрический подход стал политически неприемлемым. Подчеркивание роли коллектива

и приверженность строгим социалистическим идеологическим принципам привели к широкомасштабной переоценке общественного и профессионального участия во всех сферах деятельности и повлекли за собой призывы к созданию более «советской» науки, особенно в области «гибридных» общественных наук, таких как общественная гигиена, евгеника и криминология — тех, где общественное знание сочеталось с элементами биологии¹.

Кроме того, на изменение состава сотрудников и увольнение «буржуазных специалистов», считавшихся потенциальными вредителями, влияла и потребность назначить новые советские кадры на научные и административные должности². Криминологи, как и специалисты в других областях знания, все чаще становились мишенью критики за «ошибки» в своей работе, за то, что они недостаточно задействуют в своих исследованиях принципы марксизма-ленинизма³. На первый план вышло новое поколение советских юристов, преимущественно — сотрудников Коммунистической академии⁴. Они провели чистку профессиональных рядов, обрушившись с критикой на более «индивидуалистически» ориентированных коллег, обвинив их в «неоломброзианстве», то есть в приверженности «антисоциологическим» и «индивидуали-

¹ См. [Solomon S. G. 1990].

² О новой «советской» интеллигенции см. [Fitzpatrick 1979a].

³ Подобной же критике подвергались и разнообразные более революционные способы внедрения общественных перемен в 1920-е годы. См., напр., [Mally 1990; Wood 1997].

⁴ Секция государства и права Коммунистической академии была образована в 1923 году и к 1925-му стала центром марксистских юридических исследований в СССР. Ее научные сотрудники занимались формулированием теоретических подходов к вопросам государства и права. Они писали статьи для Большой советской энциклопедии, с 1927 по 1929 год печатались в журнале «Революция права» (в 1930-м он был переименован в «Советское государство и революцию права», в 1932-м — в «Советское государство» и в «Советское государство и право» в 1939-м. Он продолжает выходить и в постсоветской России под названием «Государство и право» с 1992 года). Среди сотрудников Секции государства и права были А. Я. Вышинский, Е. Б. Пашуканис, П. И. Стучка, А. Я. Эстрин, Н. В. Клышенко, Д. И. Курский и А. Г. Белобородов. См. [Разумовский 1926: 502–503].

стическим» элементам криминально-антропологического подхода Ломброзо в трактовке преступности и ее причин. Под давлением обвинений в идеологических и методологических ошибках, большинство исследователей поспешно и добровольно свернули изучение причин преступности и мотивации преступников и вернулись в сферу своих изначальных дисциплин.

Нападки на криминологию открыла статья, опубликованная в выпуске юридического журнала Коммунистической академии «Революция права» за январь 1929 года С. Я. Булатовым, недавно закончившим Институт советского права и работавшим в Коммунистической академии в качестве научного сотрудника⁵. Булатов обвинял криминологов в целом и сотрудников Московского кабинета по изучению личности преступника и преступности в частности, в неоломброзианстве. Он утверждал, что, в особенности среди психиатров, изучающих преступность, сильна тенденция связывать преступление с расстройствами психики,

⁵ Сергей Яковлевич Булатов (1898–1965) учился на факультете уголовного права Института советского права вместе с Герцензоном и Маньковским. Окопчил его в 1928 году (А. Н. Трайнин, преподаватель права в институте, критиковал его дипломную работу как слишком «политическую») (ГАРФ. Ф. А-4655. Оп. 1. Д. 224. Л. 6; Д. 227). Институт советского права был создан в 1920 году в составе Московского государственного университета для изучения вопросов советского права и социалистического строительства, для консультирования судов и прокуроров, рассмотрения современных буржуазных законов и подготовки специалистов по юридическим дисциплинам. В его составе было три секции: государственно-административно-экономико-трудового и уголовного права; с 1922 по 1928 год там также издавался журнал «Советское право». Среди сотрудников были А. Я. Вышинский, М. М. Исаев, Крыленко, Курский, Пионтковский, Трайнин, Ширвиндт и А. Я. Эстрин. В 1929 году было принято решение о ликвидации Института советского права и передаче его функций Секции государства и права Коммунистической академии. В результате были смещены с должностей наиболее антимарксистски настроенные преподаватели института и университета (ГАРФ. Ф. А-4655. Оп. 1. Д. 212. Л. 1–2; Д. 224. Л. 6; Д. 250. Л. 11–12). См. также [Хроника 1922: 12–13]; Отчет Института Советского права РАНИОН за 1925/26 г. // Советское право. 1927. № 2. С. 162–170; Первый Московский Государственный Университет за первое советское десятилетие (1917–1927 гг.). М.: Издательство I-го Московского государственного университета. 1928. С. 60–67.

а также сосредоточиваться на атавистических чертах — тем самым в советской криминологии сохраняются элементы теории Ломброзо. Булатов отмечал, что хотя указанные исследователи и объявили теорию Ломброзо антинаучной, однако в их исследованиях явно прослеживаются ломброзианские тенденции. Ошибка их, по мнению Булатова, состояла в том, что в преступлении они видели результат «психофизиологической неполноценности преступника». Физиологическая трактовка преступления делает упор на безумии или психической неадекватности преступника, то есть общественное явление подается как медицинское. А вот подлинно марксистский подход, подчеркивал Булатов, должен прежде всего видеть в каждом преступнике представителя определенного класса — только таким образом можно дать преступнику верную характеристику [Булатов 1929: 53–54, 49, 57].

В ответ на критику криминологов со стороны Булатова в Институте советского строительства и права Коммунистической академии в марте 1929 года состоялся диспут по вопросу о научных методах и подходах к изучению преступности в социалистическом государстве⁶. Согласно обвинениям, выдвинутым по ходу «диспута», несмотря на впечатляющие усилия Государственного института по приданию исследованиям преступности более «марксистского» характера, криминология так и не стала достаточно «советской». Диспут в Коммунистической академии стал форумом, на котором были оглашены недостатки криминологических исследований и выработан единый методологический подход, которому предстояло сформировать будущее советской криминологии. По словам Маньковского, тоже криминолога, недавнего выпускника Московского государственного университета, задача Коммунистической академии состояла в «борьбе с представителями мелкобуржуазного социализма в советской криминологии» [Диспут 1929: 58]. Для участников диспута

⁶ Шелли дает обзор этого диспута в [Shelley 1979]. Протокол диспута был сразу же опубликован в журнале Коммунистической академии «Революция права» (см. [Диспут 1929]). По нему возможно отследить изнутри, как развивался сценарий чистки.

в Коммунистической академии обвинения в неоломброзианстве стали удобным способом выявить «несоветские» черты криминологии как раз в тот момент, когда такое выявление приобрело особую политическую значимость. Как пишет Шелли, эти исследователи, возможно, плохо представляли себе, что такого особо «марксистского» или «советского» может быть в криминологии, — а заклеив в то, что в ней было «несоветского», все-таки определились: аналогичным образом можно, дав определение противоправной деятельности, сделать шаг к описанию правильных норм поведения⁷. По ходу этого диспута члены Коммунистической академии выступили арбитрами будущего криминологии. Они заклеили криминологические исследования 1920-х годов как неприемлемо антисоветские и призвали к полному пересмотру подходов к исследованию преступности.

Эстрин, ведущий правовед, преподаватель права в Московском государственном университете, открыл диспут, выдвинув положение, что в советской науке нет места рассмотрению преступника как личности. Изучение преступности необходимо, продолжил он, однако

мы должны изучать прежде всего те формы преступности, которые характеризуют именно современный момент нашего политического бытия. Мы должны изучать те или другие явления, те или другие преступления в свете тех политических задач и тех политических установок, которые даны нашей партией, и прежде всего в свете классовой борьбы, борьбы за социалистическое строительство [Диспут 1929: 49].

Психиатр Г. М. Сегал, давний сотрудник Государственного института, глава уголовного отдела Мосгубсуда и преподаватель права в Московском государственном университете, также

⁷ См. [Shelley 1977: 165–166]. Шелли подчеркивает, что большинство ученых согласились с идеями, выдвинутыми по ходу диспута, поскольку немарксистский подход к изучению криминологии как дисциплины и недостаточное понимание значения марксизма для уголовного права означали, что криминологи не способны должным образом защититься от обвинений.

критиковал состояние криминологических исследований. Он согласился с другими участниками диспута в том, что изучать отдельных преступников совершенно необходимо, но только в практических целях вынесения наказания. Сегал подчеркивал, что перед советской криминологией стоят две задачи: первая — разработка мер предотвращения преступлений, вторая — создание действенных методов исправления преступников. Только пересмотрев ориентацию изучения преступности, утверждал он, можно преодолеть губительное для криминологии «недостаточное совпадение теории и практики» [Диспут 1929: 51–54]. Несмотря на попытки пенолога Ширвиндта и юриста Пионтовского, а также других защитить криминологические исследования, члены Коммунистической академии подавляющим большинством голосов заклеили суть и направление криминологических исследований в 1920-е годы. На смену им был намечен новый курс исследования преступности, направленный на то, чтобы полностью искоренить «неоломброзианские» элементы и заместить их более последовательной марксистско-ленинской ориентацией, которая оперировала бы только общественно-экономическими факторами. Итог диспута явственно свидетельствовал о том, что психиатрическим исследованиям более нет места в «советской» криминологии. Новый курс свел уголовную психиатрию к роли одной лишь судебно-медицинской экспертизы, и это со временем привело к упрощенному пониманию преступления как реакции на внешние общественно-экономических обстоятельства и культурные влияния, вызванные исключительно «пережитками прошлого»⁸.

Критика криминологии, прозвучавшая на диспуте Коммунистической академии, имела крайне тяжелые последствия. Она изменила и направление, и объем криминологических исследо-

⁸ О психиатрии и ее развитии в СССР см., в частности, [Healy 2001; Miller 1998]. Разумеется, «новая» советская криминология не учитывала влияния общественно-экономических факторов, проистекавших из советской и сталинской политики, утверждая, что все факторы преступности связаны исключительно с «пережитками» капитализма.

ваний, по сути переориентировав их на пенологические вопросы и положив конец дискуссиям по поводу гендерного аспекта преступности, а также заложив основания для последующей реорганизации и упразднения криминологических учреждений. Однако ученые, которых заклеили по ходу этого диспута, вовсе не обязательно стали жертвами сталинских репрессий в 1930-е годы⁹. Многие научные и административные работники, игравшие важные роли в криминологических организациях, особенно находившихся под эгидой Коммунистической партии, оказались в тюрьмах и лагерях, среди них были администраторы Ширвиндт и А. Г. Белобородов [Иванов, Ильина 1991: 10]¹⁰. При этом другие — нужно отдельно отметить Гернета и Трайнина — смогли и дальше заниматься научной деятельностью, несмотря на выдвинутые против них обвинения. Отчасти потому, что среди криминологов так и не сложилось полномасштабной корпоративной идентичности и они оставались прежде всего представителями своих собственных научных дисциплин, реструктуризация криминологии не положила конца их научной карьере. Эти специалисты смогли, сменив направление своих исследований в соответствии с идеологическими требованиями момента, заниматься наукой даже после того, как их лишили возможности

⁹ Шелли полагает, что в ходе диспута в Коммунистической академии криминологи не смогли единым фронтом встать на защиту своей дисциплины потому, что сильнее прочего их волновало личное выживание. См. [Shelley 1979: 185].

¹⁰ Евсей Густавович Ширвиндт (1891–1958), руководитель Главного управления мест заключения (ГУМЗ) НКВД в 1920-е годы, был арестован в 1937-м, освобожден в 1955-м. См. [Solomon 1978: 180–181]. Александр Георгиевич Белобородов (1891–1938) был наркомом внутренних дел с 1923 по 1927 год, после чего был снят с должности. Информации о его дальнейшей деятельности пока не обнаружено, однако дата смерти заставляет предположить, что он стал жертвой сталинских репрессий; посмертно реабилитирован. См. [Деятели 1989]. О многих других криминологах 1920-х годов информации еще меньше. Судя по датам жизни, статистик Евгений Никитич Тарновский (1856–1936), возможно, стал жертвой репрессий или умер от старости (его биография об этом умалчивает). Нет информации и о дате смерти Александра Александровича Жижиленко (род. 1873), юриста и преподавателя права из Ленинграда.

проводить криминологические исследования в том виде, в каком они существовали в 1920-е годы¹¹.

Диспут 1929 года в Коммунистической академии положил начало существенным изменениям в структуре и практике криминологии. Прежде всего, изменились руководство и подход к изучению преступности. Советские правоведа, в особенности — молодые кадры, исповедовавшие принципы марксизма-ленинизма, такие как Булатов, взяли дискуссию в свои руки и задали новое направление развитию дисциплины. В этом смысле диспут в Коммунистической академии прошел в том же духе, что и другие чистки в советском обществе: новые специалисты, получившие советское образование, взяли в свои руки инициативу по очистке профессионального сообщества от старых «буржуазных специалистов». Более того, аргументация, выдвинутая против криминологии, строилась прежде всего на критике методологических подходов, она упирала на то, что сама по себе криминология —

¹¹ Например, Михаил Николаевич Гернет (1874–1953) продолжал преподавать в Московском государственном университете. Он сосредоточился на изучении дореволюционной эпохи, работал над своим *magnum opus* — пятитомным исследованием царских тюрем и судеб оказавшихся там революционеров (Гернет М. История царской тюрьмы. В 5 т. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1951–1956). Арон Наумович Трайнин (1883–1957) после 1930-х в основном занимался международным правом, преступлениями против человечества, военными преступлениями и интервенциями, был представителем от СССР на Нюрнбергском процессе после Второй мировой войны. Об участии Трайнина в Нюрнбергском процессе см. [Hirsch 2008: 701–730]. Михаил Михайлович Исаев (Сурский) (1881–1951), психиатр, участник создания Института судебно-медицинской психиатрии имени Сербского в 1921 году, создал Московскую областную психиатрическую клинику, которой руководил все 1940-е годы. После Второй мировой войны участвовал в Нюрнбергском процессе. После 1930-х сосредоточился не столько на изучении преступников, сколько на психических расстройствах и психиатрии. Андрей Андреевич Пионтковский (1899–1973), специалист по уголовному праву и сын известного преподавателя права профессора Андрея Антоновича Пионтковского (1862–1915), продолжал участвовать в деятельности международных организаций по изучению уголовного права, сосредоточившись на теоретических принципах советского уголовного права. Борис Самойлович Утевский (1887–1970), пенолог, в 1920-е годы много писавший о пенитенциарной политике и рецидивистах, занялся ювенальной юстицией и организацией исправительных работ в СССР.

полноправная марксистская наука, имеются лишь ошибки отдельных ее представителей, которые нужно исправить, прежде чем продолжить исследования. Критика неоломброзианства, направленная против отдельных криминологов, означала, что они больше не должны исследовать преступления так, как исследовали в переходный период, но это не значит, что изучение преступности нужно прекратить. Криминологам надлежит минимизировать исследование отдельных преступников и сосредоточиться на коррективных мерах и толковании преступности в свете классово-социалистических принципов, классовой вражды и устаревшего мировоззрения. Междисциплинарный характер криминологии и отсутствие согласия между криминологами касательно методологии — все то, что придавало особое разнообразие и новаторство исследованиям 1920-х годов — к 1929-му стало неприемлемым. Спротивление криминологии гомогенизации, позволявшее ей успешно лавировать внутри советской бюрократической системы, в итоге стало одним из факторов ее краха.

Ликвидация и последующая реорганизация в 1931 году НКВД, главного покровителя Государственного института, еще больше урезали роль и объем криминологических исследований. Местные криминологические кабинеты были упразднены, Государственный институт передан под эгиду Наркомата юстиции. В новом формате Государственный институт должен был заниматься только изучением пенитенциарного законодательства и исправительного труда. В 1934 году Государственный институт в свою очередь был реорганизован: теперь ему надлежало заниматься практическими вопросами наказания и реабилитации преступников, а не их психологией или физиологией [Ильина, Надъярный 1968: 308–309]. Этот шаг положил конец исследованиям личности преступника, равно как и новаторской работе, которая велась в переходный период.

История криминологии в СССР определяется как ее реформаторскими целями, так и влиянием социалистической идеологии. На раннем этапе ученые пытались через создание профессиональных криминологических организаций систематизировать изучение преступности в свете своего стремления к обществен-

ным реформам и развитию науки, одновременно откликаясь на потребность государства понять и искоренить преступность. В период НЭПа цели эти не были взаимоисключающими, однако после 1930 года криминологические исследования в том виде и объеме, в котором они велись, стали потенциально слишком вредоносными, чтобы сохранить им право на существование в глубоко идеологизированном климате сталинской эпохи. В конечном итоге криминология как дисциплина не смогла стать автономным форумом, где специалисты задавались бы вопросами по поводу процесса социалистического строительства или высказывали альтернативные взгляды на советское будущее. Более того, выявляя те точки, где цели общества и меры государства вступали в конфликт с поведением его граждан, криминологи превращались в потенциальную угрозу государственной стабильности и тем самым нормам, которые сами же и пытались установить. При Сталине государство утратило интерес к анализу преступности как барометра прогресса социалистического строительства. Хуже того, исследования преступности подтверждали ее живучесть и подрывали представление о том, какой большой шаг к социализму был сделан за первую пятилетку. Поскольку, следуя сталинской логике, предпосылки для преступности при социализме были искоренены, любые правонарушения теперь можно было назвать «пережитками прошлого», все еще имевшими место в узких кругах непросвещенных крестьян — кулаков и «врагов народа», которые до сих пор не поняли сути нового порядка. Соответственно, преступность из отклика на общественно-экономические условия превратилась в свидетельство сопротивления или признак противостояния. Более того, сдвиг в пенитенциарной политике от исправления заключенных к государственной эксплуатации их труда еще больше приглушил интерес режима к тому, чтобы выявлять мотивы и свойства преступников и заниматься их реабилитацией¹². Разумеется, преступность в СССР сохранялась, но никто уже не занимался нюансированным изучением ее причин и средств ее искоренения.

¹² См. [Wimberg 1996; Shelley 1979].

Взгляд назад — сохранение влияния раннесоветской криминологии

Криминология возродилась в 1950–1960-е годы в рамках де-сталинизации общества, которая началась после знаменитого «тайного доклада» Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 году, где впервые были преданы огласки преступления сталинской системы. Призывы к обновлению «ленинских норм» в советской политике подтолкнул правоведов к тому, чтобы взглянуть назад, на раннесоветский период и на тогдашнее законодательство, которое можно было взять за основу для воссоздания советских норм [Solomon 1978: 36]. Впрочем, новая постсталинская криминология должна была тоже быть «ленинской», что означало строгое следование принципам марксизма-ленинизма как в теории, так и на практике. Пытаясь возродить свою дисциплину на принципах, выработанных их предшественниками в 1920-е годы, криминологи постсталинского периода сочли необходимым дистанцироваться от «ошибок» прошлого, особенно от взглядов на личность преступника, высказанных по ходу диспута в Коммунистической академии, и провести четкое разграничение между методологией раннего периода и собственным более «советским» подходом.

Герцензон, правовед, который, в качестве выпускника Института советского права Московского государственного университета участвовал в середине 1920-х годов в деятельности тогдашних криминологических организаций и публиковал статьи по разным аспектам криминологических исследований, встал в 1956 году во главе процесса возрождения криминологии и перестроения ее в соответствии с принципами марксизма-ленинизма¹³. Участвуя в 1929 году в диспуте в Коммунистической акаде-

¹³ Алексей Адольфович Герцензон (1902–1970) родился в Кишиневе. Закончив школу в 1920 году, работал статистиком в Конъюнктурном институте, вступил сперва в профсоюз строителей, потом — в профсоюз работников просвещения. С 1921 по 1925 год учился на юридическом отделении факультета общественных наук Московского государственного университета.

мии, Герцензон заявлял: «Исследование личности преступника <...> ни в какой степени [не может] решить вопроса о причинах преступности» [Диспут 1929: 61]. Хотя он и сам критиковал собственную дисциплину, особенно в части психиатрического подхода, он сохранил верность основным принципам криминологических исследований. Уже в 1945 году, призывая вернуться к изучению преступности, Герцензон подчеркивал, что основной причиной ликвидации криминологии стала деятельность криминологов «с неправильных теоретических позиций». Он, тем не менее, считал, что подобные недостатки не означают, что изучение преступности следует прекратить, и указывал на необходимость реорганизации исследований в соответствии с «принципами социалистической науки уголовного права» [Герцензон 1945: 17]. Новая криминология, о которой мечтал Герцензон, должна была стать более «советской», чем та, которая существовала в 1920-е годы.

Работая над восстановлением криминологии в 1950-е и 1960-е годы, Герцензон сформулировал недостатки раннесоветского подхода к исследованиям преступности. Одной из проблем криминологии в 1920-е годы было, по его мнению, то, что «буржуазное влияние» слишком сильно воздействовало на советское правоведение и не позволяло полностью развить марксистско-ленинскую теорию уголовного права. Кроме того, подчеркивал он, недостаточно полное понимание социологических предпосылок преступности способствовало расцвету «неоломброзианских» теорий в криминологических исследованиях [Герцензон 1958: 6–8;

В 1929–1931 годах возглавлял Отдел моральной статистики Центрального статистического управления, в 1934–1935 служил в статистическом отделе Главного управления милиции СССР. В 1940 году вступил в партию. Защитил докторскую диссертацию по советской юриспруденции, в 1962-м получил звание заслуженного деятеля науки РСФСР. Много писал по вопросам уголовной и судебной статистики, уголовному праву, методологии и теории криминологии, первым пересмотрел теоретические основы советской юридической статистики. См. [Эминов 1997: 104]; Большая советская энциклопедия. Третье издание. Т. 6. М.: Сов. энциклопедия, 1971. С. 430; [Корнев 1993: 39–40]; ЦМАМ. Ф. 1609. Оп. 7. Л. 627. Л. 10, 1, 23–23 об.

Герцензон 1967: 51]¹⁴. Самые серьезные ошибки, по его мнению, были допущены, поскольку «методики изучения преступности и ее причин не были достаточно глубоко и всесторонне разработаны с позиций марксистско-ленинской теории» [Герцензон 1965: 94]. А вот в новой советской криминологии «нет ни малейших оснований пересматривать общую концепцию причин преступности и делать хотя бы малейшие уступки биологической или биосоциальной теории» [Герцензон 1966: 53]. В отличие от «неоломброзианства» раннесоветской криминологии, новая криминология будет заниматься исследованием личности преступника только для того, чтобы выяснить,

насколько данная личность заражена пережитками прошлого в своем сознании, насколько эти пережитки определили антисоциальное поведение данного лица, какие условия способствовали этому, каковыми должны быть профилактические меры, обеспечивающие исправление и перевоспитание данного лица [Герцензон 1962: 76].

Новый взгляд на криминологию, сформулированный Герцензоном, подчеркивал, что деятельность криминологов в 1920-е годы в целом была полезной, при этом Герцензон отмечал ее фундаментальные идеологические «ошибки». Он хотел развивать традиции криминологических исследований отечественных специалистов, одновременно оградив новую советскую криминологию от ошибок прошлого. И действительно, криминологи послесталинского периода подчеркивали, что методологические «недоработки» прошлого носили точечный характер и не выходили «за рамки отдельных теоретических работ» [Ильина 1968: 34]. Признав ошибки предшественников, криминологи могли двинуться по «правильному» пути марксистско-ленинского

¹⁴ «Неправильное отождествление теории факторов преступности — теории, порочной в методологическом отношении, чисто буржуазной, идеалистической (позитивистской) в своей основе, — с изучением конкретных факторов (причин и условий) преступности привело к признанию ненужным изучение непосредственных причин и условий отдельных видов преступлений» [Герцензон 1958: 10].

развития, и ученые послесталинского периода жестко следовали идеологическому контексту своего времени [Советская криминология 1966: 26; Герцензон 1965].

К середине 1970-х годов криминология вполне вернула себе статус «советской» общественной дисциплины — можно было перейти к более нюансированной оценке научной работы 1920-х годов. И. С. Ной, правовед и криминолог из Саратова, писал, что криминологи 1920-х годов «понимали, что сознание человека является общественным продуктом» и ничего иного в своих исследованиях не подразумевали. Криминологические исследования раннего периода отражали в себе сложность изучения преступника и необходимость, при установлении причин преступления, принимать в расчет социальные, психологические и физиологические особенности. Ной подчеркивал, что главным вкладом криминологов 1920-х годов в науку стал творческий подход, который они применяли, предлагая решения проблемы преступности [Ной 1975: 41, 50]¹⁵. Криминологические исследования 1920-х годов, по мнению Ноя, были в целом свободны от «абстрактно-дедуктивного метода», который стал доминирующим после 1931 года. Ной подчеркивал, что правоведы, которые занялись криминологическими исследованиями после 1931 года, прекрасно осознавали социологические факторы преступности, но были плохо знакомы с психофизиологическими свойствами преступника. Это мешало им работать так же продуктивно, как в 1920-е годы, сдерживало развитие науки о преступности и привело к тому, что в криминологии все отчетливее преобладали упрощенные трактовки преступления, основанные прежде всего на «пережитках капитализма в сознании людей и влиянии капиталистического окружения» [Ной 1975: 36, 55–56]¹⁶.

¹⁵ Среди недавних работ по истории советской криминологии: [Касаткин 1965; Иванов, Ильина 1991; Лунев 1997; Сахаров 1994; Шляпочников 1973; Shelley 1977; Шестаков 1991; Solomon 1974].

¹⁶ В анализе Ноя совершенно не учитывается разлагающее влияние сталинского государства и кооптация им этой дисциплины ради собственных нужд в начале 1930-х.

Ной реабилитировал методологию раннесоветской криминологии как раз тогда, когда наметился сдвиг в криминологии советской. Начиная с 1976 года криминологи опять начали включать вопрос о биологических параметрах в свои исследования — в анализ преступления вернулись понятия пола, возраста и психологии [Шестаков 1991]. При этом остается только гадать, внес ли тот факт, что советские органы усматривали связь между диссидентством и психическими заболеваниями, свой вклад в реабилитацию биологического аспекта криминологии именно в этот период. Позднесоветские криминологи игнорировали это потенциально негативное применение их научной дисциплины в надежде, что расширение методологического аппарата криминологии, которое началось в 1970-е и укрепилось под влиянием гласности в 1980-е, станет признаком новообретенной объективности и автономности науки о преступлениях и поможет криминологии выйти на новый уровень в постсоветскую эпоху [Шестаков 1991]¹⁷.

¹⁷ См. также [Кузнецова 1989: 26]: она пишет, что с началом гласности «криминология может стать подлинной наукой, которая полным голосом говорит обществу о его наиболее тяжком социальном бедствии — преступности, ее причинах и условиях, и выработывать научные рекомендации по предупреждению преступности не умозрительно, а основываясь на объективных данных правовой и социальной статистики». О советских диссидентах, психиатрии и психических расстройствах см. [Bloch, Reddaway 1977; Smith, Oleszczuk, 1996].

Архивные источники

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
Фонд Р4042. Главное управление местами заключения (ГУМЗ) Наркомата внутренних дел РСФСР

Фонд А259. Совет министров РСФСР (Совмин РСФСР)

Фонд А482. Министерство здравоохранения РСФСР (Минздрав РСФСР)

Фонд А2307. Главное управление научных и музейных учреждений (Главнаука) Наркомата просвещения РСФСР; сектор науки Наркомата просвещения РСФСР

Фонд А4655. Российская ассоциация научно-исследовательских институтов материальной, художественной и речевой культуры (РАНИМ-ХИРК) при Наркомате просвещения РСФСР

ЦМАМ — Центральный муниципальный архив г. Москвы

Фонд 1609. Московский государственный университет (1 Московский государственный университет им. М. Н. Покровского) главного управления профессионального образования Наркомата просвещения РСФСР 1917–1936; Комитета высшей школы 1936–1940

Фонд Р-1215. Административный отдел Московского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

ЦГАМО — Центральный государственный архив Московской области

Фонд 66. Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Моссовет)

Периодические издания

АВ — Административный вестник (Москва, 1922–1930)

АКСМ — Архив криминологии и судебной медицины (Харьков, 1926–1927)

БЦСУ — Бюллетень Центрального Статистического управления (Москва, 1919–1926)

- ВП — Вестник права (Санкт-Петербург, Петроград, 1908–1917)
 ВПКАП — Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии (Санкт-Петербург, Петроград, 1904–1919)
 ВСЮ — Вестник Советской юстиции (Харьков, 1922–1930)
 ВС — Вестник статистики (Москва, 1919–1929)
 ВлС — Власть советов (Москва, 1919–1938)
 ВИПСК — Вопросы изучения преступности на Северном Кавказе (Ростов, 1926–1928)
 ВоП — Вопросы права (Москва, 1910–1912)
 ЕСЮ — Ежедельник Советской юстиции (Москва, 1922–1929)
 ЖМЮ — Журнал Министерства юстиции (Санкт-Петербург, Петроград, 1897–1917)
 ЖПНП — Журнал психологии, неврологии и психиатрии (Москва, 1922–1924)
 ЖУПП — Журнал уголовного права и процесса (Санкт-Петербург, 1912–1913)
 ПЖ — Право и жизнь (Москва, 1922–1928)
 ПП — Преступник и преступность (Москва, 1926–1927)
 ПрП — Проблемы преступности (Москва, 1926–1929)
 ПРП — Пролетарская революция и право (Москва, 1918–1921)
 ПС — Пролетарский суд (Москва, 1922–1928)
 Р — Работница (Москва, 1917–н/в)
 РК — Работница и крестьянка (Ленинград, 1922–1941)
 РС — Рабочий суд (Ленинград, 1923–1930)
 РП — Революция права (Москва, 1927–1929)
 СССДУ — Свод статистических сведений по делам уголовным (Санкт-Петербург, Петроград, 1873–1915)
 СГРП — Советское государство и революция права (Москва, 1930–1931)
 СП — Советское право (Москва, Ленинград, 1922–1928)
 СЕ — Статистический ежегодник (Москва, 1921–1925)
 СОД — Статистический обзор деятельности местных административных органов НКВД РСФСР (Москва, 1924–1927)
 СО — Статистическое обозрение (Москва, 1927–1930)
 СИ — Суд идет! (Ленинград, 1924–1931)
 СП — Судебная практика РСФСР (Москва, 1927–1931)
 СМЭ — Судебно-медицинская экспертиза (Москва, 1925–1931)
 ЮВ — Юридический вестник (Москва, 1868–1892)

Источники

Аборты 1927 — Аборты в 1925 году. М.: Издание ЦСУ СССР, 1927.

Аккерман 1927 — Аккерман В. О. Криминологическая клиника // Преступники и преступность. 1927. № 2. С. 207–217.

Алявдин 1927 — Алявдин П. А. Детоубийство в Иваново-Вознесенской губернии за 1925 и 1926 г. // Судебно-медицинская экспертиза. 1927. № 7. С. 95–99.

Алявдин 1929 — Алявдин П. А. Уголовные преступления в связи с алиментами в Иваново-Вознесенской губернии // Судебно-медицинская экспертиза. 1929. № 11. С. 113–115.

Андреев 1928 — Андреев М. Детоубийство // Рабочий суд. 1928. № 2. С. 137–144.

Аронович 1924 — Аронович А. М. Самогонщики // Преступный мир Москвы. Сборник статей / под ред. М. Н. Гернета. М.: Право и жизнь, 1924. С. 174–191.

Арсеньев 1928 — Арсеньев Б. Я. Убийства и судебная борьба с ними // Убийства и убийцы / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберга. М.: Издательство Мосздравотдела, 1928. С. 362–370.

Артименков 1925 — Артименков Л. О революционной законности в деревне // Еженедельник Советской юстиции. 1925. № 10. С. 241–242.

Ашаффенбург 1906 — Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним. Уголовная психология для врачей, юристов и социологов. Одесса: издание книжного магазина Е. П. Распопова, 1906.

Б. С. 1928 — Б. С. Современная преступность и судебная практика // Революция права. 1928. № 3. С. 110–114.

Б. Ю. 1925 — Б. Ю. Преступность города и деревни в 1924 году (По данным статистического бюро НКВД) // Административный вестник. 1925. № 6. С. 23–28.

Безпалько 1927 — Безпалько. Детоубийство // Еженедельник Советской юстиции. 1927. № 3. С. 603.

Белобородов 1927 — Белобородов А. Г. Современная преступность (Преступление, пол, репрессия, рецидив). М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1927.

Бехтерев 1926 — Бехтерев Ю. Ю. Экспериментальный пенитенциарный институт // Советское право. 1926. № 6. С. 119–124.

Бехтерев 1928 — Бехтерев Ю. Ю. Изучение личности заключенного (История, задачи, методики и техника). М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1928.

Бехтерев 1930 — Бехтерев Ю. Ю. Грамотность заключенных в связи с полом, возрастом и рецидивом // Современная преступность. Социальный состав, профессии, возраст, грамотность. Т. 10. М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1930. С. 52–73.

Боровитинов 1905 — Боровитинов М. М. Детоубийство в уголовном праве. СПб.: Типо-лит. Санкт-Петербургской тюрьмы, 1905.

Браиловский 1926 — Браиловский В. В. Социологический или биологический уклон в изучении преступности? // Вопросы изучения преступности на Северном Кавказе. 1926. № 1. С. 1–9.

Браиловский 1929 — Браиловский В. В. Опыт био-социального исследования убийц (По материалам мест заключения Северного Кавказа). Ростов-на-Дону: Донская правда, 1929.

Бруханский 1927 — Бруханский Н. П. Материалы по сексуальной психопатологии. Психиатрические экспертизы. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1927.

Булатов 1929 — Булатов С. Я. Возрождение Ломброзо в советской криминологии // Революция права. 1929. № 1. С. 42–61.

Бычков 1928 — Бычков И. Я. Способы детоубийства // Судебно-медицинская экспертиза. 1928. № 8. С. 75–81.

Бычков 1929 — Бычков И. Я. Детоубийство в современных условиях. М.: Государственное медицинское издательство, 1929.

Варшавский 1924 — Варшавский И. Всероссийский съезд по педологии, экспериментальной педагогике, и психоневрологии в Ленинграде // Рабочий суд. 1924. № 1–2. С. 53–62; 1924. № 3–5. С. 29–36.

Василевские 1924 — Василевский Л. М., Василевская Л. А. Аборт как социальное явление. Социально-гигиенический очерк. М., Л.: Издательство Л. Д. Френкеля, 1924.

Василевский 1926 — Василевский Л. М. Проституция и молодежь. Социально-гигиенический очерк. М.: Новая Москва, 1926.

Верховский 1925 — Верховский П. В. Борьба с преступностью в деревне // Власть советов. 1925. № 43. С. 3–4.

Вишерский 1927 — Вишерский Н. Распределение заключенных по полу и преступлениям // Современная преступность (преступление, форумы, репрессии, рецидивы) / под редакцией А. Г. Белобородова. М.: Издательство Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР, 1927. С. 15–19.

Вишерский 1930 — Вишерский Н. Профессия и преступность // Современная преступность. Т. 2. Социальный состав, профессии, возраст, грамотность. М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1930. С. 34–51.

Внуков 1928 — Внуков В. А. Женщины-убийцы // Убийства и убийцы / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберга. М.: Издательство Мосздравотдела, 1928. С. 191–248.

Г. А. 1927 — Г. А. Московская общеуголовная преступность в период военного коммунизма // Преступник и преступность. 1927. № 2. С. 365–387.

Г. М. 1868 — Г. М. О детоубийстве // Архив судебной медицины. 1868. № 1. С. 21–55.

Гедеонов 1924 — Гедеонов Н. Н. Грабители и бандиты // Преступный мир Москвы. Сборник статей / под ред. М. Н. Гернета. М.: Право и жизнь, 1924. С. 3–40.

Генс 1926 — Генс А. Аборт — социальное зло // Медицина. 1926. № 7. С. 10–11.

Генс 1927 — Генс А. К проблеме легализации и статистики абортос в РСФСР // Аборты в 1925 году. М.: Издание ЦСУ СССР, 1927. С. 21–28.

Гернет 1890–1904 — Гернет М. Н. «Д. А. Дриль» // Энциклопедический словарь «Гранат». Т. 19. СПб.: 1890–1904. С. 86–88.

Гернет 1906 — Гернет М. Н. Общественные причины преступности. Социалистическое направление в науке уголовного права. М.: С. Скимунт, 1906. [Гернет М. Н. Избранные произведения. М.: Юридическая литература, 1974. С. 38–202].

Гернет 1911 — Гернет М. Н. Детоубийство. Социологическое и сравнительно-юридическое исследование. М.: Типография Императорского Московского университета, 1911.

Гернет 1914 — Гернет М. Н. Истребление плода с уголовно-социологической точки зрения // Вестник права. 1914. № 8. С. 233–238.

Гернет 1922 — Гернет М. Н. Моральная статистика (Уголовная статистика и статистика самоубийств). М.: Издание Центрального Статистического Управления, 1922.

Гернет 1924 — Гернет М. Н. Первая русская лаборатория по изучению преступности // Право и жизнь. 1924. № 2. С. 26–34.

Гернет 1924а — Гернет М. Н. Предисловие // Преступный мир Москвы. Сборник статей / под ред. М. Н. Гернета. М.: Право и жизнь, 1924. С. i–xii.

Гернет 1924б — Гернет М. Н. Преступность в связи с классово-социальным составом осужденных в 1922 г. // Вестник статистики. 1924. № 1–3. С. 135–154.

Гернет 1924в — Преступный мир Москвы, сборник статей / под ред. М. Н. Гернета. М.: Право и жизнь, 1924.

Гернет 1924г — Гернет М. Н. Указатель русской и иностранной литературы по статистике преступлений, наказаний и самоубийств. М.: Издание Центрального статистического управления, 1924.

Гернет 1925 — Гернет М. Н. Государственный институт по изучению преступности // Административный вестник. 1925. № 11. С. 30–36.

Гернет 1926 — Гернет М. Н. Женщины-убийцы // Право и жизнь. 1926. № 6–7. С. 78–91.

Гернет 1927 — Гернет М. Н. Аборт в законе и статистика абортов // Аборты в 1925 году. М.: Издание ЦСУ СССР, 1927. С. 3–20.

Гернет 1927а — Гернет М. Н. К статистике абортов // Статистическое обозрение. 1927. № 3. С. 66–69.

Гернет 1927б — Гернет М. Н. Преступность и самоубийства во времена войны и после нее. 2-й выпуск «Моральной статистики». М.: Издательство ЦСУ СССР, 1927.

Гернет 1927в — Гернет М. Н. Статистика городской и сельской преступности // Проблемы преступности. 1927. Вып. 2. С. 15–24.

Гернет 1928 — Гернет М. Н. Статистика детоубийств // Статистическое обозрение. 1928. № 2. С. 102–106.

Гернет 1931 — Гернет М. Н. Преступность за границей и в СССР. М.: Советское законодательство, 1931.

Гернет 1974 — Гернет М. Н. Избранные произведения. М.: Юридическая литература, 1974.

Гернет 1974а — Гернет М. Н. Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества. М.: Мир 1914. Переиздание: Гернет М. Н. Избранные произведения. М.: Юридическая литература, 1974. С. 203–357.

Гернет, Родин 1924 — Гернет М. Н., Родин Д. П. Статистика осужденных в 1922 г. и статистика самоубийств в 1922–23 гг. // Бюллетень Центрального Статистического Управления. 1924. № 84. С. 113–125.

Герцензон 1926 — Герцензон А. А. Преступность эпохи первой русской революции // Советское право. 1926. № 3. С. 95–103; № 4. С. 96–107.

Герцензон 1927 — Герцензон А. А. Изучение Московской преступности (Отчет за 1926 год) // Пролетарский суд. 1927. № 17–18. С. 10–12.

Герцензон 1928 — Герцензон А. А. Борьба с преступностью в РСФСР по материалам обследования НК РКЖ: СССР / под ред. и с предисл. В. А. Радус-Зеньковича. М.: Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1928.

Герцензон 1928 — Герцензон А. А. Основные тенденции динамики преступности за десять лет // Советское право. 1928. № 1. С. 69–85.

Герцензон 1929 — Герцензон А. А. Борьба с преступностью в РСФСР // Советское право. Записки Института советского права. 1929. № 3. С. 95–117.

Герцензон 1945 — Герцензон А. А. Задачи изучения преступности // Проблема изучения преступности / под ред. И. Т. Голякова. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1945. С. 5–19.

Герцензон 1958 — Герцензон А. А. Об изучении преступности // Советская криминалистика на службе следствия. Сборник статей / под ред. Г. В. Карновича. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1958. С. 3–24.

Герцензон 1962 — Герцензон А. А. Предмет, метод и система советской криминологии. М.: Академия наук СССР, 1962.

Герцензон 1965 — Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. М.: Юридическая литература. 1965.

Герцензон 1966 — Герцензон А. А. Против биологических теорий причин преступности (Очерк первый) // Вопросы предупреждения преступности / под ред. И. И. Карпетса. М.: Юридическая литература, 1966. С. 3–34.

Герцензон 1967 — Герцензон А. А. Против биологических теорий причин преступности (Очерк второй) // Вопросы борьбы с преступностью / под ред. И. И. Карпетса. М.: Юридическая литература, 1967. С. 3–34.

Герцензон, Лапшина 1928 — Герцензон А. А., Лапшина Н. С. Убийца в РСФСР и за границей // Убийства и убийцы / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберга. М.: Издательство Мосздравотдела, 1928. С. 324–361.

Гродзинский 1926 — Гродзинский М. М. Государственный институт по изучению преступности и правонарушителя // Вестник советской юстиции. 1926. № 19. С. 773–774.

Д. О. 1925 — Д. О. Новое учреждение // Рабочий суд. 1925. № 9–10. С. 412–414.

Деятели 1989 — Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской Революции (автобиографии и биографии). М.: Книга, 1989.

Диспут 1929 — Диспут к вопросу об изучении преступности в СССР в секции права и государства // Революция права. 1929. № 3. С. 47–78.

Дриль 1884–1888 — Дриль Д. А. Малолетние преступники. Эюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней: в 2 т. М.: Тип. А. И. Мамонтова и Ко, 1884–1888.

Дриль 1904 — Дриль Д. А. Наука уголовного антропологии, ее предмет и задачи // Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма. 1904. № 1. С. 12–20. Езерский 1928 — Езерский Н. Городская и сельская

преступность в бывш. Ленинградской губернии (по данным статистики осужденных за 1925/26 г.) // Вестник статистики. 1928. № 2. С. 219–227.

Желиховский, Соловьева 1928 — Желиховский С. М., Соловьева М. В. К казуистике детских убийств // Журнал невропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. 1928. № 5–6. С. 673–681.

Жижиленко 1922 — Жижиленко А. А. Преступность и ее факторы. Петроград: Мир знаний, 1922.

Жижиленко, Оршанский 1927 — Жижиленко А. А., Оршанский Л. Г. Половые преступления. Л.: Рабочий суд, 1927.

Жуковский 1870 — Жуковский А. Детоубийство в Полтавской губернии и предотвращение его // Архив судебной медицины. 1870. № 3. С. 1–13.

Заменгоф 1913 — Заменгоф М. Город и деревня в преступности // Журнал уголовного права и процесса. 1913. № 1. С. 74–101; № 2. С. 51–74.

Звоницкая 1924 — Звоницкая А. С. К вопросу об изучении преступника и преступности // Техника, экономика и право. 1924. № 3. С. 74–92.

Зиверт 1927 — Зиверт В. Киевский Институт научно-судебной экспертизы и его работа в области изучения преступника и преступности // Советское государство и право. 1927. № 24. С. 838–839.

Змиев 1923 — Змиев Б. Н. Детоубийство // Вестник Советской юстиции Автономной Татарской Социалистической Советской Республики. 1923. № 6. С. 2–3; № 7. С. 5–8.

Змиев 1923а — Змиев Б. Н. Похищение женщин // Вестник Советской юстиции Автономной Татарской Социалистической Советской Республики. 1923. № 8–9. С. 3–5.

Змиев 1927 — Змиев Б. Н. Детоубийство (По данным судебной статистики) // Право и жизнь. 1927. № 6–7. С. 89–96.

Змиев 1927а — Змиев Б. Н. Преступления в области половых отношений в городе и в деревне // Проблемы преступности. 1927. Вып. 2. С. 41–50.

Змиев 1929 — Змиев Б. Н. Преступность в Татарской Республике // Проблемы преступности. 1929. Вып. 4. С. 39–57.

Иванов 1925 — Иванов Г. Из практики Саратовского губернского кабинета криминальной антропологии и судебно-психиатрической экспертизы // Советское право. 1925. № 1. С. 84–95.

Изучение 1925 — Изучение личности преступника в РСФСР и за границую. М.: Изд-во Мосздравотдела, 1925.

Итоги 1899 — Итоги Русской уголовной статистики за 20 лет (1874–1894 гг.). СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1899.

К. К. 1927 — К. К. Наш криминологический кабинет // Рабочий суд 1927. № 21. С. 1705–1708.

Кабинет 1902 — Кабинет уголовного права при Императорском С.-Петербургском университете. Каталог музея, изд. 3-е. СПб.: Сенатская типография, 1902.

Кандинский 1926 — Кандинский Л. Женщина-растратчик // Пролетарский суд. 1926. № 23–24. С. 12.

Кесслер 1927 — Кесслер М. Имущественные преступления по данным переписи 1926 г. // Современная преступность (Преступление, пол, репрессия, рецидив) / под ред. А. Г. Белобородова. М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1927. С. 50–58.

Князев 1922 — Князев Д. Два месяца работы особых камер народного суда по делам о самогонках в Москве (с 25–IX по 25–XI года) // Пролетарский суд. 1922. № 2–3. С. 48–49.

Краснушкин 1924 — Краснушкин Е. К. Криминальные психопаты современности и борьба с ними // Преступный мир Москвы. Сборник статей / под ред. М. Н. Гернета. М.: Право и жизнь, 1924. С. 192–207.

Краснушкин 1926 — Краснушкин Е. К. Московский Кабинет по изучению личности преступника и преступности и общая характеристика Московских правонарушителей // Судебно-медицинская экспертиза. Труды II Всероссийского Съезда судебно-медицинских экспертов, Москва 25 февраля — 3 марта 1926 / под ред. Я. Л. Лейбовича. Ульяновск: Ульяновский комбинат ППП, 1926. С. 157–160.

Краснушкин 1926а — Краснушкин Е. К. Что такое преступник? // Преступники и преступность. 1926. № 1. С. 6–33.

Краснушкин 1960 — Краснушкин Е. К. Избранные труды. М.: Медгиз, 1960.

Краснушкин и др. 1927 — Правонарушения в области сексуальных отношений / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберг. М.: Издательство Мосздравотдела, 1927.

Краснушкин и др. 1927а — Хулиганство и поножовщина / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберг. М.: Издательство Мосздравотдела, 1927.

Краснушкин и др. 1928 — Убийства и убийцы / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберг. М.: Издательство Мосздравотдела, 1928.

Краснушкин и др. 1929 — Нищенство и беспризорность / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберг. М.: Издательство Мосздравотдела, 1929.

Кремлева 1929 — Кремлева Т. Воры и воровки больших магазинов // Проблемы преступности. 1929. Вып. 4. С. 24–38.

Крылов 1925 — Крылов С. Борьба с самогоном (Иваново-Вознесенская губерния) // Административный вестник. 1925. № 4. С. 61–62.

Кутанин 1931 — Кутанин М. П. Саратовский кабинет по изучению преступности и преступника // Пути Советской психоневрологии. Самара: Средневожский крайздрав, 1931. С. 61–66.

Куфаев 1924 — Куфаев В. И. Рецидивисты (Повторно-обвиняемые) // Преступный мир Москвы. Сборник статей / под ред. М. Н. Гернета. М.: Право и жизнь, 1924. С. 102–144.

Л. А. 1928 — Л. А. Детоубийство (По данным Костромского губсуда) // Рабочий суд. 1928. № 1. С. 70–74.

Левин 1926 — Левин Д. М. Борьба с проституцией // Административный вестник. 1926. № 1. С. 29–35.

Лейбович 1922 — Лейбович Я. Л. Три года судебной медицины // Еженедельник Советской юстиции. 1922. № 7. С. 7–8.

Лейбович 1923 — Лейбович Я. Л. Судебно-медицинская экспертиза при НЭПе // Еженедельник советской юстиции. 1923. № 2. С. 36–38.

Лейбович 1926 — Лейбович Я. Л. Итоги детальности судебно-медицинской экспертизы за 7 лет и ее задачи // Административный вестник. 1926. № 5. С. 20–26.

Линденберг 1910 — Линденберг В. Материалы к вопросу о детоубийстве и плодоизгнании в Витебской губернии (По данным Витебского окружного суда за десять лет 1897–1906). Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1910.

Лист 1903 — Лист Ф. фон. Общественные факторы преступности // Журнал Министерства юстиции. 1903. № 2. С. 38–54.

Лобас 1913 — Лобас Н. С. Убийцы. Некоторые черты психофизики преступников. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1913.

Ломброзо 1897 — Ломброзо Ф. Женщина преступница и проститутка / пер. Г. И. Гордона. Киев, Харьков: Ф. А. Иогансон, 1897.

Лучанинов 1925 — Лучанинов В. Статья 38-я уголовного кодекса и алименты // Пролетарский суд. 1925. № 1–2. С. 22–24.

Люблинский 1925 — Люблинский П. И. Преступления в области половых отношений. М., Л.: Издательство Л. Д. Френкель, 1925.

Маньковский 1928 — Маньковский Б. С. Детоубийство // Убийства и убийцы / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберг. М.: Издательство Мосздравотдела, 1928. С. 249–272.

Маннс 1927 — Маннс Г. Деревенские убийства и убийцы // Проблемы преступности. 1927. Вып. 2. С. 25–40.

Меньшагин 1927 — Меньшагин В. Д. Притонодержательство (Социологический очерк) // Правонарушения в области сексуальных отноше-

ний / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберг. М.: Издательство Мосздравотдела, 1927. С. 158–179.

Меньшагин 1928 — Меньшагин В. Д. Убийства // Убийства и убийцы / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберг. М.: Издательство Мосздравотдела, 1928. С. 33–86.

Мокеев 1925 — Мокеев В. Преступность в деревне // Ежедневник Советской юстиции. 1925. № 16. С. 417–420.

Немченков 1927 — Немченков Л. Детоубийство // Ежедневник Советской юстиции. 1927. № 30. С. 924–926.

Немилов 1927 — Немилов А. В. Биологическая трагедия женщины. Л.: Книгоиздательство Сеятель, 1927.

Новицкий 1930 — Новицкий Р. Семейное положение заключенных // Современная преступность. Т. 2. Социальный состав, профессии, возраст, грамотность. М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1930. С. 22–33.

Ной 1975 — Ной И. С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1975.

Озерецкий 1927 — Озерецкий Н. И. Половые правонарушения несовершеннолетних // Правонарушения в области сексуальных отношений / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберг. М.: Издательство Мосздравотдела, 1927. С. 128–175.

Озеров 1896 — Озеров И. Сравнительная преступность полов в зависимости от некоторых факторов // Журнал юридического общества при Императорском С.-Петербургском университете. 1896. № 4. С. 45–83.

Оршанский 1927 — Оршанский Л. Г. Что такое социальная опасность? // Рабочий суд. 1927. № 7. С. 625–632.

Оршанский 1928 — Оршанский Л. Г. Убийцы (Психологический очерк) // Убийцы. С 75 таблицами и фотографическими снимками. Сборник / под ред. Л. Г. Оршанского, А. А. Жижиленко. Л.: Рабочий суд, 1928. С. 89–130.

Отчет 1927 — Отчет института Советского права РАНИОН за 1925/26 г. // Советское право. 1927. № 2. С. 162–170.

Паевский 1927 — Паевский В. Аборты в Москве и Ленинграде // Аборты в 1925 году. М.: Издание ЦСУ СССР, 1927. С. 29–51.

Петрова 1924 — Петрова А. Е. Случаи изувечивания мужа // Преступный мир Москвы. Сборник статей / под ред. М. Н. Гернета. М.: Право и жизнь, 1924. С. 82–101.

Пионтковский 1926 — Пионтковский А. А. Система особенной части уголовного права // Советское право. 1926. № 2. С. 43–63.

Пионтковский 1927 — Пионтковский А. А. Марксизм и уголовное право. О некоторых спорных вопросах теории уголовного права. М.: Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1927.

Познышев 1911 — Познышев С. В. Об изучении преступника в науке уголовного права // Вопросы права. 1911. № 6. С. 184–206; № 7. С. 40–71; № 8. С. 190–231.

Познышев 1928 — Познышев С. В. Преступники из-за алиментов. Типы их и меры борьбы с ними. М., Л.: Государственное издательство, 1928.

Покровская 2002 — Покровская М. И. Проституция и алкоголизм // *Russian Women, 1698–1917: Experience and Expression* / ed. by R. Bisha et al., 361. Bloomington: Indiana University Press, 2002.

Полянский 1926 — Полянский Н. Должностные растраты. Их уголовное преследование. М.: Правовая защита, 1926.

Португалов 1904 — Португалов Ю. В. Научные проблемы криминологии // Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма. 1904. № 7. С. 456–477.

Разумовский 1926 — Разумовский И. Секция права Коммунистической Академии при ЦИК СССР // Ежедельник Советской юстиции. 1926. № 16. С. 502–503.

Рапопорт 1926 — Рапопорт А. М. К практике изучения личности преступника // Преступник и преступность. 1926. № 1. С. 34–48.

Рапопорт, Харламова 1927 — Рапопорт А. М., Харламова А. Г. О женском хулиганстве // Хулиганство и поножовщина / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сегала, Ц. М. Фейнберг. М.: Издательство Мосздравотдела, 1927. С. 140–149.

Растраты 1926 — Растраты и растратчики. Сборник статей. М.: Издательство НКВД, 1926.

Родин 1922 — Родин Д. П. О моральной статистике // Вестник статистики. 1922. № 9–12. С. 105–116.

Родин 1923 — Родин Д. П. Преступность мужчин, женщин и несовершеннолетних в 1922 году // Бюллетень Центрального Статистического управления. 1923. № 79. С. 67–75.

Родин 1924 — Родин Д. П. Социальный состав осужденных в 1923 г. // Бюллетень центрального Статистического управления. 1924. № 93. С. 124–130.

Родин 1926 — Родин Д. П. Городская и сельская преступность // Право и жизнь. 1926. № 2–3. С. 100–102; 1927. № 5. С. 94–101.

Родин 1926а — Родин Д. П. Из данных о современной проституции // Право и жизнь. 1926. № 8–10. С. 100–102; 1927. № 5. С. 63–69.

Родин 1926б — Родин Д. П. Статистика преступности во время и после Европейской войны в разных странах // Проблемы преступности. 1926. Вып. 1. С. 173–191.

Родин 1927 — Родин Д. П. Общий обзор данных переписи заключенных // Современная преступность (Преступление, пол, репрессия, рецидив) / под ред. А. Г. Белобородова. М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1927. С. 10–14.

Розанов 1924 — Проблема преступности. Т. 2. Проблемы Марксизма / под ред. Я. С. Розанова. Киев: Государственное издательство Украины, 1924.

Санчов 1924 — Санчов В. Л. Тоска по дому как фактор преступности // Рабочий суд. 1924. № 11–12. С. 33–42.

Сегалов 1910 — Сегалов Т. Психология половых преступлений // Вестник права и нотариата. 1910. № 25. С. 806–810.

Семенов 1925 — Семенов А. Самогон и русская горькая // Административный вестник. 1925. № 9–10. С. 38–41.

Семенова-Тян-Шанская 1914 — Жизнь «Ивана»: очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний О. П. Семеновой Тян-Шанской. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1914.

Скиляр 1923 — Скиляр Л. Преступность в РСФСР в первых четвертях 1921–1923 г. (По данным управления уголовного розыска республики) // Власть Советов. 1923. № 6–7. С. 123–130.

Слупский 1929 — Слупский С. Н. Белорусский кабинет по изучению преступности // Проблемы преступности. 1929. Вып. 4. С. 149–151.

Смирнов 1924 — Смирнов И. А. Работа суда Московской губернии в 1923 года. Доклад председателя губсуда И. А. Смирнова пленуму Исполкома Московского Совета 6 июня 1924 г. // Пролетарский суд. 1924. № 1–2. С. 3–10.

Смирнов 1925 — Смирнов И. А. Доклад председателя Московского Губсуда тов. И. Смирнова на пленуме Моссовета 3 февраля 1925 года // Пролетарский суд. 1925. № 3. С. 1–6.

Соловьев 1924 — Соловьев М. О классовой природе Ст. 140 ут. код. в новой редакции // Еженедельник Советской юстиции. 1924. № 18. С. 424–425.

Советская криминология 1966 — Советская криминология. М.: Юридическая литература, 1966.

Современная преступность 1930 — Современная преступность. Т. 2. Социальный состав, профессия, возраст, грамотность. М.: Издательство Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР, 1930.

Спасокукоцкий 1926 — Спасокукоцкий Н. Н. Организация и первые шаги деятельности Государственного Института по изучению преступ-

ности и преступника при НКВД // Проблемы преступности. 1926. Вып. 1. С. 269–276.

Спасокуоцкий 1927 — Спасокуоцкий Н. Н. Деятельность Государственного Института по изучению преступности и преступника // Проблемы преступности. 1927. Вып. 2. С. 233–247.

Спасокуоцкий 1928 — Спасокуоцкий Н. Н. Государственный Институт по изучению преступности и преступника при НКВД и его деятельность // Судебно-медицинская экспертиза. 1928. № 9. С. 113–118.

Спасокуоцкий 1929 — Спасокуоцкий Н. Н. Деятельность Государственного Института по изучению преступности и преступника при НКВД // Проблемы преступности. 1929. Вып. 4. С. 136–145.

Статистика осужденных 1927 — Статистика осужденных в СССР 1923–1924 гг. М.: Изд-во ЦСУ СССР, 1927.

Статистика осужденных 1928 — Статистика осужденных в РСФСР за 1926 год. М.: Изд-во ЦСУ РСФСР, 1928.

Статистика осужденных 1930 — Статистика осужденных в СССР в 1925, 1926 и 1927 гг. М.: Изд-во ЦСУ СССР, 1930.

Стельмахович 1925 — Стельмахович А. Борьба с растратами. М.: Новая Москва, 1925.

Строгович 1925 — Строгович М. Борьба с проституцией путем уголовной репрессии // Ежедневник Советской юстиции. 1925. № 37. С. 1212–1214.

Свод 1913–1916 — Свод законов Российской Империи: в 16 т. СПб. / Петроград: И. И. Зубкова, 1913–1916.

Т. С. 1927 — Т. С. В юридической клинике Киевского ИНХоза // Советское государство и право. 1927. № 3. С. 104–105.

Таганцев 1868 — Таганцев Н. О детоубийстве // Журнал Министерства юстиций. 1868. № 9. С. 215–250; 1868. № 10. С. 341–380.

Тарновская 1898 — Тарновская П. Н. Женская преступность в связи с ранними браками // Северный вестник. 1898. № 5. С. 133–149.

Тарновская 1902 — Тарновская П. Н. Женщины-убийцы. Антропологическое исследование. СПб.: Т-во художественной печати, 1902.

Тарновский 1886 — Тарновский Е. Н. Преступления против жизни по полам, возрастам и семейному состоянию // Юридический вестник. 1886. № 10. С. 276–297.

Тарновский 1898 — Тарновский Е. Н. Влияние хлебных цен и урожаев на движение преступлений против собственности в России // Журнал министерства юстиций. 1898. № 8. С. 73–106.

Тарновский 1918 — Тарновский Е. Н. Война и движение преступности в 1911–1916 гг. // Сборник статей по пролетарской революции и праву. 1918. № 1–4. С. 100–122.

Тарновский 1923 — Тарновский Е. Н. Движение преступности в РСФСР за 1920–23 гг. // *Власть Советов*, 1923. № 10. С. 110–117.

Тарновский 1925 — Тарновский Е. Н. Основные черты современной преступности // *Административный вестник*. 1925. № 9. С. 27–32; № 11. С. 45–53.

Тарновский 1926 — Тарновский Е. Н. Статистика преступлений за 1924–1925 гг. // *Еженедельник Советской юстиции*. 1926. № 21. С. 646–649; № 22. С. 674–677.

Терентьева 1927 — Терентьева А. Н. Два случая женщин-растратчиц // *Преступник и преступность*. 1927. № 2. С. 290–299.

Трайнин 1909 — Трайнин А. Н. Преступность города и деревни России // *Русская мысль*. 1909. № 7. С. 1–27.

Трайнин 1910 — Трайнин А. Н. К характеристике женской преступности // *Вестник права и нотариата*. 1910. № 14. С. 463–466.

Трахтеров 1927 — Трахтеров В. Всеукраинский кабинет по изучению личности преступника // *Вестник советской юстиции*. 1927. № 4. С. 126–128.

УК 1922 — Уголовный кодекс РСФСР. М.: Знание, 1922.

УК 1926 — Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. М.: Юрид. издательство НКИу РСФСР, 1926.

Укше 1924 — Укше С. Убийцы // *Преступный мир Москвы*. Сборник статей / под ред. М. Н. Гернета. М.: Право и жизнь, 1924. С. 41–81.

Укше 1926 — Укше С. Мужеубийцы // *Право и жизнь*. 1926. № 2–3. С. 101–107; № 4–5. с. 99–106.

Укше 1929 — Укше. С. Женщины, осужденные за хулиганство // *Хулиганство и хулиганы* / под ред. В. Н. Толмачева. М.: Издательство НКВД РСФСР, 1929. С. 143–166.

Утевский 1926 — Утевский Б. С. Государственный Институт по изучению преступности и преступника // *Еженедельник советской юстиции*. 1926. № 18. С. 569–570.

Утевский 1926а — Утевский Б.С. Государственный Институт по изучению преступности и преступника при НКВД // *Административный вестник*. 1926. № 4. С. 7–8.

Утевский 1926б — Утевский Б. С. Об экспериментальном пенитенциарном отделении Государственного Института по изучению преступности и преступника // *Административный вестник*. 1926. № 12. С. 31–36.

Утевский 1927 — Утевский Б.С. Преступность в РСФСР по данным всесоюзной переписи // *Еженедельник Советской юстиции*. 1927. № 41. С. 1280–1282.

Утевский 1927а — Утевский Б. С. Преступность и рецидив // Современная преступность (Преступление, пол, репрессия, рецидив) / под ред. А. Г. Белобородова. М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1927. С. 39–49.

Утевский 1928 — Утевский Б. С. Современная преступность по данным переписи мест заключения // Административный вестник. 1928. № 1. С. 37–44.

Утевский 1930 — Утевский Б. С. Возраст и грамотность рецидивистов // Современная преступность. Т. 2. Социальный состав, профессии, возраст, грамотность. М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1930. С. 74–87.

Учеватов 1924 — Учеватов А. Н. Уголовные преступники // Пролетарский суд. 1924. № 4–5. С. 50–59.

Учеватов 1925 — Учеватов А. Н. Безработные и преступность // Пролетарский суд. 1925. № 1–2. С. 48–52.

Учеватов 1925а — Учеватов А. Н. Итоги за пять лет (Из материалов регистр.-дактилоскопического бюро МУРа) // Пролетарский суд. 1925. № 8–9. С. 20–24.

Учеватов 1927 — Учеватов А. Н. Тайное винокурение в городе и деревне // Проблемы преступности. 1927. Вып. 2. С. 110–129.

Учеватов 1928 — Учеватов А. Н. Из быта проституции наших дней // Право и жизнь. 1928. № 1. С. 50–60.

Ф. А. 1927 — Ф. А. Аборты в губернских городах, прочих городках и сельских местностях // Аборты в 1925 году. М.: Издание ЦСУ СССР, 1927. С. 52–62.

Ферри 1908 — Ферри Э. Уголовная социология / пер. под ред. С. В. Познышева. М.: Изд. В. М. Саблина, 1908.

Ферри 1928 — Ферри Э. Принцип легальной ответственности в новом Русском уголовном кодексе // Право и жизнь. 1928. № 2–3. С. 33–43.

Фойницкий 1893 — Фойницкий И. Я. Женщина-преступница // Северный вестник. Журнал литературно-научный и политический. 1893. № 2. С. 123–144; № 3. С. 111–140.

Фойницкий 1893а — Фойницкий И. Я. Факторы преступности // Северный вестник. 1893. № 10. С. 97–119; 1893. № 11. С. 77–94.

Фойницкий 1898–1900 — Фойницкий И. Я. На досуге. Сборник юридических статей и исследований с 1870 года: в 2 т. СПб: Тип. М. М. Стасюлевича, 1898–1900.

Фукс 1910 — Фукс И. Б. Проблема преступности плодоизгнания. Харьков: Типо-литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1910.

Халфин 1924 — Халфин В. Размеры преступности в СССР по данным уголовно-административных органов на 1923 г. (По материалам статистического бюро НКВД) // Пролетарский суд. 1924. № 1–2. С. 23–26.

Халфин 1927 — Халфин В. Истребление плода (аборт) в Москве и Московской губернии // Проблемы преступности. 1927. Вып. 2. С. 190–211.

Характер 1930 — Характер движения преступности за 1924–1928 годы // Административный вестник. 1930. № 2. С. 52–57.

Хатунцев 1924 — Хатунцев Б. Н. О социально-психологическом исследовании личности обвиняемого на предварительном следствии на суде // Право и суд. 1924. № 2. С. 51–56.

Ходаков 1923 — Ходаков Ю. Современная преступность женщин // Власть Советов. 1923. № 11–12. С. 86–94.

Хонин 1926 — Хонин В. О детоубийстве // Рабочий суд. 1926. № 9. С. 615–622.

Хроника 1922 — Хроника. Институт Советского права // Ежедневник Советской юстиции. 1922. № 31. С. 711–712.

Хроника 1923 — Хроника. Из итогов борьбы с самогоном в Москве и Московской губ // Ежедневник Советской юстиции. 1923. № 30. С. 687.

Хроника 1923а — Хроника. Клиника по изучению преступности в Москве // Ежедневник Советской юстиции. 1923. № 31. С. 711–712.

Хроника 1925 — Хроника. Государственный институт по изучению преступности и преступника // Ежедневник Советской юстиции. 1925. № 32. С. 1091.

Хулианство 1929 — Хулиганство и хулиганы / под ред. В. Н. Толмачева. М.: Издательство НКВД РСФСР, 1929.

Чалисов 1927 — Чалисов М. Опыт био-социального обследования растратчиков в Ростове-на-Дону // Вопросы изучения преступности в Северном Кавказе. 1927. № 2. С. 45–75.

Челяпов 1928 — Челябин Н. Факультет советского права I Московского гос. университета // Революция права. 1928. № 3. С. 96–98.

Челышев 1927 — Челышев М. Детоубийство // Рабочий суд. 1927. № 1. С. 11–16.

Шашков 1871 — Шашков С. С. Исторические судьбы женщины, детоубийство, и проституция. СПб.: Издание Н. А. Шигина, 1871.

Шестакова 1926 — Шестакова А. Преступления против личности в деревне // Проблемы преступности. 1926. Вып. 1. С. 215–223.

Шестакова 1927 — Шестакова А. Преступление против личности // Современная преступность (Преступление, пол, репрессия, рецидив) / под ред. А. Г. Белобородова. М.: Издательство НКВД РСФСР, 1927. С. 59–66.

Шестакова 1928 — Шестакова А. Убийство матерью новорожденного ребенка // Проблемы преступности. 1928. Вып. 3. С. 154–163.

Ширвиндт 1925 — Ширвиндт Е. Г. Изучение проблем преступности (К открытию Государственного Института по изучению преступности) // Рабочий суд. 1925. № 47–48. С. 1791–1794.

Ширвиндт 1927 — Ширвиндт Е. Г. Ударные кампании в свете Всесоюзной переписи по местам заключения // Современная преступность (Преступление, пол, репрессия, рецидив) / под ред. А. Г. Белобородова. М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1927. С. 7–9.

Ширвиндт 1958 — Ширвиндт Е. Г. К истории вопроса об изучении преступности и мер борьбы с ней // Советское государство и право. 1958. № 5. С. 137–142.

Шмидт 1928 — Шмидт. Детоубийства // Пролетарский суд. 1928. № 5. С. 8–9.

Шмуклер 1897 — Шмуклер И. К. Онанизм у детей. Его причины, симптомы, последствия и лечение. Киев: Тип. Л. И. Шлигер, 1897.

Щеглов 1913 — Щеглов А. Л. Преступник как предмет изучения врачебной науки // Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии. 1913. № 1. С. 1–21.

Эдельштейн 1928 — Эдельштейн А. О. К психопатологии детоубийств // Убийства и убийцы / под ред. Е. К. Краснушкина, Г. М. Сега-ла, Ц. М. Фейнберг. М.: Издательство Мосздравотдела, 1928. С. 273–282.

Энгельгардт 1882 — Энгельгардт А. Н. Из деревни: 11 писем (1872–1882 гг.). СПб.: А. С. Суворин, 1882.

Эратов 1922 — Эратов Л. Наказуема ли проституция? // Еженедельник Советской юстиции. 1922. № 4. С. 4–6.

Якобзон 1928 — Якобзон Л. Я. Онанизм и борьба с ним. 2-е изд. М.: Изд-во охраны материнства и детства НКЗ, 1928.

Якубсон 1927 — Якубсон В. Р. Репрессии лишением свободы // Современная преступность (Преступление, пол, репрессия, рецидив) / под ред. А. Г. Белобородова. М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1927. С. 20–38.

Янчовский 1921 — Янчовский Б. Преступление и кара в Советской России // Пролетарская революция и право. 1921. № 15. С. 14–16.

Krylenko 1927 — Krylenko N. Criminal Law in the Soviet Union // Communist 2. 1927. № 10. P. 173–180; № 11. P. 274–282.

Lombroso, Ferrero 1895 — Lombroso C., Ferrero G. The Female Offender. New York, London: D. Appleton and Company, 1895.

Библиография

Антонян 1992 — Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. М.: Российское право, 1992.

Белкин, Винберг 1982 — Белкин Р. С., Винберг А. И. История Советской криминалистики. Этап возникновения и становления науки (1917–1930-е годы). М.: Академия МВД СССР, 1982.

Борисова 2003 — Борисова Л. В. НЭП в зеркале показательных процессов по взяточничеству и хозяйственным преступлениям // Отечественная история. 2006. № 1. С. 84–97.

Борисова 2003а — Борисова Л. В. Третий враг революции. Борьба со взяточничеством и хозяйственными преступлениями в начале НЭПа // Soviet and Post-Soviet Review. 30. № 3. 2003. P. 245–277.

Даньшин 1980 — Даньшин И. Н. Из истории криминологических учреждений в Украинской ССР в 20–30-е годы // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юридическая литература, 1980. С. 63–70.

Иванов, Ильина 1991 — Иванов Л. О., Ильина Л. В. Пути и судьбы отечественной криминологии. М.: Наука, 1991.

Ильина И. Н. 2000 — Ильина И. Н. Общественные организации в России в 1920-е годы. М.: Институт Российской истории РАН, 2000.

Ильина 1968 — Ильина Л. В. Из истории развития советской криминологии // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юридическая литература, 1968. С. 29–41.

Ильина 1981 — Ильина Л. В. Первые криминологические учреждения в СССР // Уголовное право в борьбе с преступностью. М.: Институт государства и права Академии наук, 1981.

Ильина, Надьярный 1968 — Ильина Л. В., Надьярный А. В. Изучение личности преступника в СССР (Исторический обзор) // Вопросы уголовного права, прокурорского надзора, криминалистики и криминологии. Душанбе: Таджикский государственный университет, 1968. С. 294–310.

Касаткин 1965 — Касаткин Ю. П. Очерк истории изучения преступности в СССР // Проблемы искоренения преступности. М.: Юридическая литература, 1965. С. 187–225.

Корнев 1993 — Корнев В. П. Видные деятели отечественной статистики 1686–1990. М.: Финансы и статистика, 1993.

Коротких 1987 — Коротких М. Г. Судебная реформа 1864 г. в России // Вопросы истории. 1987. № 12. С. 20–34.

Крылов 1975 — Крылов И. Ф. Очерк истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1975.

Куманев 1961 — Куманев В. А. Опыт ликвидации неграмотности в СССР // Вестник истории мировой культуры. 1961. № 25. С. 14–29.

Кузнецова 1989 — Кузнецова Н. Ф. Советская криминология в условиях перестройки // Вестник Московского Университета. Серия 11. Право. 1989. № 2. С. 24–31.

Лебина 1999 — Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. Нормы и аномалии, 1920–1930 годы. СПб.: Журнал «Нева», 1999.

Лебина, Чистиков 2003 — Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватели и реформы. Картины повседневной жизни горожан в годы НЭПа и Хрущевского десятилетия. СПб: Дмитрий Буланин, 2003.

Лебина, Шкаровский 1994 — Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге, 40-е гг. XIX — 40-е гг. XX в. М.: Прогресс-Академия, 1994.

Лейбович 1989 — Лейбович О. Л. Проблема преступности в советской социологической литературе 20-х годов // История становления Советской социологической науки в 20–30-е годы. М.: Институт социологии АН СССР, 1989. С. 143–155.

Литвак 1992 — Литвак К. Б. Самогоноварение и потребление алкоголя в Российской деревне 1920-х годов // Отечественная история. 1992. № 4. С. 74–88.

Лунеев 1997 — Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: НОРМА, 1997.

Мусаев 2001 — Мусаев В. И. Преступность в Петрограде в 1917–1921 гг. СПб: Дмитрий Буланин, 2001.

Островитянин 1968 — Организация науки в первые годы советской власти (1917–1925). Сборник документов / под ред. К. Островитянина. Л.: Наука, 1968.

Остроумов 1952 — Остроумов С. С. Советская судебная статистика. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1952.

Остроумов 1960 — Остроумов С. С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М.: Издательство Московского университета, 1960.

Паперно 1999 — Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М.: НЛО, 1999.

Портнов, Славин 1981 — Портнов В. П., Славин М. М. Из истории советского уголовного права (1917–1920 гг.) // Уголовное право в борьбе с преступностью. М.: Институт государства и права Академии наук, 1981. С. 140–150.

Прозоровский, Панфиленко 1967 — Прозоровский В. И., Панфиленко О. А. Развитие судебно-медицинской науки и экспертизы за годы советской власти // Судебно-медицинская экспертиза. 1967. № 3. С. 3–10.

Пушкарева 2002 — Пушкарева Н. Л. Русская женщина. История и современность. М.: Ладомир, 2002.

Сахаров 1994 — Сахаров А. В. История криминологической науки. М.: Московская высшая школа милиции МВД России, 1994.

Талышева 1998 — Талышева О. А. Советские криминологи о преступности женщин в 1920–1940-е годы // Вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности Сборник научных трудов. Челябинск: Челябинский государственный университет, 1998. С. 201–212.

Фуко 1999 — Фуко М. надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginen, 1999.

Шестаков 1991 — Шестаков Д. А. К вопросу об истории советской криминологии // Вестник Ленинградского Университета. Серия 6. История КПСС, научный коммунизм, философия, право. 1991. № 2. С. 74–81.

Шляпочников 1973 — Шляпочников А. С. Советская криминология на современном этапе. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1973.

Эминов 1997 — Криминология. Учебное пособие / под ред. В. Е. Эминова. М.: Издательство группа НОРМА: ИНФРА-М, 1997.

Ю. Б. 1925 — Ю. Б. Преступность города и деревни в 1924 г. (По данным статистического бюро НКВД) // Административный вестник. 1925. № 6. С. 23–28.

Ю. Б. 1928 — Ю. Б. Современная преступность и судебная практика // Революция права 1928. № 3. С. 110–114.

Юдин 1951 — Юдин Т. И. Очерки истории отечественной психиатрии. М.: Государственное издательство медицинской литературы, 1951.

Abelson 1989 — Abelson E. S. When Ladies Go A-Thieving: Middle-Class Shoplifters in the Victorian Department Store. New York: Oxford University Press, 1989.

Adams B. F. 1996 — Adams B. F. *The Politics of Punishment: Prison Reform in Russia, 1863–1917*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1996.

Adams M. B. 1990 — Adams M. B. *Eugenics as Social Medicine in Revolutionary Russia: Prophets, Patrons, and the Dialectics of Discipline-Building // Health and Society in Revolutionary Russia / ed. by S. G. Solomon, J. F. Hutchinson*. Bloomington: Indiana University Press, 1990. P. 200–223.

Alexopoulos 2003 — Alexopoulos G. *Stalin's Outcasts: Aliens, Citizens, and the Soviet State, 1926–1936*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003.

Andrews 2003 — Andrews, J. T. *Science for the Masses: The Bolshevik State, Public Science, and the Popular Imagination in Soviet Russia, 1917–1934*. College Station: Texas A&M University Press, 2003.

Attwood 1999 — Attwood L. *Creating the New Soviet Woman: Women's Magazines as Engineers of Female Identity, 1922–1953*. New York: St. Martin's Press, 1999.

Bailes 1978 — Bailes K. E. *Technology and Society Under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978.

Ball 1987 — Ball A. *Russia's Last Capitalists: The Nepmen, 1921–1929*. Berkeley: University of California Press, 1987.

Ball 1994 — Ball A. *And Now My Soul Is Hardened: Abandoned Children in Soviet Russia, 1918–1930*. Berkeley: University of California Press, 1994.

Balzer 1991 — Balzer H. *The Problem of Professions in Imperial Russia // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / ed. by E. W. Clowes, S. D. Kassow, J. L. West*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. P. 183–198.

Balzer 1996 — Balzer H. D., ed. *Russia's Missing Middle Class: The Professions in Russian History*. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1996.

Bauer 1952 — Bauer R. A. *The New Man in Soviet Psychology*. Cambridge: Harvard University Press, 1952.

Bechtold 2006 — Bechtold B. H., Graves D. C., eds. *Killing Infants: Studies in the Worldwide Practice of Infanticide*. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 2006.

Becker 2003 — Becker E. M. *Medicine, Law, and the State: The Emergence of Forensic Psychiatry in Imperial Russia*. / Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 2003.

Beer 2008 — Beer D. *Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880–1930*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008.

Beirne 1987 — Beirne P. *Adolphe Quetelet and the Origins of Positivist Criminology // American Journal of Sociology*. 1987. Vol. 92. № 5. P. 1140–1169.

Beirne 1993 — Beirne P. *Inventing Criminology: Essays on the Rise of Homo Criminalis*. Albany: State University of New York Press, 1993.

Beirne 1994 — *The Origins and Growth of Criminology: Essays in Intellectual History, 1760–1945* / ed. by P. Beirne. Aldershot, England: Dartmouth, 1994.

Beirne, Hunt 1994 — Beirne P., Hunt A. *Lenin, Crime, and Penal Politics, 1917–1924 // The Origins and Growth of Criminology: Essays in Intellectual History, 1760–1945* / ed. by P. Beirne. Aldershot, England: Dartmouth, 1994. P. 181–217.

Bernstein 2006 — Bernstein F. *Panic, Potency, and the Crisis of Nervousness in the 1920s // Everyday Life in Early Soviet Russia: Taking the Revolution Inside* / ed. by Ch. Kiaer and E. Naiman. Bloomington: Indiana University Press, 2006. P. 153–182.

Bernstein 2007 — Bernstein F. *The Dictatorship of Sex: Lifestyle Advice for the Soviet Masses*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2007.

Bernstein L. 1995 — Bernstein L. *Sonia's Daughters: Prostitutes and Their Regulation in Imperial Russia*. Berkeley: University of California Press, 1995.

Bialkowski 2007 — Bialkowski Z. R. III. *The Transformation of Academic Criminal Jurisprudence into Criminology in Late Imperial Russia* / Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 2007.

Bonnell 1991 — Bonnell V. E. *The Representation of Women in Early Soviet Political Art // The Russian Review*. 1991. Vol. 50, № 3. P. 267–289.

Bonnell 1993 — Bonnell V. E. *The Peasant Woman in Stalinist Political Art of the 1930s. // American Historical Review*. 1993. Vol. 98, № 1. P. 55–82.

Bonnell 1997 — Bonnell V. E. *Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin*. Berkeley: University of California Press, 1997.

Boritch, Hagan 1990 — Boritch H., Hagan J. *A Century of Crime in Toronto: Gender, Class, and Patterns of Social Control, 1859 to 1955 // Criminology*. 1990. Vol. 28. № 4. P. 567–599.

Bradley 1979 — Bradley J. *Patterns of Peasant Migration to Late Nineteenth-Century Moscow: How Much Should We Read into Literacy Rates // Russian History*. 1979. Vol. 6. № 1. P. 22–38.

Bradley 1985 — Bradley J. *Muzhik and Muscovite: Urbanization in Late Imperial Russia*. Berkeley: University of California Press, 1985.

Bradley 1991 — Bradley J. *Voluntary Organizations, Civic Culture, and Obshchestvennost' in Moscow // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia* / ed. by E. W. Clowes, S. D. Kassow, J. L. West. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. P. 131–148.

Bradley 2002 — Bradley J. Subjects into Citizens: Societies, Civil Society, and Autocracy in Tsarist Russia // *American Historical Review*. 2002. Vol. 107. № 4. P. 1094–1123.

Brintlinger A., Vinitsky I. — *Madness and the Mad in Russian Culture* / ed. by A. Brintlinger, I. Vinitsky. Toronto: University of Toronto Press, 2007.

Brooks 1994 — Brooks J. *When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985.

Brooks 2000 — Brooks J. *Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.

Brovkin 1994 — Brovkin V. *Behind the Front Lines in the Civil War: Political Parties and Social Movements in Russia*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

Brovkin 1998 — Brovkin V. *Russia after Lenin: Politics, Culture, and Society, 1921–1929*. London: Routledge, 1998.

Brown J. 1986 — Brown J. V. *Female Sexuality and Madness in Russian Culture: Traditional Values and Psychiatric Theory* // *Social Research*. 1986. Vol. 53. № 2. P. 369–385.

Brown J. 1987 — Brown J. V. *Revolution and Psychosis: The Mixing of Science and Politics in Russian Psychiatric Medicine, 1905–13* // *The Russian Review*. 1987. Vol. 46. № 3. 1987. P. 283–302.

Brown K. 2007 — Brown K. *Out of Solitary Confinement: The History of the Gulag* // *Kritika*. Vol. 8. № 1. Winter 2007. P. 67–103.

Buckley 1989 — Buckley M. *Women and Ideology in the Soviet Union*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1989.

Burbank 1986 — Burbank J. *Intelligentsia and Revolution: Russian Views of Bolshevism, 1917–1922*. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Burbank 2004 — Burbank J. *Russian Peasants Go to Court: Legal Culture in the Countryside, 1905–1917*. Bloomington: Indiana University Press, 2004.

Carleton 2005 — Carleton G. *Sexual Revolution in Bolshevik Russia*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2005.

Cassidy, Rouhi 1999 — Cassidy J. A., Rouhi L. *From Nevskii Prospekt to Zoya's Apartment: Trials of the Russian Procuress* // *The Russian Review*. 1999. Vol. 58. № 3. P. 413–431.

Chalidze 1977 — Chalidze V. *Criminal Russia: Essays on Crime in the Soviet Union*. Translated by P. S. Falla. New York: Random House, 1977.

Chamberlin, Sander 1985 — Chamberlin J. E., Sander L. G., eds. *Degeneration: The Dark Side of Progress*. New York: Columbia University Press, 1985.

Chesney-Lind 1986 — Chesney-Lind M. *Women and Crime: The Female Offender // Signs*. 1986. Vol. 12. № 1. P. 78–96.

Chinn 1977 — Chinn J. *Manipulating Soviet Population Resources*. New York: Holmes & Meier Publishers, 1977.

Clark Ch. 2000 — Clark Ch. E. *Uprooting Otherness: The Literacy Campaign in NEP-Era Russia*. Selinsgrove, PA: Susquehanna University Press/Associated University Presses, 2000.

Clark 1995 — Clark K. *Petersburg: Crucible of Cultural Revolution*. Cambridge: Harvard University Press, 1995.

Clements 1985 — Clements B. *The Birth of the New Soviet Woman // Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution / ed. by A. Gleason, P. Kenez, R. Stites*. Bloomington: Indiana University Press, 1985. P. 220–237.

Clements 1991 — Clements B. E., Engel B. E., Worobec Ch. D., eds. *Russia's Women: Accommodation, Resistance, Transformation*. Berkeley: University of California Press, 1991.

Clowes et. al 1991 — *Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / ed. by E. W. Clowes, S. D. Kassow, J. L. West*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991.

Cohen, Johnson 1982 — Cohen D., Johnson E. A. *French Criminality: Urban-Rural Differences in the Nineteenth Century // Journal of Interdisciplinary History*. 1982. Vol. 12. № 3. P. 477–501.

David-Fox 1997 — David-Fox M. *Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1918–1929*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997.

David-Fox 1999 — David-Fox M. *What Is Cultural Revolution? // The Russian Review*. 1999. Vol. 58. №2. P. 181–201.

David-Fox 2002 — David-Fox M., reviewer. I. N. Il'ina, *Obshchestvennye organizatsii Rossii v 1920-e gody // Kritika* 3, no. 1. Winter 2002. P. 173–181.

DeHaan 1999 — DeHaan H. *Engendering A People: Soviet Women and Socialist Rebirth in Russia // Canadian Slavonic Papers*. 1999. Vol. 41. № 3–4. P. 431–455.

Donovan 1991 — Donovan J. M. *Infanticide and the Juries in France, 1825–1913 // Journal of Family History*. 1991. Vol. 16. № 2. P. 157–76.

Dörner 1981 — Dörner K. *Madmen and the Bourgeoisie: A Social History of Insanity and Psychiatry*. Oxford: Basil Blackwell, 1981.

Dowbiggin 1991 — Dowbiggin I. R. *Inheriting Madness: Professionalization and Psychiatric Knowledge in Nineteenth-Century France*. Berkeley: University of California Press, 1991.

Downey 1993 — Downey J. *Civil Society and the Campaign against Corporal Punishment in Late Imperial Russia, 1863–1904* / Ph.D. diss., Indiana University, 1993.

Drinka 1984 — Drinka G. F. *The Birth of Neurosis: Myth, Malady, and the Victorians*. New York: Simon and Schuster, 1984.

Eklof 1981 — Eklof B. *Peasant Sloth Reconsidered: Strategies of Education and Learning in Rural Russia before the Revolution* // *Journal of Social History*. 1981. Vol. 14. № 3. P. 355–385.

Eklof 1987 — Eklof B. *Russian Peasant Schools: Officialdom, Village Culture, and Popular Pedagogy, 1861–1914*. Berkeley: University of California Press, 1987.

Emmons, Vucinich 1982 — *The Zemstvo in Russia: An Experiment in Local Self-Government* / ed. by T. Emmons, W. S. Vucinich. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Engel 1989 — Engel B. A. *St. Petersburg Prostitutes in the Late Nineteenth Century: A Personal and Social Profile* // *The Russian Review*. 1989. Vol. 48. № 1. P. 21–44.

Engel 1995 — Engel B. A. *Between the Fields and the City: Women, Work, and Family in Russia, 1861–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Engel 2004 — Engel B. A. *Women in Russia, 1700–2000*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Engelstein 1988 — Engelstein L. *Gender and the Juridical Subject: Prostitution and Rape in Nineteenth-Century Russian Criminal Codes* // *Journal of Modern History*. 1988. Vol. 60. № 3. P. 458–495.

Engelstein 1992 — Engelstein L. *The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-De-Siècle Russia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992.

Evans D. 1989 — Evans D. J., Herbert D. T. *The Geography of Crime*. London: Routledge, 1989.

Evans J. 1981 — Evans J. *The Communist Party of the Soviet Union and the Women's Question: The Case of the 1936 Decree 'In Defense of Mother and Child'* // *Journal of Contemporary History*. October 1981. Vol. 16. № 4. P. 757–775.

Farnsworth 1992 — Farnsworth B. *The Litigious Daughter-in-Law: Family Relations in Rural Russia in the Second Half of the Nineteenth Century* // *Russian Peasant Women* / ed. by B. Farnsworth, L. Viola. New York: Oxford University Press, 1992. P. 89–106.

Farnsworth, Viola 1992 — *Russian Peasant Women* / ed. by B. Farnsworth, L. Viola. New York: Oxford University Press, 1992.

Feinman 1986 — Feinman C. *Women in the Criminal Justice System*. New York: Praeger, 1986.

Finkel 2001 — Finkel S. 'The Brains of the Nation': The Expulsion of Intellectuals and the Politics of Culture in Soviet Russia, 1920–1924 / Ph.D. diss., Stanford University, 2001.

Finkel 2003 — Finkel S. Purgings the Public Intellectual: The 1922 Expulsions from Soviet Russia // *The Russian Review*. 2003. Vol. 62. № 4. P. 589–613.

Fitzpatrick 1970 — Fitzpatrick Sh. *The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, 1917–1921*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Fitzpatrick 1978 — Fitzpatrick Sh., ed. *Cultural Revolution in Russia, 1928–1931*. Bloomington: Indiana University Press, 1978.

Fitzpatrick 1978a — Fitzpatrick Sh. Sex and Revolution: An Examination of Literary and Statistical Data on the Mores of Soviet Students in the 1920s // *Journal of Modern History*. June 1978. Vol. 50. № 2. P. 252–278.

Fitzpatrick 1979 — Fitzpatrick Sh. *Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

Fitzpatrick 1979a — Fitzpatrick Sh. Stalin and the Making of a New Elite, 1925–1939 // *Slavic Review*. 1979. Vol. 38. № 3. P. 377–402.

Fitzpatrick 1985 — Fitzpatrick Sh. The Civil War As a Formative Experience // *Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution* / ed. by A. Gleason, P. Kenez, R. Stites. Bloomington: Indiana University Press, 1985. P. 57–76.

Fitzpatrick 1992 — Fitzpatrick Sh. *The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992.

Fitzpatrick 1993 — Fitzpatrick Sh. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // *Journal of Modern History*. 1993. Vol. 65. № 4. P. 745–770.

Fitzpatrick 2005 — Fitzpatrick Sh. *Tear Off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.

Fitzpatrick et al 1991 — *Russia in the Era of NEP: Explorations in Soviet Society and Culture* / ed. by Sh. Fitzpatrick, A. Rabinowitch, R. Stites. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Forgacs 1992 — Forgacs D. Imagined Bodies: Rhetorics of Social Investigation in Nineteenth-Century Italy and France // *Journal of the Institute of Romantic Studies*. 1992. № 1. P. 375–394.

Frank 1987a — Frank S. P. *Cultural Conflict and Criminality in Rural Russia, 1861–1900* / Ph.D. diss., Brown University, 1987.

Frank 1987b — Frank S. P. Popular Justice, Community and Culture among the Russian Peasantry, 1870–1900 // *The Russian Review*. 1987. Vol. 46. № 3. P. 239–265.

Frank 1996 — Frank S. P. Narratives within Numbers: Women, Crime, and Juridical Statistics in Imperial Russia, 1834–1913 // *The Russian Review*. 1996. Vol. 55, № 4. P. 541–566.

Frank 1999 — Frank S. P. Crime, Cultural Conflict, and Justice in Rural Russia, 1856–1914. Berkeley: University of California Press, 1999.

Frieden 1981 — Frieden N. M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–1905. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981.

Frierson 1987 — Frierson C. A. Crime and Punishment in the Russian Village: Rural Concepts of Criminality at the End of the Nineteenth Century // *Slavic Review*. 1987. Vol. 46. № 1. P. 55–69.

Frierson 1993 — Frierson C. A. Peasant Icons: Representations of Rural People in Late Nineteenth-Century Russia. Oxford: Oxford University Press, 1993.

Galassi 2004 — Galassi S. Kriminologie im deutschen Kaiserreich. Geschichte einer gebrochenen Verwissenschaftlichung. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004.

Gallagher, Laqueur 1987 — *The Making of the Modern Body: Sexuality and Society in the Nineteenth Century* / ed. by C. Gallagher, T. Laqueur. Berkeley: University of California Press, 1987.

Gatrell 1999 — Gatrell P. A. *Whole Empire Walking: Refugees in Russia during World War I*. Bloomington: Indiana University Press, 1999.

Gaudin 2007 — Gaudin C. *Ruling Peasants: Village and State in Late Imperial Russia*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2007.

Geifman 1993 — Geifman A. *Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

Gibson 1982 — Gibson M. 'The 'Female Offender' and the Italian School of Criminal Anthropology // *Journal of European Studies*. 1982. Vol. 12. № 3. P. 155–165.

Gibson 2002 — Gibson M. *Born to Crime: Cesare Lombroso and the Origins of Biological Criminology*. Westport, CT: Praeger, 2002.

Gleason et. al 1985 — *Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution* / ed. by A. Gleason, P. Kenez, R. Stites. Bloomington: Indiana University Press, 1985.

Goldman 1993 — Goldman W. Z. *Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917–1936*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Goldman 2002 — Goldman W. Z. *Women at the Gates: Gender and Industry in Stalin's Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Goldsmith et. al 2000 — *Analyzing Crime Patterns: Frontiers of Practice* / ed. by V. Goldsmith, Ph. Z. McGuire, J. H. Mollenkopf, T. A. Ross. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2000.

Gorham 2000 — Gorham M. S. *Tongue-Tied Writers: The Rabsl'kor Movement and the Voice of the 'New Intelligentsia' in Early Soviet Russia* // *The Russian Review*. 1996. Vol. 55. № 3. P. 412–429.

Gorsuch 2000 — Gorsuch A. *Youth in Revolutionary Russia: Enthusiasts, Bohemians, Delinquents*. Bloomington: Indiana University Press, 2000.

Graham 1975 — Graham L. *The Formation of Soviet Research Institutes: A Combination of Revolutionary Innovation and International Borrowing* // *Social Studies of Science*. August 1975. Vol. 5. № 3. P. 303–329.

Graham 1993 — Graham L. *Science in Russia and the Soviet Union: A Short History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Groneman 1995 — Groneman C. *Nymphomania: The Historical Construction of Female Sexuality* // *Deviant Bodies: Critical Perspectives on Difference in Science and Popular Culture*. Ed. by J. Terry, J. Urla. Bloomington: Indiana University Press, 1995. P. 219–249.

Guroff, Starr 1971 — Guroff G., Starr F. *A Note on Urban Literacy in Russia, 1890–1914* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1971. Vol. 19. № 4. P. 520–531.

Hachten 2002 — Hachten E. A. *In Service to Science and Society: Scientists and the Public in Late-Nineteenth-Century Russia* // *Osiris*. 2002. № 17. P. 171–209.

Halfin 2000 — Halfin I. *From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2000.

Harries K. 1974 — Harries K. D. *The Geography of Crime and Justice*. New York: McGraw Hill, 1974.

Harris R. 1988 — Harris R. *Melodrama, Hysteria, and Feminine Crimes of Passion in the Fin-de-Siècle* // *History Workshop Journal*. 1988. № 25. P. 31–63.

Harris R. 1989 — Harris R. *Murders and Madness: Medicine, Law, and Society in the Fin-De-Siècle*. Oxford: Oxford University Press, 1989.

Hartnagel 1982 — Hartnagel T. *Modernization, Female Social Roles, and Female Crime: A Cross-National Investigation* // *Sociological Quarterly*. Autumn 1982. Vol. 23. № 4. P. 477–490.

Hawthorn 1987 — Hawthorn G. *Enlightenment and Despair: A History of Social Theory*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Healey 2001 — Healey D. *Homosexual Desire in Revolutionary Russia: The Regulation of Sexual and Gender Dissent*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

Healey 2007 — Healey D. *Early Soviet Forensic Psychiatric Approaches to Sex Crime, 1917–1934 // Madness and the Mad in Russian Culture / ed. by A. Brintlinger, I. Vinitzky*. Toronto: University of Toronto Press, 2007. P. 150–172.

Heinzen 1998 — Heinzen J. W. *Professional Identity and the Vision of the Modern Soviet Countryside: Local Agricultural Specialists at the End of the NEP, 1928–1929 // Cahiers du Monde Russe*. 1998. Vol. 39. № 1–2. P. 9–25.

Heinzen 2004 — Heinzen J. W. *Inventing a Soviet Countryside: Soviet State Power and the Transformation of Rural Russia, 1917–1929*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2004.

Hellbeck 2006 — Hellbeck J. *Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin*. Cambridge: Harvard University Press, 2006.

Herbert 1982 — Herbert D. *The Geography of Urban Crime*. London: Longman, 1982.

Higginbotham 1989 — Higginbotham A. R. 'Sin of the Age': Infanticide and Illegitimacy in Victorian London // *Victorian Studies*. 1989. Vol. 32. № 3. P. 319–337.

Hirsch 2008 — Hirsch F. *The Soviets at Nuremberg: International Law, Propaganda, and the Making of the Postwar Order // American Historical Review*. June 2008. Vol. 113. № 3. P. 701–730.

Hoffmann 1994 — Hoffmann D. *Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929–1941*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994.

Hoffmann 2000 — Hoffmann D. *Stalinist Pronatalism in Its Pan-European Context // Journal of Social History*. 2000. Vol. 34. № 1. P. 35–54.

Hoffmann 2003 — Hoffmann D. *Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003.

Holquist 1997 — Holquist P. *Information is the Alpha and Omega of Our Work: Bolshevik Surveillance in its Pan-European Context // Journal of Modern History*. 1997. Vol. 69. № 3. P. 415–450.

Holquist 2002 — Holquist P. *Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921*. Cambridge: Harvard University Press, 2002.

Hopwood 1927 — Hopwood, J. S. *Child Murder and Insanity // Journal of Mental Science*. 1927. Vol. 73. № 300. P. 95–108.

Horn 1994 — Horn D. G. *Social Bodies: Science, Reproduction, and Italian Modernity*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

Horn 1995 — Horn D. G. *This Norm Which Is Not One: Reading the Female Body in Lombroso's Anthropology // Deviant Bodies: Critical Perspec-*

tives on *Difference in Science and Popular Culture* / ed. by J. Terry, J. Urla. Bloomington: Indiana University Press, 1995. P. 109–128.

Horn 2003 — Horn D. G. *The Criminal Body: Lombroso and the Anatomy of Deviance*. New York: Routledge, 2003.

Huber 2007 — Huber K. *Sex and Its Consequences: Abortion, Infanticide, and Women's Reproductive Decision-Making in France, 1901–1940* / Ph.D. diss., The Ohio State University, 2007

Hufton 1984 — Hufton O. H. *The Urban Criminal in Eighteenth-Century France* // *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester*. 1984. Vol. 67. № 1. P. 474–499.

Huskey 1986 — Huskey E. *Russian Lawyers and the Soviet State: The Origins and Development of the Soviet Bar, 1917–1939*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986.

Hutchinson 1990 — Hutchinson J. F. *Politics and Public Health in Revolutionary Russia, 1890–1918*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1990.

Hutton 2001 — Hutton M. J. *Russian and West European Women, 1860–1939: Dreams, Struggles, Nightmares*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, 2001.

Jackson 1994 — Jackson M. *Suspicious Infant Deaths: The Statute of 1624 and Medical Evidence at Coroners' Inquests* // *Legal Medicine in History* / ed. by M. Clark, C. Crawford. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 64–86.

Jackson 2002 — Jackson M., ed. *Infanticide: Historical Perspectives on Child Murder and Concealment, 1550–2000*. Aldershot, England: Ashgate, 2002.

Jakobson 1993 — Jakobson M. *Origins of the Gulag: The Soviet Prison Camp System, 1917–1934*. Lexington: University Press of Kentucky, 1993.

Johnson 1982 — Johnson E. A. *The Roots of Crime in Imperial Germany* // *Central European History*. 1982. Vol. 15. № 4. P. 351–376.

Johnson 1985 — Johnson E. A. *Women As Victims and Criminals: Female Homicide and Criminality in Imperial Germany, 1873–1914* // *Criminal Justice History*. 1985. № 6. P. 151–175.

Johnson 1992 — Johnson E. A. *Cities Don't Cause Crime: Urban-Rural Differences in Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century German Criminality* // *Social Science History* 1992. Vol. 16. № 1. P. 129–176.

Johnson 1995 — Johnson E. A. *Urbanization and Crime: Germany, 1871–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Johnson, Monkkonen 1996 — *The Civilization of Crime: Violence in Town and Country since the Middle Ages* / ed. by E. A. Johnson, E. H. Monkkonen. Urbana: University of Illinois Press, 1996.

Johnson R. 1979 — Johnson R. *Peasant and Proletariat: The Working Class of Moscow in the Late Nineteenth Century*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1979.

Jones D. A. 1986 — Jones D. A. *History of Criminology: A Philosophical Perspective*. New York: Greenwood Press, 1986.

Jones G. 1971 — Jones G. *Outcast London: A Study in the Relationship between Classes in Victorian Society*. Oxford: Clarendon Press, 1971.

Joravsky 1978 — Joravsky D. *The Construction of the Stalinist Psyche // Cultural Revolution in Russia, 1928–1931* / ed. by Sh. Fitzpatrick. Bloomington: Indiana University Press, 1978. P. 105–120.

Joravsky 1989 — Joravsky D. *Russian Psychology: A Critical History*. Oxford: Basil Blackwell, 1989.

Jordanova 1989 — Jordanova L. *Sexual Visions: Images of Gender in Science and Medicine between the Eighteenth and Twentieth Centuries*. Madison: University of Wisconsin Press, 1989.

Kassow 1991 — Kassow S. *Russia's Unrealized Civil Society // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia* / ed. by E. W. Clowes, S. D. Kassow, J. L. West. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. P. 367–371.

Kazantsev 1997 — Kazantsev S. M. *The Judicial Reform of 1864 and the Procuracy in Russia // Reforming Justice in Russia, 1864–1996: Power, Culture, and the Limits of Legal Order* / ed. by P. H. Solomon. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1997. P. 44–60.

Kenez 1982 — Kenez P. *Liquidating Illiteracy in Revolutionary Russia // Russian History*. 1982. Vol. 9. № 2–3. P. 173–186.

Kiaer, Naiman 2006 — *Everyday Life in Early Soviet Russia: Taking the Revolution Inside* / ed. by Ch. Kiaer, E. Naiman. Bloomington: Indiana University Press, 2006.

Kingston-Mann 2005 — Kingston-Mann E. *Statistics, Social Science, and Social Justice: The Zemstvo Statisticians of Pre-Revolutionary Russia // Russia in the European Context, 1789–1914: A Member of the Family* / ed. by S. McCaffray, M. Melancon. New York: Palgrave Macmillan, 2005. P. 113–140.

Klein 1994 — Klein D. *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature // The Origins and Growth of Criminology: Essays in Intellectual History, 1760–1945* / ed. by P. Beirne. Aldershot, England: Dartmouth, 1994. P. 265–290.

Koenker et. al 1989 — *Party, State, and Society in the Russian Civil War* / ed. by D. Koenker, W. G. Rosenberg, R. G. Suny. Bloomington: Indiana University Press, 1989.

Kotkin 1995 — Kotkin S. *Magnetic Mountain: Stalinism As a Civilization*. Berkeley: University of California Press, 1995.

Kowalsky 2003 — Kowalsky Sh. A. *Who's Responsible for Female Crime? Gender, Deviance, and the Development of Soviet Social Norms in Revolutionary Russia* // *The Russian Review*. 2003. Vol. 62. № 3. P. 366–386.

Krylenko 1927 — Krylenko N. *Criminal Law in the Soviet Union* // *Communist*. 1927. Vol. 2. № 10. P. 173–180; № 11. P. 274–282.

Krylova 2003 — Krylova A. *Beyond the Spontaneity-Consciousness Paradigm: 'Class Instinct' As a Promising Category of Historical Analysis* // *Slavic Review*. Spring 2003. Vol. 62. № 1. P. 1–23.

Kushner 1993 — Kushner H. I. *Suicide, Gender, and the Fear of Modernity in Nineteenth-Century Medical and Social Thought* // *Journal of Social History*. 1993. Vol. 26. № 3. P. 461–490.

Lampert 1979 — Lampert N. *The Technical Intelligentsia and the Soviet State: A Study of Soviet Managers and Technicians, 1928–1935*. London: The MacMillan Press, 1979.

Langer 1974 — Langer W. L. *Infanticide: A Historical Survey* // *History of Childhood Quarterly*. 1974. Vol. 1. № 3. P. 353–365.

Leboutte 1991 — Leboutte R. *Offense against Family Order: Infanticide in Belgium from the Fifteenth to the Early Twentieth Centuries* // *Journal of the History of Sexuality*. 1991. Vol. 2. № 2. P. 159–185.

Leps 1992 — Leps M.-Ch. *Apprehending the Criminal: The Production of Deviance in Nineteenth-Century Discourse*. Durham, NC: Duke University Press, 1992.

Levin 1986 — Levin E. *Infanticide in Pre-Petrine Russia* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1986. Vol. 34. № 2. P. 215–224.

Levin 1989 — Levin E. *Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900–1700*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989.

Lewin 1985 — Lewin M. *Customary Law and Russian Rural Society in the Post-Reform Era* // *The Russian Review*. 1985. Vol. 44. № 1. P. 1–19.

Lindenmeyr 1996 — Lindenmeyr A. *Poverty Is Not a Vice: Charity, Society, and the State in Imperial Russia*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.

Lindesmith, Levin 1937 — Lindesmith A., Levin Y. *The Lombrosian Myth in Criminology* // *American Journal of Sociology*. 1937. Vol. 42. № 5. P. 653–671.

Lodhi, Tilly 1973 — Lodhi A. Q., Tilly Ch. *Urbanization, Crime, and Collective Violence in Nineteenth-Century France* // *American Journal of Sociology*. 1973. Vol. 79. № 2. P. 296–318.

Lorimer 1946 — Lorimer F. *The Population of the Soviet Union: History and Prospects*. Geneva: League of Nations, 1946.

Mally 1990 — Mally L. *Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia*. Berkeley: University of California Press, 1990.

Mannheim 1960 — *Pioneers in Criminology* / ed. by H. Mannheim. London: Stevens & Sons, 1960.

Martin 1999 — Martin T. *Interpreting the New Archival Signals: Nationalities Policy and the Nature of the Soviet Bureaucracy* // *Cahiers du Monde Russe*. 1999. Vol. 40. №1–2. P. 113–124.

Massell 1974 — Massell G. J. *The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia, 1919–1929*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974.

Matlock 1994 — Matlock J. *Scenes of Seduction: Prostitution, Hysteria, and Reading Difference in Nineteenth-Century France*. New York: Columbia University Press, 1994.

Maza 1993 — Maza S. *Private Lives and Public Affairs: The Causes Célèbres of Prerevolutionary France*. Berkeley: University of California Press, 1993.

McMillan 1981 — McMillan J. *Housewife or Harlot: The Place of Women in French Society, 1870–1940*. New York: St. Martin's Press, 1981.

McReynolds 1991 — McReynolds L. *The News under Russia's Old Regime: The Development of a Mass Circulation Press*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991.

Medvedev 1978 — Medvedev Zh. *Soviet Science*. New York: W. W. Norton, 1978.

Mespoulet 1999 — Mespoulet M. *Statisticiens des zemstva. Formation d'une nouvelle profession intellectuelle en Russie dans la période prerevolutionnaire (1880–1917). Le case de Saratov* // *Cahiers du Monde Russe*. 1999. Vol. 40. № 4. P. 573–624.

Mespoulet 2001 — Mespoulet M. *Statistique et révolution en Russie. Un compromis impossible (1880–1930)*. Rennes, France: Presses Universitaires de Rennes, 2001.

Messerschmidt 1986 — Messerschmidt J. W. *Capitalism, Patriarchy, and Crime: Toward a Socialist Feminist Criminology*. Totowa, NJ: Rowman & Littlefield, 1986.

Miller 1998 — Miller M. A. *Freud and the Bolsheviks: Psychoanalysis in Imperial Russia and the Soviet Union*. New Haven: Yale University Press, 1998.

Mironov 1991 — Mironov B. N. *The Development of Literacy in Russia and the USSR from the Tenth to the Twentieth Centuries* // *History of Education Quarterly*. 1991. Vol. 31. №2. P. 229–252.

Morrissey 2007 — Morrissey S. K. *Suicide and the Body Politic in Imperial Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Moscucci 1990 — Moscucci O. *The Science of Woman: Gynecology and Gender in England, 1800–1929*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Mueller 1998 — Mueller J. K. *Staffing Newspapers and Training Journalists in Early Soviet Russia* // *Journal of Social History*. 1998. Vol. 31. № 4. P. 851–873.

Muir, Ruggiero 1994 — *History from Crime* / ed. by E. Muir, G. Ruggiero. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1994.

Naffine 1996 — Naffine N. *Feminism and Criminology*. Philadelphia, PA: Temple University Press, 1996.

Naiman 1990 — Naiman E. *The Case of Chubarov Alley: Collective Rape, Utopian Desire, and the Mentality of NEP* // *Russian History*. 1990. Vol. 17. № 1. P. 1–30.

Naiman 1997 — Naiman E. *Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.

Nathans 2004 — Nathans B. *Beyond the Pale: The Jewish Encounter with Late Imperial Russia*. Berkeley: University of California Press, 2004.

Nelson 2004 — Nelson A. *Music for the Revolution: Musicians and Power in Early Soviet Russia*. University Park: Pennsylvania State University Press, 2004.

Neuberger 1993 — Neuberger J. *Hooliganism: Crime, Culture, and Power in St. Petersburg, 1900–1914*. Berkeley: University of California Press, 1993.

Northrop 2002 — Northrop D. *Subaltern Dialogues: Subversion and Resistance in Soviet Uzbek Family Law* // *Contending with Stalinism: Soviet Power and Popular Resistance in the 1930s*. Ed. by L. Viola. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002. P. 109–138.

Nye 1976 — Nye R. A. *Crime, Madness and Politics in Modern France: The Medical Concept of National Decline*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.

Nye 1976a — Nye R. A. *Heredity or Milieu: The Foundations of Modern European Criminological Theory* // *Isis*. 1976. Vol. 67. № 3. P. 335–355.

Pelfrey 1980 — Pelfrey W. V. *The Evolution of Criminology*. Cincinnati, OH: Anderson, 1980.

Pethybridge 1990 — Pethybridge R. *One Step Backwards, Two Steps Forward: Soviet Society and Politics in the New Economic Policy*. Oxford: Clarendon Press, 1990.

Phillips 2000 — Phillips L. L. *Bolsheviks and the Bottle: Drink and Worker Culture in St. Petersburg, 1900–1929*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2000.

Phillipson 1923 — Phillipson C. *Three Criminal Law Reformers: Beccaria, Bentham, Romilly*. London: J. M. Dent and Sons, 1923.

Pick 1989 — Pick D. *Faces of Degeneration: A European Disorder, c. 1848–1918*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Pinnow 1998 — Pinnow K. M. *Making Suicide Soviet: Medicine, Moral Statistics, and the Politics of Social Science in Bolshevik Russia, 1920–1930* / Ph.D. diss., Columbia University, 1998.

Pipes 1992 — Pipes R. *Russia under the Old Regime*. 2nd ed. New York: Macmillan, 1992.

Pomper 1993 — Pomper Ph. *The Russian Revolutionary Intelligentsia*. 2nd ed. Wheeling, IL: Harlan Davidson, 1993.

Pushkareva 1997 — Pushkareva N. L. *Women in Russian History, from the Tenth to the Twentieth Centuries*. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1997.

Radzinowicz 1966 — Radzinowicz L. *Ideology and Crime*. New York: Columbia University Press, 1966.

Raleigh 2002 — Raleigh D. J. *Experiencing Russia's Civil War: Politics, Society, and Revolutionary Culture in Saratov, 1917–1922*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.

Ransel 1978 — Ransel D. L., ed. *The Family in Imperial Russia: New Lines of Historical Research*. Urbana: University of Illinois Press, 1978.

Ransel 1988 — Ransel D. L. *Mothers of Misery: Child Abandonment in Russia*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988.

Ratcliffe 1992 — Ratcliffe B. M. *Perceptions and Realities of the Urban Margin: The Rag Pickers of Paris in the First Half of the Nineteenth Century* // *Canadian Journal of History*. 1992. Vol. 27. № 2. P. 197–233.

Rennie 1978 — Rennie Y. *The Search for Criminal Man: A Conceptual History of the Dangerous Offender*. Lexington, MA: Lexington Books, 1978.

Roberts 1994 — Roberts M. L. *Civilization without Sexes: Reconstructing Gender in Postwar France, 1917–1927*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Rosen 2007 — Rosen J. *The Brain on the Stand: How Neuroscience Is Transforming the Legal System* // *The New York Times Magazine*. 11 March 2007.

Rosenberg 1985 — Rosenberg C. S. *Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian America*. New York: A. A. Knopf, 1985.

Rosenberg W. G. 1990 — Rosenberg W. G. *Bolshevik Visions: First Phase of the Cultural Revolution in Soviet Russia*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990.

Rosenberg, Rosenberg 1973 — Rosenberg C. S., Rosenberg Ch. *The Female Animal: Medical and Biological Views of Woman and Her Role in Nineteenth-*

Century America // *Journal of American History*. 1973. Vol. 60. № 2. P. 332–356.

Rothman 1971 — Rothman D. J. *The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic*. Boston, MA: Little Brown, 1971.

Ruane 1991 — Ruane Ch. *The Vestal Virgins of St. Petersburg: Schoolteachers and the 1897 Marriage Ban* // *The Russian Review*. 1991. Vol. 50. № 2. P. 163–182.

Ruane 1994 — Ruane Ch. *Gender, Class, and the Professionalization of Russian City Teachers, 1860–1914*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1994.

Ruggiero 1992 — Ruggiero K. *Honor, Maternity, and the Disciplining of Women: Infanticide in Late Nineteenth-Century Buenos Aires* // *Hispanic American Historical Review*. 1992. Vol. 72. № 3. P. 353–373.

Russett 1989 — Russett C. E. *Sexual Science: The Victorian Construction of Womanhood*. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Schafter 1969 — Schafer S. *Theories in Criminology: Past and Present Philosophies of the Crime Problem*. New York: Random House, 1969.

Schrader 2002 — Schrader A. M. *Languages of the Lash: Corporal Punishment and Identity in Imperial Russia*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2002.

Sellin 1958 — Sellin Th. *Pioneers in Criminology. XV. Enrico Ferri (1856–1929)* // *Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*. 1958. Vol. 48. № 5. P. 481–492.

Semenova-Tian-Shanskaia 1993 — Semenova-Tian-Shanskaia O. P. *Village Life in Late Tsarist Russia* / transl. by D. Ransel. Bloomington: Indiana University Press, 1993.

Shapiro 1996 — Shapiro A.-L. *Breaking the Codes: Female Criminality in Fin-de-Siècle Paris*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996.

Sharlet 1978 — Sharlet R. *Pashukanis and the Withering Away of Law in the USSR* // *Cultural Revolution in Russia, 1928–1931* / ed. by Sh. Fitzpatrick. Bloomington: Indiana University Press, 1978. P. 168–188.

Shelley 1977 — Shelley L. *Soviet Criminology: Its Birth and Demise 1917–1936* / Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 1977.

Shelley 1979 — Shelley L. *The 1929 Dispute on Soviet Criminology* // *Soviet Union*. 1979. Vol. 6. № 2. P. 175–185.

Shelley 1980 — Shelley L. *The Geography of Soviet Criminality* // *American Sociological Review*. 1980. Vol. 45. № 1. P. 111–122.

Shelley 1981 — Shelley L. *Crime and Modernization: The Impact of Industrialization and Urbanization on Crime*. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1981.

Shelley 1982 — Shelley L. *Female Criminality in the 1920s: A Consequence of Inadvertent and Deliberate Change* // *Russian History*. 1982. Vol. 9. № 2–3. P. 265–284.

Showalter 1985 — Showalter E. *The Female Malady: Women, Madness, and English Culture, 1830–1980*. New York: Pantheon, 1985.

Simon 1981 — Simon R. J. *American Women and Crime* // *Readings in Comparative Criminology* / ed. by L. Shelley, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1981. P. 1–17.

Skultans 1977 — Skultans V. *English Madness: Ideas on Insanity, 1580–1890*. London: Routledge, 1979.

Smart 1977 — Smart C. *Women, Crime, and Criminology: A Feminist Critique*. London: Routledge and Kegan Paul, 1977.

Snow 1987 — Snow G. E. *Perceptions of the Link between Alcoholism and Crime in Pre-Revolutionary Russia* // *Criminal Justice History: An International Annual*. 1987. № 8. P. 37–51.

Solomon 1974 — Solomon P. H., Jr. *Soviet Criminology: Its Demise and Rebirth, 1928–1963* // *Crime, Criminology, and Public Policy* / ed. by R. Hood. New York: The Free Press, 1974. P. 571–593.

Solomon 1978 — Solomon P. H., Jr. *Soviet Criminologists and Criminal Policy: Specialists in Policy-Making*. New York: Columbia University Press, 1978.

Solomon 1980 — Solomon P. H., Jr. *Soviet Penal Policy, 1917–1934: A Reinterpretation* // *Slavic Review*. 1980. Vol. 39. № 2. P. 195–217.

Solomon 1996 — Solomon, P. H., Jr. *Soviet Criminal Justice under Stalin*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Solomon 1997 — *Reforming Justice in Russia, 1864–1996: Power, Culture, and the Limits of Legal Order* / ed. by P. H. Solomon, Jr. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1997.

Solomon S. G. 1989 — Solomon S. G. *David and Goliath in Soviet Public Health: The Rivalry of Social Hygienists and Psychiatrists for Authority over the Bytovoi Alcoholic* // *Soviet Studies*. 1989. Vol. 41. № 2. P. 254–275.

Solomon S. G. 1990 — Solomon S. G. *The Limits of Government Patronage of Science: Social Hygiene and the Soviet State, 1920–1930* // *Social History of Medicine*. 1990. Vol. 3. № 3. P. 405–435.

Solomon S. G. 1990a — Solomon S. G. *Social Hygiene and Soviet Public Health, 1921–1930* // *Health and Society in Revolutionary Russia*. Ed. by S. G. Solomon, J. F. Hutchinson. Bloomington: Indiana University Press, 1990. P. 175–199.

Solomon S. G. 2006 — *Doing Medicine Together: Germany and Russia between the Wars* / ed. by S. G. Solomon. Toronto: University of Toronto Press, 2006.

Soman 1980 — Soman A. Deviance and Criminal Justice in Western Europe, 1300–1800: An Essay in Structure // *Criminal Justice History*. № 1. 1980. P. 1–28.

Spagnolo 2006 — Spagnolo R. When Private Home Meets Public Workplace: Service, Space and the Urban Domestic in 1920s Russia // *Everyday Life in Early Soviet Russia: Taking the Revolution Inside* / ed. by Ch. Kiaer, E. Naiman. Bloomington: Indiana University Press, 2006. P. 230–255.

Starks 2008 — Starks T. *The Body Soviet: Propaganda, Hygiene, and the Revolutionary State*. Madison: University of Wisconsin Press, 2008.

Stites 1983 — Stites R. Prostitute and Society in Pre-Revolutionary Russia // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1983. Vol. 31. № 3. P. 348–364.

Stites 1990 — Stites R. *The Women's Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860–1930*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990.

Stites 1991 — Stites R. *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. Oxford: Oxford University Press, 1991.

Sutton 1984 — Sutton R. *Crime and Social Change in Russia after the Great Reforms: Laws, Courts, and Criminals, 1874–1894* / Ph.D. diss., Indiana University, 1984.

Tierney 1996 — Tierney J. *Criminology: Theory and Context*. London: Prentice Hall, 1996.

Timasheff 1946 — Timasheff N. *The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia*. New York: E. P. Dutton, 1946.

Todes 1989 — Todes D. P. *Darwin without Malthus: The Struggle for Existence in Russian Evolutionary Thought*. Oxford: Oxford University Press, 1989.

Tolz 1997 — Tolz V. *Russian Academicians and the Revolution: Combining Professionalism and Politics*. New York: St. Martin's Press, 1997.

Transchel 2006 — Transchel K. *Under the Influence: Working-Class Drinking, Temperance, and Cultural Revolution in Russia, 1895–1932*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2006.

Ulbricht 1985 — Ulbricht O. *The Debate about Foundling Hospitals in Enlightenment Germany: Infanticide, Illegitimacy, and Infant Mortality Rates* // *Central European History*. 1985. Vol. 18. № 3–4. P. 211–256.

van der Berg 1985 — van der Berg G. *The Soviet System of Justice: Figures and Policy*. Dordrecht, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.

Viola 1996 — Viola L. *Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance*. Oxford: Oxford University Press, 1996.

von Geldern 1993 — von Geldern J. *Bolshevik Festivals, 1917–1920*. Berkeley: University of California Press, 1993.

Vucinich 1984 — Vucinich A. *Empire of Knowledge: The Academy of Sciences of the USSR (1917–1970)*. Berkeley: University of California Press, 1984.

Walkowitz 1980 — Walkowitz J. R. *Prostitution and Victorian Society: Women, Class, and the Stage*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

Walkowitz 1992 — Walkowitz J. R. *City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late Victorian London*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Wartenweiler 1999 — Wartenweiler D. *Civil Society and Academic Debate in Russia, 1905–1914*. Oxford: Clarendon Press, 1999.

Waters 1992 — Waters E. *The Modernization of Russian Motherhood, 1917–1937* // *Soviet Studies*. 1992. Vol. 44. № 1. P. 123–135.

Waters 1992a — Waters E. *Victim or Villain? Prostitution in Post-Revolutionary Russia* // *Women and Society in Russia and the Soviet Union* / ed. by L. Edmondson. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 160–177.

Weismann 1978 — Weissman N. B. *Rural Crime in Tsarist Russia: The Question of Hooliganism, 1905–1914* // *Slavic Review*. 1978. Vol. 37. № 2. P. 228–240.

Weissman 1986 — Weissman N. B. *Prohibition and Alcohol Control in the USSR: The 1920s Campaign against Illegal Spirits* // *Soviet Studies*. 1986. Vol. 38. № 3. P. 349–368.

Wessling 1994 — Wessling M. N. *Infanticide Trials and Forensic Medicine: Württemberg 1757–93* // *Legal Medicine in History* / ed. by M. Clark, C. Crawford. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 117–144.

Wetzell 2000 — Wetzell R. F. *Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880–1945*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000.

Wilson 1988 — Wilson S. *Infanticide, Child Abandonment, and Female Honour in Nineteenth-Century Corsica* // *Comparative Studies in Society and History*. 1988. Vol. 30. № 4. P. 762–783.

Wimberg 1996 — Wimberg E. M. *'Replacing the Shackles': Soviet Penal Theory, Policy, and Practice, 1917–1930* / Ph.D. diss., University of Pittsburgh, 1996.

Wolfgang 1960 — Wolfgang M. E. *Cesare Lombroso* // *Pioneers in Criminology* / ed. by H. Mannheim. London: Stevens & Sons, 1960. P. 168–228.

Wolfgang 1961 — Wolfgang M. E. *Pioneers in Criminology: Cesare Lombroso (1835–1909)* // *Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*. 1961. Vol. 52. № 4. P. 361–391.

Wood 1997 — Wood E. A. *The Baba and the Comrade: Gender and Politics in Revolutionary Russia*. Bloomington: Indiana University Press, 1997.

Worobec 1991 — Worobec Ch. D. Peasant Russia: Family and Community in the Post-Emancipation Period. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991.

Worobec 1992 — Worobec Ch. D. Temptress or Virgin? The Precarious Sexual Position of Women in Postemancipation Ukrainian Peasant Society // Russian Peasant Women / ed. by B. Farnsworth, L. Viola. Oxford: Oxford University Press, 1992. P. 41–53

Wortman 1976 — Wortman R. S. The Development of a Russian Legal Consciousness. Chicago: University of Chicago Press, 1976.

Wrightson 1982 — Wrightson K. Infanticide in European History // Criminal Justice History. 1982. № 3. P. 1–20.

Zedner 1991 — Zedner L. Women, Crime, and Custody in Victorian England. Oxford: Clarendon Press, 1991.

Zehr 1975 — Zehr H. The Modernization of Crime in Germany and France, 1830–1913 // Journal of Social History. 1975. № 8. P. 117–141.

Zehr 1976 — Zehr H. Crime and the Development of Modern Society. London: Croom Helm, 1976.

Zelitch 1931 — Zelitch J. Soviet Administration of Criminal Law. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1931.

Указатель имен

- Алявдин Павел Алексеевич 265, 270, 271
Андреев М. 264, 265, 276, 277, 283, 304, 322
Аронович А. М. 233, 235, 237, 240, 242-244
Артименков Л. 229
Ашаффенбург Густав 65, 66
Беккариа, маркиз (Чезаре Бонесана) 44, 45, 71
Белобородов Александр Георгиевич 117, 131, 192, 316, 321
Бентам Джереми 45
Берман Яков Александрович 118
Бехтерев Владимир Михайлович 51, 103, 224
Бехтерев Юрий Юрьевич 100, 122, 227, 229-231
Боннелл Виктория 311
Борич Хелен 155, 156
Браиловский Виктор Владимирович 123, 124, 266, 301
Бруханский Николай Павлович 11, 12
Булатов Сергей Яковлевич 317, 318, 322
Бычков И. Я. 230, 253, 255, 259, 261, 262, 265, 267-272, 274, 283, 284, 303, 304
Василевский Лев Маркович 162, 190, 191, 295, 298, 299
Введенский Н. Н. 120
Верховский Павел Владимирович 229
Внуков Вольф Абрамович 280, 281
Вышинский Андрей Яковлевич 316, 317
Гернет Михаил Николаевич 10, 35, 54, 63, 69-71, 73, 74, 82-85, 97, 99, 103, 104, 116, 118, 120, 121, 123, 125-127, 154, 156, 157, 161-165, 167, 168, 173, 198, 204-207, 210, 212, 213, 225, 226, 236, 240, 242-245, 248, 250, 253, 255-257, 259, 261, 265, 273, 275-277, 279, 280, 294, 295, 297-299, 301, 321, 322
Герцензон Алексей Адольфович 57, 88, 104, 162, 173, 213, 223, 246, 304, 317, 325-328
Гибсон Мэри 81
Гродзинский Мориц Маркович 122, 128
Гурофф Грегори 226
Дарвин Чарльз 46, 137
Джонсон Эрик 155, 209

- Дриль Дмитрий Андреевич 51,
54–56, 74
- Духовской Михаил Василье-
вич 69
- Дэвид-Фокс Майкл 8, 17, 133, 313
- Дюркгейм Эмиль 46
- Жижиленко Александр Алексан-
дрович 69, 82, 105, 169, 170,
190, 191, 280, 321
- Заменгоф Михаил Фабиано-
вич 211
- Звоницкая Агнесса Соломо-
новна 37, 105, 110, 111,
123, 170
- Змиев Борис Николаевич 130,
131, 240, 254, 255, 261, 269,
273–276, 299, 301
- Исаев Михаил Михайлович 118,
120, 127, 317, 322
- Кант Иммануил 48
- Каплун Борис Гитманович 187
- Карпов Павел Иванович 120
- Кесслер М. 177, 181, 182
- Клейн Дори 140, 149, 196
- Князев Д. 235
- Ковалевский Павел Иванович 51,
64, 65
- Коллонтай Александра Ми-
хайловна 282
- Конт Огюст 48, 59
- Коэн Дэвид 209
- Краснушкин Евгений Констан-
тинович 27, 103, 104, 111–113,
118, 127, 248, 278
- Крыленко Н. В. 27, 118, 317
- Крылов С. 108, 238, 271
- Курский Дмитрий Иванович 234,
235, 316, 317
- Кузанин Михаил Павлович
102, 123
- Лейбович Яков Львович 89, 108,
120, 262
- Ленин Владимир Ильич 16, 24, 29
- Лист Франц фон 70, 71, 99
- Лобас Николай Степанович
51, 52
- Ломброзо Чезаре 46–51, 53–61,
63, 71, 74–86, 96, 102, 110, 126,
142, 187, 317, 318
- Люблинский Павел Исаакович
99, 105, 127, 189
- Мальтус Томас Роберт 137
- Маннс Герберт Юлианович
199, 204, 205, 208, 211,
213, 283
- Маньковский Борис Степанович
261, 262, 264, 267, 268, 270, 273,
275–277, 283, 291, 296, 301–304,
317, 318
- Меньшагин Владимир Дмитрие-
вич 164, 191, 212, 241
- Месяцев Иван Илларионо-
вич 120
- Мокеев В. 238
- Мор Томас 71
- Немилов Антон Витальевич 168,
169, 280
- Ной Иосиф Соломонович 89,
328, 329
- Озеров Иван Христофорович
147–149, 152–154, 156, 157
- Оршанский Лев Григорьевич
27, 100, 105, 107, 127,
192, 208
- Пашуканис Е. Б. 118, 316
- Петрова А. Е. 10, 11, 37, 127

- Пионтковский Андрей Андреевич 62, 72, 118, 120, 127, 296, 297, 317, 320, 322
- Познышев Сергей Викторович 60–62, 101, 105, 277, 289–293
- Покровская Мария Ивановна 185, 186
- Португалов Юрий Вениаминович 60, 65
- Родин Дмитрий Петрович 97, 127, 161–164, 193, 204, 205, 207, 213, 220, 236, 239–241
- Рапопорт Александр Матвеевич 104, 192–194
- Робертс Мэри-Луиза 20, 194
- Руссо Жан-Жак 71
- Санчов Валерий Леонтьевич 169
- Сегал Герман Михайлович 104, 111, 118, 127, 169, 319, 320
- Семашко Николай Александрович 95, 117, 235
- Семёнова-Тян-Шанская Ольга Петровна 258, 270
- Соловьев М. 102, 243
- Соломон Сюзан 89, 94, 95, 176
- Спасокукоцкий Николай Николаевич 116, 117, 120, 122, 128
- Сталин Иосиф Виссарионович 15–17, 28, 29, 88, 89, 324
- Старр Стивен Фредерик 226
- Струмилин Станислав Густавович 118
- Стучка Петр Иванович 316
- Таганцев Николай Степанович 69, 74, 249
- Тард Габриэль 46
- Тарновская Прасковья Николаевна 37, 51–53, 144–149
- Тарновский Евгений Никитич 69, 70, 74, 153, 162, 176, 179, 181, 203, 204, 206, 212, 228, 236, 240, 241, 321
- Тарновский Вениамин Михайлович 51, 53
- Терентьева А. Н. 37, 173, 174
- Тимашефф Николас 16, 17
- Трайнин Арон Наумович 69, 84, 118, 127, 151, 156, 317, 321, 322
- Траскович Федор Константинович 120, 121
- Турати Филиппо 71
- Укше Сусанна Альфонсовна 37, 127, 171, 172, 193, 213, 239, 280
- Уотерс Элизабет 188
- Утевский Борис Самойлович 120, 125, 178–180, 181–183, 193, 214, 224, 239, 240, 322
- Учеватов А. Н. 189, 236, 238–240, 242, 270
- Ферреро Гульельмо 74
- Ферри Энрико 58–60, 71
- Финкель Стюарт 8, 93
- Фицпатрик Шейла 17, 215
- Фойницкий Иван Яковлевич 62–64, 69, 81, 142, 152, 154, 157–159
- Фрэнк Стивен 84, 156, 157, 159
- Фукс Иосиф Борисович 295
- Харламова А. Г. 37, 192–194
- Хахтен Элизабет 92
- Хейган Джон 155, 156
- Ходаков Ю. В. 164, 238,
- Хонин В. 276, 299,
- Хорн Дэвид 57, 77, 80, 96

- Шашков Серафим Серафимович 74, 249, 250, 278–280, 298
- Шелли Луиза 33, 123, 131, 166, 200, 318, 319, 321
- Шестакова А. Ф. 37, 89, 178, 229, 261, 264, 265, 276, 302, 328, 329
- Ширвиндт Евсей Густавович 105, 115–117, 120, 121, 124, 131, 239, 317, 320, 321
- Штесс А. П. 101, 102
- Щеглов А. Л. 66, 67
- Эдельштейн Абрам Оскарович 274, 279, 280
- Энгельштейн Лора 298
- Эстрин Александр Яковлевич 127, 316, 317, 319
- Якубсон Виктор Рафаилович 127, 168, 221

Содержание

Благодарности	7
Введение	10

Часть первая РАЗВИТИЕ КРИМИНОЛОГИИ

Глава первая. Антропология, социология и женская преступность. <i>Возникновение криминологии в России</i> ...	43
Глава вторая. Специалисты, общественные науки и государство. <i>Структура советской криминологии</i>	87

Часть вторая АНАЛИЗ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Глава третья. Сфера женщины. <i>Роль сексуальности в женских правонарушениях</i>	137
Глава четвертая. География преступлений. <i>Город, деревня и тенденции в женской преступности</i>	198
Глава пятая. Пережитки прошлого. <i>Детоубийство в теории и на практике</i>	248
Заключение	309
Эпилог. Судьбы советской криминологии	315
Архивные источники	330
Источники	332
Библиография	348
Указатель имен	371

Научное издание

Шэрон Ковальски
ПРАВОНАРУШИТЕЛЬНИЦЫ
Женская преступность и криминология
в России (1880–1930)

Директор издательства *И. В. Немировский*
Заведующий редакцией *М. Вальдеррама*

Ответственный редактор *И. Знаешева*
Дизайн *И. Граве*
Редактор *Ю. Минутина-Лобанова*
Корректоры *Е. Васильева, А. Филимонова*
Верстка *Е. Падалки*

Подписано в печать 27.07.2021.
Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 23,5.
Тираж 500 экз. Заказ 5621

Academic Studies Press
1577 Beacon Street, Brookline, MA 02446 USA
<https://www.academicstudiespress.com>

ООО «Библиороссика».
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25а

Эксклюзивные дистрибьюторы:
ООО «Караван»
ООО «КНИЖНЫЙ КЛУБ 36.6»
<http://www.club366.ru>
Тел./факс: 8(495)9264544
email: club366@club366.ru

Книги издательства можно купить
в интернет-магазине: www.bibliorossicapress.com
e-mail: sales@bibliorossicapress.ru

16+

*Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ*

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59



Шэрон Ковальски — профессор истории, заведующий кафедрой и директор программ по гендерным исследованиям Техасского университета A&M в Коммерсе, главный редактор научного ежегодника «Aspasia», посвященного исследованиям в области женской и гендерной истории Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. В настоящее время занимается проблемами девиантного поведения и насилия в России до- и послереволюционного периода.

Исследование Шэрон Ковальски посвящено женской преступности в России в первые годы советской власти, а также становлению советской криминологии как науки. Поскольку в процессе строительства социализма преступность, подобно другим «порождениям капиталистической эксплуатации», не исчезла, целому ряду ученых — юристам, медикам, статистикам, антропологам и психиатрам — было поручено изучить ее причины и мотивы, чтобы эффективнее с ней бороться. Автор прослеживает возникновение криминологических принципов и теорий женского девиантного поведения и показывает, как криминологам удавалось проводить инновационные социологические исследования под идеологическим давлением властей. Большое внимание в книге уделено «типично женским» преступлениям, их анализу с гендерной, классовой и географической точек зрения, а также и социальным установкам в отношении положения женщин, которые были выявлены в ходе профессиональных дискуссий.

www.bibliorossicapress.com

Contemporary
Western
Rusistika

ISBN 978-5-6045354-8-6



9 785604 535486